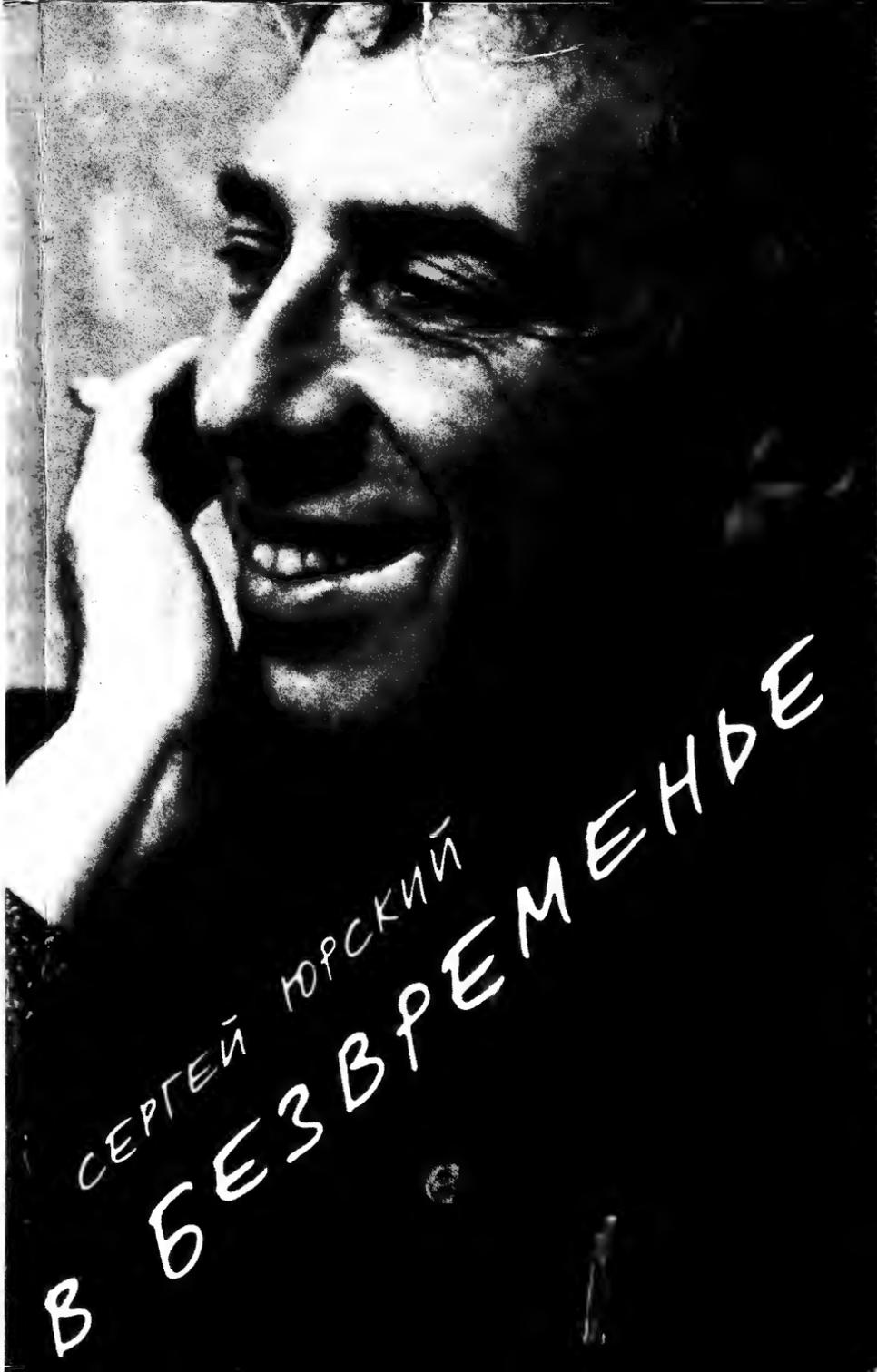


СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

В БЕЗВРЕМЯХ

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

В БЕЗВРЕМЯХ



СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ
В БЕЗВРЕМЕНИИ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ББК 84 Р7
Ю—81

Художник
Георгий КУЛИКОВ

4702010201—364
Ю $\frac{\quad}{083(02)—89}$ —157—90

ISBN 5—265—01222—2

© Издательство «Советский писатель», 1989

Н О В Е С Т И

ЧЕРНОВ

1

На крутом повороте поезд был виден целиком — семь новеньких пассажирских вагонов, невероятно длинный почтовый с четырьмя дверями посередине, тяжелый и более высокий, чем остальные — багажный и тепловоз. Тепловоз миновал светофор. Зеленый свет под нижним длинным козырьком погас, и сразу же уверенно и успокаивающе зажегся красный. Блокировка работала великолепно. Господин Пьер Ч. жмурился от удовольствия. Толстый ветер скорости плотно облегал его лицо. Ветер состоял из дивного, по-вечернему прогретого лесного кислорода, приятно покалывающих твердых частичек и необыкновенной смеси исключительно железнодорожных запахов — ржавчины, гари, пыли, теплого железа. Колеса постукивали в ре миноре и легко аккомпанировали любой мелодии. Господин Пьер Ч. тихонько напевал, без слов, не разжимая губ. Сейчас поезд обогнет холм и покажется встречный. Вот он! Товарный! Пульманы и цистерны с паровозом во главе. Господин Пьер Ч. загадал: его вагон и паровоз встречного сойдутся как раз у домика обходчика. Встречный загудел. Ветер стал жестче и тревожнее, чувствовалось быстрое приближение огромной массы. «Нет, кажется, мы не успеем к домику обходчика, тот домчится раньше. — Сжалось сердце в азарте. — Ну-ну, давай! Ему же тяжелее, там груженные вагоны, бензин и лес — сортовые доски. Двести метров осталось! Ах, черт, теперь наш идет слишком быстро. Сто! Не беги так, не беги, я же загадал... Точно! Гип-гип-ура!!!»

— Сэндвичи, роглики, пивечко! Сэндвичи, роглики, пивечко!

Господин Пьер Ч. достал из кармана большой плоский бумажник. Деньги в нем лежали распластанными во всю свою ширь. Новенькие купюры упруго и точно входили в кожаное местиле, их не надо было ни смять, ни складывать вдвое. Господин Пьер Ч. легким движением пальцев извлек одну, накупил рогликов, сэндвичей, пивечка, дал на чай положенные десять процентов и все равно получил большую сдачу, состоящую из многих бумажек меньшего размера. Аккуратно сложил их стопочкой, подровнял и втиснул в другое отделение бумажника, где они тоже удобно заняли все пространство.

— Купе драй,— сказал господин Пьер Ч. и показал разносчику три пальца, а потом указательным пальцем показал на соседнюю дверь, потому что «купе драй» находилось за его спиной.

— Добри вечур, пани,— сказал кельнер и поставил бутылки и пакеты на столик.

Крашенная блондинка, лежавшая на левой полке двухместного купе, оторвалась от книги в яркой обложке и улыбнулась господину Пьеру Ч. Она лежала поверх аккуратно расстеленного коричневого одеяла. На ней был синий спортивный костюм. Брюки со штрипками четко обрисовывали красивую полноту ее ног.

— Добра ноц! — сказал кельнер и вышел.

Быстро темнело. На виллах на маленьких станциях, мимо которых катился поезд, зажглись первые огни. Проезжали большой завод. Четыре трубы смотрели в небо. На каждой было по цифре, и все четыре складывались в число 1971 год — год постройки... У ворот стоял грузовик, в кузове было шесть бочек... Тоненько затрещал звонок переезда. У шлагбаума терпеливо ждали два продуктовых фургона... Вдали медленно проплывала роща. Деревья были совершенно одинаковые. Их было двенадцать.

— Давай ужинать, Айрин,— сказал господин Пьер Ч. Он открыл бутылку пива и взял сэндвич.— В 10.56 будет Прага. Главный вокзал. Нас отведут на запасный путь, и мы будем стоять там всю ночь и весь день. Мы можем погулять по городу.

— Я хочу полежать. Погуляй один, милый,— сказала Айрин.

— Я хочу посидеть на скамейке на Староместской площади, выпить пива в кафе «У калиха» и побывать на

Северном вокзале. Оттуда ходят местные поезда в Брандыс над Лабем, в Гронов и Наход.

— А куда мы поедим завтра?— спросила Айрин.

— В 20.11 мы тронёмся. В 21.30 пересечем немецкую границу и в 23.40 будем в Дрездене. Там мы будем ночевать. А потом поезд пойдет на север... Берлин, потом Западный Берлин... Потом в Бельгию, потом...— У господина Пьера Ч. слипались глаза.— Из Франции в Испанию дорога еще не выстроена, но она уже строится. Мы подождем в Париже... или в Бордо...

— Ты засыпаешь?— Айрин улыбалась. Брови ее поднялись удивленно. Левая бровь была испорчена давней неудачей на лыжном трамплине. Но была особая милота в этой сломанной брови на смуглом лице под шапкой низко растущих крашенных, выгоревших волос... В Испании она загорит еще больше.

— Нет,— сказал господин Пьер Ч.— Я пойду в город. Днем я буду занят, а сейчас, ночью, мы можем погулять.

Он допил свое пиво. Рельсы множились. Было уже семь путей. Аккуратные светящиеся стрелки. Будка... Водокачка... Стояла темная электричка. На сегодня она уже отработала. Маленький тепловоз тащил платформу на сортировочную горку. Проезжали застекленное здание депо с тремя воротами. На стене депо были цифры — 1971. Приближался вокзал. Было слышно, как радио неразборчиво оповещало о прибытии их поезда. Их приняли на первый путь. Естественно — это был очень дальний поезд.

2

По словам Бориса Жилинского, это был счастливый год — праздники пришлось на четверг — пятницу! А потом еще суббота — воскресенье — целый отпуск. Это возбуждало. Поэтому и предпраздничная среда тоже оказалась абсолютно пропащей для работы. Учреждение гудело. Если кто чего и делал, то с ленцой, с иронической улыбочкой, играючи. Начальники играли в разносы подчиненных, заканчивая их неизменным: «Ну ладно, после праздника вернемся к этому вопросу». Мрачным прищельцам с затравленными глазами, и обиженными губами, и запутанными делами секретарши, сверкая особенно яркой сегодня помадой, отвечали весело

и обещающе: «Зайдите после праздников. Сегодня, сами понимаете...» И пришелец, как человек зависимый, сам понимал. Его хватало только на то, чтобы невнятно спросить: «Но уж после праздников?..» — «Конечно, конечно! После праздника обязательно!» Праздник, праздник! Короткий день! Безответственность! Легкость!

— Александр Петрович, премию получите. Ада просила, чтобы сию минуту.

— Народу там много?

— Да никого нет. Бегите скорее.

Александр Петрович спустился в кассу.

— Ада Ефимовна, там мне премия...

— Что ж вы так поздно... я уже кассу сдаю, завтра праздник.

— Да я думал...

— Та-ак... Чернов... шестьдесят... расписывайтесь.

Полная одышливая кассирша повернула к нему ведомость и положила на нее две купюры по двадцать пять и десятку.

— Что вы так плохо выглядите, Чернов? Вы стали худой и страшный, как мой сын.

— Десяточку разменяйте помельче, пожалуйста.

— Ой, все хотят помельче.— Ада Ефимовна облизнула седую щетинку над верхней губой.— Я вам разобью на пять, три и два рубля мелочью, хотите? Да, Чернов, зайдите в бухгалтерию. У меня на вас птичка, видите?— Она ткнула ручкой в ведомость.

Александр Петрович поднялся в бухгалтерию.

— Вы меня вызывали?

— Вообще-то, Чернов, вам самому надо бы об этом заботиться... так что с вас приходится. Кончился ваш исполнительный лист.

— То есть?

— То есть ваш сын достиг совершеннолетия и с алиментами покончено. И за прошлый месяц можете получить разницу. Ну? Что скажете? Придется с вас?

— Придется... А как же... Откуда?

— Все по закону. Удивительная у вас супруга, Чернов. Я тридцать лет на деньгах сижу, такого не видел. Точенько в день совершеннолетия — письмо. Сейчас... я его тут отложил. Ну, в общем... благодарность за аккуратность и сообщение: все, хватит, больше не нуждаемся... Сейчас... где-то я его положил.

— Да ладно, Василий Иванович, не трудитесь.
— Удивило меня письмоце. Уж больно все как-то аккуратно... Как в аптеке.

— Так она и работает зааптекой.

— Ха-ха, это здорово. Всегда она у вас такая была?

— Не всегда. Ну, до свидания.

Александр Петрович Чернов толкнул дверь с изображением мужского силуэта. У писсуара стоял Жилинский Борис Ростиславович, по прозвищу Брося. Брося отвлекся от того, на чем был сосредоточен. Маленькая головка медленно повернулась на гигантской высоте Бросинога роста.

— К Севке пойдешь?— сказал Брося.

— Зачем?

— Как зачем? К Всеволоду Матвеевичу... день рождения, мы же собирались...

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— Так не знаю.

Александр Петрович вошел в кабинку. Крючок был оторван. Он сел, вытянутой рукой ухватился за дверную ручку и заплакал. Как он мог прозевать день рождения Петьки, да еще такой день рождения, он сам не понимал. Но грустно ему было не от этого. Он представил, как Таня сидит, сгорбившись, над журнальным столиком в их квартире с зелеными стенами и пишет это идиотское письмо в бухгалтерию. Голову ломило.

Брося сказал в щель:

— Мы там на подарок собирались скинуться. Ирина командует. Ты ей скажи. Она спрашивала тебя, слышишь? Или купи бутылку и приходи, слышишь? И пораньше, часам к шести... Ты слушаешь меня?

Брося подергал дверь. Александр Петрович держал крепко.

— Это ты там?— испуганно спросил Брося.— Кто тут?

— Я, я! Все понял.

— Ну пока,— взвизгнула дверь.

Александр Петрович долго мыл руки. Полотенце было грязное. Он нажал кнопку электросушилки и долго мял руками горячую струю. Потом присел на корточки и подставил под струю лицо. Голову ломило.

Александр Петрович зашел к себе в отдел.

— Алло! Да. Кого? Петрову? А? Кого, кого?.. Чернова?

Александр Петрович испуганно замахал руками: нет меня! меня нет!

— А он вышел... Не знаю... Ну, минут через десять... Из клуба? (Александр Петрович стиснул зубы и замотал головой.) Я не знаю... А может, через полчаса... Сейчас запишу... Кому позвонить? Кому, кому? (Александр Петрович безнадежно махнул рукой: здесь я! я здесь!) А, вот он как раз вошел. Александр Петрович, вас! Фф-у-у-у.

— Слушаю... Да нет, тут меня вызывали...

Голос с той стороны:

— ПрЛости, ЧерЛнов, но ты стал манкирЛовать. Клуб — дело добрЛовольное, но ты зампредседателя и ты не имеешь прЛава...

— Пал Палыч, мне не очень удобно говорить отсюда... Тут совещание... Позвони домой вечером, попозже...

— Ты же не берЛешь трЛубку... Подожди, одна минута дело... Не прЛиходишь на заседания — хрЛен с тобой. Но прЛими ты этого Деяна. Он нам позарЛез нужен, надо его прЛивлечь. Ему напели прЛо твою дорЛогу, он мне всю плешь прЛоел. Покажи ты ему... Полчаса дело. Ты же сам заинтерЛесован... Тебе вагоны нужны?

— Товарные?

— Любые! Ты не понял, что ли — человек едет в ФРЛГ. Его надо прЛивлечь. Слушай, давай завтрЛа.

— Завтра праздник. Ладно, давай сегодня, в 5.00.

— Всѐ! В ажурЛе! Даю ему твой адрЛес. Спасибо. Жму рЛуку. Да, забыл — с прЛаздничком!

Потом было совещание у Блинова по макету застройки. Обсуждали вяло. Костя Шляпин заикнулся было снова о «принципе Ярмака» и о том, что, мол, надо определить, за что мы и против чего, и подумать об ответственности перед простыми русскими людьми, которые... но Блинов прервал его своим монотонным гнусавым голосом:

— Брежде ВсеБо Бы должДы осуществлять текущую забланиробАнную работу. Строительные организации ждАть Де Богут. Им ДужДы Даши оцеДки и рекоБендации. А что касается стратегических проблем, о которых Бы говорите, того же «принципа ЯрБака»,

то к этому Дадо подходить Де с кондачка. Сегодня для этого Де время и Де место. К тобу же ЯрБак отсутствует.

— Сева болен,— сказал Чернов.

— ЗДаю. Поэтому перейдем к обсуждению данного Бакета и Де будеБ отвлекаться. Прошу!

Брося первым взял слово, но сказать ему было абсолютно нечего, и он, помекав и побекав, умолк. Ни автор, ни представителей проектного института не было. Из управления тоже никого не было. Все понимали, что совещание носит промежуточный характер и ничего не решит. Проект был приличный. Нормальный. Сколько таких и подобных уже было. Именно против этой «нормальности» Чернов когда-то восстал. В борьбе с нею и возник «принцип Ярмака», так называемый «принцип Ярмака». Но теперь Александр Петрович думал, что дело вообще не в проекте. Дело в том, как осуществлять.

Прохаживались вокруг макетного стола — большого, два на три. Посвистывали беззвучно. Трогали пальцами прелестные детальки — антенну на крыше, калиточку в заборчике, дверцу в подвал... Краснолицый Коля-макетчик бегал, шаркая ногами, от плана, висевшего на стене, к макету и, невнятно матюгаясь, передвигал что-то на одному ему видимые миллиметры, выколупывал негнувшимися пальцами какие-то соринки. Коля был, как всегда, под газом. Макетчик он был великолепный. Ему прощалось. Чернов заворуженно смотрел на игрушечные водосточные трубы, сделанные с чудовищной натуральностью, на окна, в которых понастоящему посверкивало настоящее солнце, светившее в окно кабинета.

Говорил Воровский. Не говорил, а гудел. У Воровского был необыкновенно низкий голос. Он его обожал. Поэтому говорить мог с утра до вечера. Ему было все равно, что именно говорить. С полузакрытыми глазами он нес чепуху на двух низких нотах с назойливыми дикторскими интонациями. Тощая грудь резонировала. Голос гудел, как бы даже с реверберацией. Начальство уважало Воровского за солидность. В партбюро его избирали всегда, а последние два года он стал даже секретарем. Он часто председательствовал на собраниях, и всегда все получалось красиво и солидно — после каждого выступления он долго повторял то, что

было только что сказано другим. Но аудитория его слушалась. К тому же Роман Романович Воровский по таинственным причинам пользовался громадным успехом у женщин. Когда он говорил, женщины смотрели на него не отвлекаясь. Роман Романович был неумный человек. Ирина Одинцова однажды назвала его «Роман с контрабасом». Прозвище приклеилось. Потом его стали звать просто Контрабас, потом еще короче — Контрик, что было полной бессмыслицей. Но все равно — так звали.

Контрик гудел. Чернов поглаживал рукой тротуарчик.

— А что скажет Александр Петрович?— спросил Блинов.

Чернов проямлил что-то вопросительное насчет подъездных путей. Ему никто не ответил. Потом с обычным для него надрывом выступил Костя Шляпин. Призывал изменить все! Саму систему обсуждения, планирования, строительства, оплаты, руководства. Костя говорил остро. Но так часто и так одинаково, что никто уже не пугался. Костя рубил рукой воздух, часто произносил слово «вообще» и с этим словом переходил в более высокую тональность и к критике еще более высоких учреждений. Когда, раздолбав управление, Костя сказал «и вообще» и перешел к министерству, Блинов широко зевнул. Зевок перешел в кашель. Шляпин умолк.

— Ладно,— сказал Блинов.— После праздника вернемся к этому вопросу.

Толкались в дверях. Воровский подробно и нудно рассказывал про кошмарное убийство в Иркутске, о котором он прочел сегодня в «Известиях». Женщины слушали внимательно и ужасались. Костя Шляпин тревожно и ожидающе взглядывал всем в глаза — ждал поздравлений со смелым выступлением. Поздравителей не нашлось, и Костя угасал на глазах.

— Александр Петрович, вас Одинцова искала.

— Я знаю... Я сейчас, сейчас... Коля, ты к себе? У меня к тебе дельце.

В подвале у макетчика было прохладно. Пахло краской и пылью. Александр Петрович мотался между столом и лавками, ища свободного местечка, чтобы хоть портфель поставить. Все было завалено книгами, бумагами, фотографиями, чертежами, коробками. Тысячами

проволочек, стерженечков, гаечек и болточков, вещичек и обломочков. Игрушечной мебелью и бумажными человеческими фигурками размером в ноготь. Александр Петрович неловко пристроил портфель на колене и начал борьбу с замком. Месяц уже не мог собраться его починить и каждый раз мучился. Коля клацнул большим рубильником, и в углу, в трубе, занял вентилятор.

— Значит, Коля, во-первых, спасибо за кирпичики и бочечки. Это здорово... Потом, я тебе должен...— Александр Петрович швырнул портфель на пол и полез в карман за бумажником.— Я тебе должен за эти...— Он мучительно думал, сколько дать:— За скамейки для вокзала.

— Да ладно,— сказал Коля.

— Нет-нет, так не пойдет. Вот восемь рублей... Это за то.

— Да чего там...— сказал Коля.

— Потом, деревья ты мне делал. Так что...— Александр Петрович положил две бумажки — три и пять рублей — на ящик, но струей ветра от вентилятора их сразу сдуло, и они разлетелись, утонули в хламе.

— Ах, черт дери,— Александр Петрович трешку нашел, а пятерку — никак. Он заглядывал в узкое пыльное пространство между стеной и тяжелым сундуком, прижимаясь потным лбом к холодной пупырчатой масляной краске стены.

— Вот она! — Коля показал толстым, расширяющимся к концу курносым пальцем с черным ногтем.

Пятерку заклинило между двумя банками краски. Александр Петрович аккуратно взял ее. Угол был желтым. Чернов стал вытирать пятерку носовым платком.

— Да ладно,— сказал Коля.

Александр Петрович положил деньги на стол и прижал сверху пакетом с гвоздиками.

— Вот что, Коля... ты мастер-экстра... вот какое дело...— Александр Петрович опять пытался открыть портфель.— Надо мне сделать спальный вагон... разборный и с очень подробными внутренностями. Это не к спеху, но сделать надо... Ну, так, как ты умеешь, понимаешь? — Портфель вдруг открылся. Александр Петрович утер со лба пот и достал из глубины портфеля бутылку простой водки.— Вот это тебе, так сказать, с праздничком.

— Да ну,— сказал Коля,— не стоило... Ну да лад-

но, давай, зайдешь еще...— Коля взял бутылку за горлышко двумя пальцами и пустил внутрь ближайшего рулона из торчащих в углу. Зашуршало. Коля глубоко, почти до плеча, запустил руку в соседний рулон и достал оттуда другую бутылку, уже начатую.— Возни много с вагоном. Это все купе, что ли, делать, или пару-тройку?

— Все, все,— испуганно затряс головой Чернов,— но они ведь двухместные, всего две полки. И коридор, и все двери. Я чертеж дам.

— Много возни... Мне сейчас сына в санаторий надо... путевку и на дорогу ему... и вообще... а у меня премию начисто украли.— Коля налил до краев маленькие пластмассовые стаканчики, из кармана пиджака достал пакет и вывернул оттуда два сплюснутых бутерброда: один с сыром, другой с яйцом и килькой.— Заснул вчера на скамейке в садике днем... в обеденный перерыв... пригрелся, там и заснул... и обобрали... всю. Мне сейчас в долг сто рублей надо позарез... сына в санаторий... с ножками у него, сам знаешь... суставы и всякое такое, а меня обобрали... всю премию. А вагон сделать можно... мне бы в долг сто рублей... я отдам, вон макет стоит, заверну налево для Дома культуры и отдам... Вагон я тебе сделаю, и восемь рублей заберу... Ну, с праздничком!

Выпили. Жевали отсыревшую булку и затвердевшие сыр и яйца.

— Сто рублей я не могу сейчас. Я, Коля, прямо тебе скажу — не могу. Я дам двадцать пять и вот эти восемь — тридцать три.

— Да не надо,— Коля обиженно щурил глаза, глядел в угол,— мне сто рублей, а эти не надо.

— Ну все же... остальные еще у кого-нибудь...

— Да ладно... давай еще по одной,— Коля налил.— Это мне все до луковки. У сына... ножки... понял? Тут подвал, дома подвал — генетика, понял? Ревматическая болезнь. Ну, будь здоров!

Выпили.

— Коля! Я дам тебе пятьдесят! — Чернов решительно полез за бумажником.

— Иди ты отсюда знаешь куда?— Колю развозило.— И пятьдесят свои заберу... Уснул тут на скамеечке, понял? Я в долг прошу! У меня вон — левый макет... к десятому числу дили-донн!.. и сто восемьдесят рублей.

А мне сейчас надо... Обобрали, так? А санаторий ждать будет? Ни х... Всю премию... кудык... и дили-донн!

Чернов потел и мучился. Он с тоской думал, что все и правда, и беззастенчивая ложь одновременно. Про ножки, и про сына, и про подвалы — правда. Только никто Колю не обворовывал, пропил он все в компании с институтским художником-диаграммистом Асеевым и лаборанткой Зоей. И эти пропьет. Чернов совал ему в карман две бумажки по двадцать пять рублей. Коля отбивался.

— Иди ты... не надо, не купишь... знаю я вас...

— Да Коля, да возьми, я от души...

— Иди ты... знаю, зачем тебе спальный вагон... мне снизу видно все.

Смолк вентилятор. У рубильника стояла Ирина Одинцова в очень светлом пыльнике, с очень строгим лицом, с очень тонкими губами. Всегда тонкими, а теперь еще обиженно поджатыми. Стало тихо и гулко. Чернов представил, как выглядят они с Колей со стороны: борющиеся с деньгами в руках в этой захлавленной комнате. И эта водка... и этот кусочек кильки на листе хорошей белой бумаги, и расплывающееся вокруг него масляное пятно.

— Я искала тебя по всему зданию!

Коля встал, сложил руки в замок, покачался и с маху, как топором, стиснув зубы, толкнул локтями нагромождение банок, книжек и рулонов. Посыпалось, зашуршало, покатилося. И очистился кусок скамейки.

— Садитесь, Ирина Андреевна.

— Спасибо, я спешу.

— Я сейчас,— сказал Чернов Ирине.

— Мне ведь ничего не надо. Это ты меня должен искать.

— Я сейчас,— сказал Чернов Коле и взял Ирину за локоть.

Ирина вырвала руку и вышла. Чернов переступил через высокий порог и закрыл за собой тяжелую железную дверь.

Они стояли в подвальном тамбуре среди мешков с песком и огнетушителей. Одинцова нервничала. Шрам над бровью покраснел, и лицо ее в свете засетченной дежурной лампочки было некрасивым.

— Что с тобой происходит?— говорила она.— Если ты болен, то походи к врачу, а если здоров, то отвечай за

свои поступки. Мы идем к Севке или нет? Мне безразлично, но я должна знать.

— И мне безразлично,— сказал Чернов, тюкая носком ботинка в мешок с песком.

— А тебе все безразлично, кроме твоих идиотских вагонов. Знаешь, мне стало скучно с тобой. И странности твои больше меня не привлекают. Раньше мне казалось, что за этим есть какая-то идея, какое-то зерно, а теперь — нет. С тобой душно, как в этом подвале. Хочу рядом нормального мужчину, ну тебя к черту! — Одинцова начала подниматься по каменной лестнице. Вот исчезла ее голова... плечи.

Чернов понимал, что должен окликнуть ее, но ему не хотелось. Он с трудом разлепил губы, прямо силой оторвал верхнюю от нижней, но десятки каких-то липких ниточек связывали еще одну с другой. Он провел тыльной стороной запястья по губам, сорвал ниточки, скатал в комок.

— Ирина!

Нижняя половина Ирины остановилась. Повернулась к нему.

— Ну? Что?

Чернов облизывал губы и думал о двадцатипятирублевках, которые, кажется, упали в хлам возле скамейки. Он думал о том, что надо скорее вернуться в макетную и найти их, потому что Коля может их забрать и спяну забыть, а потом напомнить неловко... И тогда они вообще пропадут... совсем... Коля их пропьет и не заметит.

— Я тебя сейчас догоню.

Одинцова спускалась. Появились плечи. Потом голова.

— Ты к Всеволоду Матвеевичу собираешься?

— Да.

— Дай мне денег.

— Сколько?

— Дай пятьдесят. Я куплю подарок от всех. Потом они с тобой рассчитаются.

— Сейчас...

Чернов вернулся в макетную. Коля спал на скамейке откинув голову, привалившись спиной к бумажным рулонам. Смял их. Длинные тяжелые руки с брезгливо растопыренными пальцами свисали между колен. Рот был открыт, и дышал Коля тяжело. Из левого кармана

куртки высовывались две двадцатипятирублевки. Александр Петрович оглянулся. На дне бутылки еще было на полногтя водки. Чернов схватил бутылку и стал пить из горлышка. Спинай почувствовал, что Ирина стоит в дверях. Дернулся. Жгучая жидкость попала не в то горло. Закашлялся, как залаял, сотрясаясь всем телом. Замахал на Ирину руками, затопал ногами, не в силах сказать ни слова. Лоб и вся голова под волосами густо вспотели. Ирина пожалала плечами и вышла. Чернов, тяжело дыша и все еще изредка кашляя, повернулся и увидел, что Коля не пошевелился. Спал. Александр Петрович решительно выдернул двадцатипятирублевки из Колиного кармана, со стола из-под гвоздей вытянул пятерку и трешку. Уже протянул руку, чтобы засунуть их в Колину куртку. И тут Коля открыл глаза. Смотрел на Чернова зло и трезво. Дышал с шумом. Сердце у Чернова испуганно колыхнулось. Он почувствовал, что у него вспотели ноги и брюки сразу прилипли к икрам. Краснолицый Коля начал бледнеть на глазах. Дышал все чаще и шумнее.

«Сейчас он меня ударит, — подумал Чернов. — Я украл у него свои собственные деньги и ничего не могу объяснить. Это ужасно».

Коля все бледнел.

«Я потом отдам ему, — думал Чернов, — он пьян, ему нельзя иметь много денег, его обкрадут».

Коля с лицом цвета бумаги взревел и выплюнул на пол желтую жижу с почти не прожеванными кильками с яйцом, потом повалился боком на рулоны, на коробки, на банки, на гвозди и захрапел.

Чернов сунул пятерку и трешку в оттопырившийся карман его брюк. Сжимая в потной руке две двадцатипятирублевки, кашляя и отплевываясь, Александр Петрович бежал вверх по каменной лестнице.

3

Господин Пьер Ч. постукивал пальцами по столу. Вторые сутки в Вене шел дождь. Вторые сутки бастовали железнодорожники. Поезда стояли. Вчера еще было электричество. Сегодня аккумуляторы сели, и никто не хотел их подзарядить, боясь обвинения в штрейкбрехерстве. В купе было почти темно. Было семь часов вечера. Поезд стоял у второй платформы Нордбанхофа.

Соседний путь был свободен, а на следующем застыл «Восточный экспресс». Господин Пьер Ч. неподвижно смотрел на темно-зеленый вагон с крупными серебряными накладными буквами поверху, во всю длину: «ОРИЕНТ-ЭКСПРЕСС», и на маленькую белую табличку под центральным окном: «ОСТЕНДЕ-БЕОГРАД». Это был вагон номер восемь. В вагоне ходили люди, опускали окна, кричали на непонятном языке. Потом появились длинноволосые тощие парни, видимо нанятые вместо носильщиков, и начали вытаскивать чемоданы. Пассажиры перебирались в город. Большинство было навеселе. Женщины взвизгивали, соскакивая с высоких подножек. Мужчины смеялись и непрерывно говорили что-то звучными сдобными голосами. Раскрывали зонты, прикрывались газетами, прыгали через лужи. Уходили направо по узкому туннелю между поездами.

— Надо и нам уходить, милый,— сказала Айрин,— я не могу без света.

— Наш поезд не могут оставить без света. Они обязаны подумать о нас.

— В поезде никого нет. Я думаю, мы остались одни,— сказала Айрин.

— Они не имеют права. По расписанию...— начал господин Пьер Ч.

— Ах, какое там расписание. Ты же видишь! — сказала Айрин.— Не говоря уже о том, что вместо Швейцарии мы оказались в совсем другой стране.

— Да,— сказал господин Пьер Ч.

Но они все еще сидели в темноте. Сидели и молчали. Они сидели, когда дождь превратился в ливень, и потом, когда опять стал моросить, и потом, когда капли стали редкими и крупными и медленно стекали по стеклу, каждая отдельно. Господин Пьер Ч. барабанил пальцами по столу.

Стало темно и на улице. Уже нельзя было разглядеть надпись «ОСТЕНДЕ-БЕОГРАД» на белой табличке, но большая надпись еще прочитывалась. Потом темнота стала поглощать и серебряные буквы. По свободному пути проехала дрезина с яркой фарой. Двое людей в шляпах держали над головами мокрый плакат с лозунгом. Третий кричал что-то в рупор по-немецки.

— Мне скучно, милый,— сказала Айрин.

Из-под колес «Восточного экспресса» вылез человек

в белой куртке и с красным фонарем в руках. Человек раскрыл зонт и стал махать фонарем.

— Проводник вернулся,— сказала Айрин.

Господин Пьер Ч. опустил стекло. Дождь был холодный и косой. Дождь летел внутрь вагона, больно бил по глазам. Проводник приблизился.

— Что нового, Клод?— спросил господин Пьер Ч.— Будет движение?

— Нет. По крайней мере еще сутки. Вам надо уходить. На всей станции нет ни одной души, кроме пикетчиков.

— А где вы сами собираетесь ночевать, Клод?

— Я бы хотел уйти в город. У меня здесь есть подруга. Я бы запер вагон. Но если вы останетесь...

— Мы сейчас решим.— Господин Пьер Ч. поднял стекло.— Как ты хочешь, Айрин?

— Я не могу без света. Мне ничего не нужно, но я не могу без света. И потом, я хочу вымыться.

— Если ты так хочешь...

— Я не могу без света,— повторила Айрин.

Господин Пьер Ч. снова опустил окно.

— Мы уходим.

— Я возьму ваши чемоданы и провожу вас до такси,— сказал Клод.

Они шли по пустому темному вокзалу. Впереди Клод с чемоданами, за ним Айрин с открытым зонтом. Последним шел господин Пьер Ч. с красным фонарем проводника и двумя сложенными зонтами — Клода и своим. Господин Пьер Ч. смотрел на Айрин. Смотрел на ее спину, бедра, зад, мягко обрисованные кожей дорогого пальто, на ее ноги в брюках и в туфлях на очень высоком каблуке. Айрин шла прямо, почти не раскачивая бедрами. У нее был короткий шаг с четкой и очень прямой постановкой ноги — носок туфли смотрел точно по направлению движения. Потом, когда нога перекачивалась с пятки на носок, она делала легкий, едва заметный поворотик на носке. С легким бесстыдством приоткрывалась полная икра, носок смотрел в сторону, наружную от оси движения, и тогда происходил толчок внешней стороной большого пальца, спрятанного в чулок и в туфлю. Все туфли у Айрин снашивались именно здесь, почти у самого носка, на внутренней стороне. Когда-то его сводила с ума ее походка. Когда она впервые, сидя на его кровати, сняла туфлю

и он увидел этот живой, почти пульсирующий след ее отталкиваний от земли, эту трогательную, едва заметную потертость на подошве, у него закружилась голова от нежности и желания. Туфли хранили живые усилия ее тела. Ни одна другая часть туалета не говорила ему о ней так много и так интимно.

Потом, когда они уже не будут вместе, господин Пьер Ч. увидит однажды в гостиничном коридоре пару чуть стоптанных у носка женских туфель и задохнется от жалости к себе и к ней, к тому, что все это уже прошло, и со слезами на глазах поймет то, чего он никак не может понять сейчас, идя вслед за ней с красным фонарем проводника, — понять, нужна она ему или нет, испытывает он к ней что-нибудь, кроме чувства собственника и привычной нежности к чуть надоевшей вещи.

Красный свет изменил все цвета — розовое пальто Айрин выцвело и стало серым, синие брюки и синие туфли обрели глубокий черный цвет, белые волосы стали желтыми, и ослепительно белой, как бенгальский огонь, точкой светилась сигарета в тонкой, элегантно изломанной кисти, зажатая в двух напряженно вытянутых пальцах.

Шофер такси посоветовал «Центрум-Отель». Машина свернула с Пратера на Ринг. Слева возникали и исчезали буйно освещенные улицы. Дождь не переставал.

— Ты жалеешь, что связалась со мной? — спросил господин Пьер Ч. Он долго обдумывал эту фразу, от самого вокзала. Несколько раз произнес ее про себя, предположил ответ Айрин, и потом, когда фраза ему совсем разонравилась и он решил не говорить ее, она вдруг сказала сама собой, эта глупая фраза: — Ты жалеешь, что связалась со мной?

— Иногда.

Такого ответа господин Пьер Ч. не ожидал, и у него заболело сердце.

— Почему?

— Потому что тебе нужна другая женщина. Вернее, тебе вообще не нужна женщина. Я обещала доехать с тобой до конца, и я поеду, если ты меня не выгонишь. Но это очень долго.

— Подумаешь, три года, — сказал господин Пьер Ч.

— Я уже состарюсь.

— Ты и старая будешь красивая.

Айрин расхохоталась и закурила.

— Почему у тебя плохое настроение?— спросил господин Пьер Ч.

— Это у тебя плохое настроение, милый.

Господину Пьеру Ч. стало очень грустно и обидно.

— Да,— сказал он.— Потому что я не люблю городов. Я люблю поезда.

4

Город захлебывался в предпраздничной суете. В отчаянном рывке, до судороги напрягши ноги и сплуснув спиной чье-то влажное жирное тело, ударившись о толстую резину уже закрывающихся дверей, Чернов выскочил из троллейбуса. Уличные громкоговорители готовились к завтрашним лозунгам и маршам, а пока пробовали себя вполголоса на заурадных последних известиях. Сквозь уличный шум Чернов расслышал, как тонко пропели сигналы времени — пять часов. Чернов побежал. Пот тек из-под волос на лоб, набухал в бровях, скапливался в глазных впадинах. Чернов его не вытирал: все равно через секунду было все то же самое. Левым плечом вклиниваясь в массу идущих навстречу, делая непрерывные зигзаги, он медленно бежал в праздничной жаркой полуобнаженной толпе. Он продирался сквозь женские плечи, его прижимало к тугим и вялым грудям, об него терлись боками, он утыкался в туго обтянутые зады. Чернов задыхался от жары. Злился. Медленно бежал. Зигзагами. В пустом холодном туннеле подворотни он перешел на шаг. Всем телом толкнул тяжелую дверь парадной и, закрыв глаза, стараясь сдержать громкое дыхание, начал подниматься по лестнице.

На подоконнике возле его двери сидел очень маленький человек. Миниатюрные ножки далеко не доставали до пола. Постукивали пяточками по ребрам батареи. Сильный слепящий свет лился в окно, и лицо человечка было неразборчивым. Чернов разглядел только большие очки, коротенькую аккуратную стрижку с проборчиком и белый отложной воротничок на темном костюме. Человечек спрыгнул с подоконника.

— Александр Петрович! — сказал он утвердительно, то ли опознавая Чернова, то ли сам представляясь.

— Да, извините, я чуть опоздал...— выдохнул Чернов.— Вы Деян?

— Лев Бенедиктович,— так же утвердительно и раздельно, почти по буквам, сказал человек. Голос у него был тоненький, но интонация уверенная, достойная.

Они шли по длинному коммунальному коридору, заставленному обшарпанными шкафами. В пещерных углублениях между шкафами густо лежала темнота. По мере их хода темнота надрезалась сама собой ослепительной вертикальной чертой дневного света, и обнаруживалась дверь, а за ней голова с подозрительными глазами. Голов было много — мужские, женские, детские и старческие. Чернов здоровался направо и налево с пещерными жителями, и Деян за его спиной вторил своим писклявым, но достойным голоском. Тускляя лампочка освещала нагромождение сундуков, велосипедов, детскую коляску, одну лыжу, груды оконных рам и заднюю половину mopeda. Девять счетчиков гнездились над низкой дверью в кухне и зловеще зацокали при появлении людей.

— Вас не пугают коммуналки?— спросил Чернов.

— Нет, не пугают. Мне много пришлось жить в коммунальных квартирах.

Открыв дверь своей комнаты, Чернов пропустил Деяна вперед и наконец смог рассмотреть его. Там, на лестнице, Деян показался ему почти подростком. Теперь он с изумлением видел, что это человек далеко не первой молодости, скорее, даже пожилой. Впрочем, потом, во время разговора, Деян минутами опять как бы молодел и становился похожим на смешного важного мальчика, а еще через мгновение Чернов видел перед собой просто старого и сурового человека. Лицо у Деяна было гладкое, без малейшего намека на растительность, но не бабье. В этой гладкости и миниатюрности и еще в очках было что-то от японца. Может быть, поэтому и возраст, как у японца, определить было невозможно.

Деян сел в предложенное кресло и неотрывно смотрел на громадный самодельный стол, покрытый белой простыней. Стол стоял на шести ножках, а с углов его подпирали грязные строительные козлы. Стол занимал почти треть большой комнаты. Кроме стола в комнате помещались: большой книжный шкаф, в полстены по

длине и до потолка по высоте, тахта, около нее маленький журнальный столик, торшер, старый буфет со множеством отделений и прекрасная кафельная печь, рядом с которой на полу стоял открытый проигрыватель с запыленной пластинкой. Под столом толпились картонные ящики, покрытые газетами. Четыре стула сиротливо и непонятно стояли возле двери, и их странный строй завершало до краев наполненное мусором ведро. Кроме того, было старое кресло красного дерева, в котором сидел Деян. Кроме того, над тахтой висела фотография, на которой Чернов стоял в трусах на берегу моря, держа за руку маленького мальчика без трусов. На обоих были треуголки, сделанные из газеты. Вся обстановка как бы противостояла громадному загадочному столу под белой двуспальной простыней, но стол не хотел этого замечать. Он съел большую часть пространства и царил.

Чернов взгромоздился коленями на высокий подоконник и уже довольно долго возился с массивной прошловековой ручкой шпингалета — пытался открыть окно. Стекла дребезжали. Чернов кряхтел. Наконец раскрывлось большое окно. Хлынул шум и пыльный жар. Чернов неловко соскочил на пол, зацепился за батарею и, потирая ушибленное колено, заметался по комнате.

— Могу предложить вам чаю... или растворимого кофе... Вы курите?

— Спасибо. Курю. Ничего не нужно, — отрывисто сказал Деян. — Время мое весьма ограничено. Если можно, начнем.

— Да-да, сейчас... Фу, как жарко. Руки не хотите сполоснуть? Я весь мокрый... извините...

— Пожалуйста. Давайте... — Деян встал.

Чернов сдернул с гвоздика несвежее махровое полотенце и распахнул дверь. Кухня была большая, темная и прохладная. В углу — маленькое окно со стеклами, покрытыми частичками жира и копоти. Даже мысль о прикосновении к такому стеклу неприятна. Между рамами окна пирамидой стояли консервные банки, обволокнутые противной ружейной смазкой. Окно выходило на кирпичную стену, и в той стене тоже окно и такая же пирамидка дефицитной тушенки между рамами. Этот зеркальный эффект одинаковых окон, смотревших друг на друга, всегда вызывал у Чернова легкое подташнивание. Банки в окнах стояли уже давно, может быть, год, может, пять. Тушенку когда-то в невероятном ко-

личестве выбросили вдруг в соседнем магазине. Закупали банки всей квартирой — занимали друг другу очередь, помогали донести. В пирамидке были две банки, принадлежащие Чернову. Но за год (или за пять лет?) ни здесь, ни в том окне, напротив, никто пирамидок не коснулся. Смазка обросла пылью, к этой массе прилипали мухи и умирали там, и образовалось на банках, на их жирной почве, мушиное кладбище. Над ним летали живые мухи и бились в жирные стекла. И все это зеркалило, отражалось в окне той, другой квартиры, а в узкую щель между домами било солнце — насквозь, всеми лучами напролом, в кирпич стены, ни одним лучиком не заглядывая в коммунальные кухонные окна.

Чернов и Деян протиснулись между личными столами съемщиков к облупившейся железной раковине. На кран была намотана тряпка, и концы ее свисали до дна раковины, смешивались своей бахромой с картофельными очистками на черной решетке. Чернов поднял концы тряпки и навесил на трубу.

— Мойтесь, — сказал Чернов. Он смотрел на эту десятку лет знакомую кухню глазами гостя, и ему было стыдно и тошно.

Деян вытянул руки из манжетов и подставил ладони под струю.

— Мытье не спасает от жары, — сказал Деян. — Надо просто охладить вены на руках или на ногах, и будет легче. Меня научили этому в Индии.

Чернов протянул ему полотенце и, низко наклонившись, долго плескал воду на лицо, думая о том, что Деян не стал мыться не по причине индийского опыта, а просто из брезгливости.

Они снова вернулись в комнату.

— Пожалуйста, начнем, — тихо и очень тонким голосом сказал Деян.

Чернов протиснулся между окнами и большим столом в дальний угол и взялся за конец простыни.

— Давайте вместе.

Деян взялся за ближайший к нему конец. Начали отворачивать. Простыня цеплялась за какие-то острия, спрятанные под ней. Аккуратно отдирали и отворачивали... отворачивали. Наконец сероватая от пыли ткань упала на пол. Долго молча смотрели на открывшийся перед ними мир. Голова Деяна склонилась набок, взгляд

был отрешенным и грустным. Под окном надрывно трещал мотоцикл.

— Закройте окно,— тихо и твердо приказал Деян, не отрывая взгляда от стола.

Чернов опять полез и на этот раз справился с замком довольно легко. Спрыгнул, опять ударился о батарею и, чертыхаясь, захромал по комнате, бесцельно, из угла в угол. Теперь он видел спину Деяна. Деян стоял неподвижно, как на похоронах. Чернов подошел, встал рядом.

— Изумительно,— прошептал Деян.

Там, внизу, были пологие холмы. На холмах росли леса. Леса не были похожи на настоящие — все деревья были ровные и одинаковые, и именно это было прекрасно. Росли они на настоящей земле, и земля была чистая. И были там, за холмами, дома, и был завод с четырьмя трубами. И в разных концах были три прекрасной архитектуры вокзала с платформами, со множеством путей, с сортировочной горкой. Были депо и дороги. А там, совсем далеко, за многими лесами, у самого окна,— дивное современное высотное здание, какая-то небывалая гостиница, и рядом площадь с машинами и еще один совершенно белый, из известняка, маленький вокзальчик. И были мосты и голубая река. Асфальтированные улицы. Стекла в крошечных окнах домов. И ко всем домам, ко всем холмам, ко всем лесам вели рельсы. Повсюду можно было доехать. Множество составов, паровозов, тепловозов, вагонов стояло на путях и у платформ. И высывались из стеклянных дверей депо. И были в дороге.

— Невозможная жара... извините... Я сниму рубашку,— сказал Чернов.— А вы не хотите раздеться? Дышать нечем.

— Хочу,— шепнул Деян и, не отрывая взгляда от серо-зеленых холмов, снял пиджак, аккуратно расстегнул пуговицы на белоснежной свежей рубашке, сложил и то и другое на кресло. Станный контраст составляло его гладкое безволосое лицо с телом, густо заросшим и с груди и со спины курчавой с сильной проседью шерстью. Деян присел на корточки, снял очки, близко придвинул глаза к окнам вагончика, заглянул вовнутрь.

— Там все есть,— прошептал Деян. Тонким пальчиком уперся в крышу вагона и медленно повез его мимо водокачки. Колеса щелкнули на стрелке — упруго и смачно. Деян встал на колени. Чернов шел вокруг

стола, заботливо и осторожно поправляя чуть покосившиеся столбики электропередач... съехавшие слегка на обочину грузовички... ногтем мизинца подвел часы на башне вокзала. Зайдя на противоположный край, он тоже встал на колени и стал резиновой грушей высасывать пыль из ложбины между двумя холмами. Несмотря на простыню, в долины пыль все-таки забивалась. Он посмотрел вдаль, за черту холмов, сквозь путаницу горизонталей проводов и вертикалей светофоров, и увидел там, около вокзала, незащищенные выпуклые близорукие глаза Деяна. Деян прицепил три вагона к паровозу и вез составчик со станции дальше, по мосту через реку, вдоль сверкающего стеклом озера к готическому городку. Дальше он дотянуться не мог.

— Помогите,— сказал Деян.

Чернов повел состав на себя — через лес. Деян смотрел вдоль узкой колеи в хвост последнему вагону.

Громко постучали в дверь. Деян вздрогнул. Чернов крикнул: «Сейчас!» — и полез под столом между ящиками. Вынырнул на другой стороне возле Деяна. Вставая, почувствовал, как коснулся — прошелся локтем по Деяновой шерсти на плече. За дверью стояла взрослая соседская дочка, умоляюще моргала крашеными глазами:

— Три рубля до послепраздника, и чтобы папа не узнал.

Чернову очень хотелось дать, но не было.

— Совсем нет. Может, вечером? Мне отдать должны.

— Мне сейчас... очень...

— Только к вечеру.

— Ну ладно.

Уходила. Засасывалась темнотой коридора. Последнее, что было видно,— две длинные светлые полосы высоко обнаженных ног... покачались в темноте и растворились.

Чернов вернулся в комнату и запер дверь. Деян опять вздрогнул, но не обернулся. Стоял на коленях, низко склонив голову. И рук не было видно — как будто молился. Станный у него был вид — дикая звериная спина увенчивалась маленькой цивилизованной головкой с прилизанными прямыми волосиками и проборчиком. Чернов прошелся по комнате. Наткнулся на мусорное ведро. Подумал, что надо бы вынести его,

но... снова щелкать ключом в двери... опять вздрогнет Деян... Чернов глянул на давно не замечаемую фотографию — свою с сыном. И вдруг ему стало по-знакомому стыдно. Даже испарина выступила, так стыдно стало, что маленький Петька видит с фотографии эту запущенную комнату, и в ней запущенного отца, и этого полуголого шерстистого иудея с армянской фамилией, молящегося средь бела дня над детской игрушкой. Раньше, когда к Александру Петровичу приходили женщины, он сдергивал со стены фотографию. Оставшись один, снова вешал на стену. И вот тут-то и бывал этот момент стыда — Петька и сам он смотрели с фотографии прямо в лоб.

Чернов достал сигарету, чиркнул спичкой. Деян вскочил с колен, задумчиво отряхнул брюки, так же задумчиво, глядя куда-то в пол и вбок, достал из кармана своего пиджака невиданную пачку сигарет — плоскую, квадратную. Тряхнул пачку, и одна сигарета ловко, как у фокусника, выдвинулась наполовину из общего ряда. Протянул пачку Чернову, глядя все так же вбок и вниз открытым невнимательным глазом с удивленно поднятой бровью. Пачка в руке легко покачивалась, предлагая себя.

— Я курю, — сказал Чернов и показал свою дымящуюся сигарету.

— Возьмите. Это очень хорошие сигареты. Это самые лучшие сигареты. — Деян все смотрел на него и говорил медленно.

Чернов взял сигарету и положил на буфет. Деян снова тряхнул пачкой, и опять одна сигарета приготовилась на выход. Он зацепил ее губами и совсем застыл, окаменел. Невидящий скошенный глаз, задранная бровь, тонкая пачка сигарет в тонких пальчиках. Чернов поднес ему зажженную спичку. Деян закурил, сладострастно, по-наркомански затянулся, прикрыв глаза, медленно выпустил дым через нос... и ожил. Бросился в кресло, резко закинул ногу за ногу, заговорил быстро и настойчиво, с неожиданными низкими властными нотами.

— Мне очень понравилось, Александр Петрович. Я не предполагал ничего подобного. Такая вещь может только присниться. Как же нам быть? — снова с сопением выдохнул дым через нос. — Сколько лет вы занимаетесь этим?

— Да уж десять.

— А сколько примерно все это стóит?

— Стóит? Трудно сказать.

— Я думаю, очень дорого. Очень. Вы кто по профессии? Где работаете?

Александра Петровича начал раздражать самоуверенный и властный тон полуголого гостя. Чернов скороговоркой произнес чудовищное нагромождение согласных букв — сокращенное название своего института. Чернову хотелось хоть на мгновение поставить гостя в тупик. Заставить переспросить. Но, к полному его изумлению, Деян не спасовал. Секунду он молчал: компьютер в его голове, видимо, расшифровывал кошмарный узел. Потом сказал утвердительно:

— Вы архитектор. У вас был директором Кроманов. Я его знал... Василий Иванович. А теперь кто у вас?

— Блинов.

— Не знаю. А Всеволод Ярмак, это из вашего института?

— Да.

— Я читал его книгу «Эстетика строительства». Это интересно. Вам нравится?

Чернов, скривившись, выковыривал спичкой соринку из зубов.

— Я имею некоторое отношение к этой книге, так что...— Он выковырял довольно большой дурно пахнущий кусок лука, с омерзением швырнул его вместе со спичкой в ведро. Не попал и еще больше разозлился. Он понял вдруг главную причину своего, теперь уже давнего глухого раздражения, соединенного с апатией. Дело в Севе. А сегодня еще надо идти к нему, и сидеть вечер, и сочувствовать, и поддакивать, поднимать бокалы и говорить тосты.

— А вы где работаете?— грубовато спросил Чернов.

— Я теоретик,— коротко ответил Деян и опустил глаза.

Помолчали. С улицы из громкоговорителя доносился марш.

— У меня плохие руки,— резко и презрительно сказал Деян.— Мне никогда не сделать такое. Мне нужно готовое. Мне нужно. Вам не надоела эта игра?

— Это не игра. Это хобби,— деланно улыбнулся Чернов.

— Это игра, Александр Петрович. И как всякая игра,— это дело весьма интимное, я понимаю. Но вы играете уже десять лет. Может, вам надоело? Может быть, вы хотите другую игру? У меня неплохая коллекция икон. Я могу подарить вам ее.

Чернов засмеялся.

— Сколько же это может стоить? — серьезно продолжал Деян.— Три? Четыре? Пять тысяч? Александр Петрович, я буду вас соблазнять. У меня большие возможности, и я буду пользоваться ими.

— Мне непонятен ваш тон, Лев Бенедиктович.

— Что вы делаете с этим, Александр Петрович?

— Ничего... просто привычка.— Чернов опустил глаза.

— Если только привычка, то вам выгодно будет отказаться от нее. Мы с вами немолодые люди, нам нужна встряска и тайна. Все явное и привычное отягощает нас. У вас плохая квартира. Вы могли бы быстро построить кооператив, я взял бы на себя и организацию и оплату. Или вы можете купить автомобиль... Боюсь только, что для вас это не только привычка... Я не хочу лезть к вам в душу, но...— Деян хмыкнул и погасил сигарету о каблук ботинка.— Не может быть, чтобы двум людям одновременно была жизненно необходима одна и та же, в сущности, бессмысленная вещь... хотя это бывает в случае с женщиной...

— Странно вы говорите,— повторил Чернов. Закуривая, заметил, что у него дрожат пальцы.

— Вам нужны деньги? Большие деньги?— спросил Деян.

— Давайте отложим этот разговор. Тем более, вы уезжаете.

— Куда?

— В Ф Р Г! — громко, раздраженно выкрикнул Чернов, стараясь стряхнуть наваждение.

— Ваш товарищ не понял. В ФРГ едет один из моих сотрудников и может, если нужно, привезти вагоны и паровозики. Сам я уже давно не выезжаю за рубеж. Александр Петрович, вам нужны деньги? Мне кажется, вы не очень ловкий человек в жизни. Продайте мне дорогу. Это будет ловкий поступок, и вы почувствуете себя увереннее и веселее. Нельзя слишком долго играть в одну игру, это кончается сумасшествием.

— Вы Мефистофель, Лев Бенедиктович. Вы меня пугаете.

— Я искушаю вас, это правда. Но я вам предлагаю не закабаление, а освобождение. Вам нужно немного денег сейчас, сию минуту?

Чернов подумал о ста рублях, которые просил макетчик Коля, но тут же вспомнил, что теперь вагон ему будет не нужен. Комок обиды подкатил к горлу. Потом мелькнула мысль, что соседке Аллочке нужны три рубля. Потом подумал, что Петьке надо бы сделать хороший подарок к совершеннолетию, еще надо купить дубленку, заплатить за квартиру за тот месяц и за этот. Потом представил себя (скоро! завтра!) за рулем настоящего автомобиля, подъезжающим к своей квартире в каком-то совсем другом, новом, чистом районе. Все это провернулось в мозгу колючим калейдоскопом.

— К сожалению, я вынужден отказаться,— сказал Чернов. Он поднял глаза и остолбенел.

Полуголый гость сидел на стуле, а не в кресле. Сидел очень прямо, раскинув руки в стороны, как индийский божок. В левой руке был объемистый бумажник, а в правой небольшая денежная бумажка, на которой было написано: «200 рублей». Чернов даже не знал, что бывают купюры такого достоинства.

— Мы с вами похожие люди,— сказал Деян,— у нас одинаковый ритм. Нам не надо дружить. Каждым общением мы будем разоблачать и мучить друг друга. Давайте разойдемся. Мне кажется, я догадываюсь о ваших бедах и комплексах. Они похожи на мои. Я не хочу расспрашивать вас и тем более раздеваться перед вами. И все-таки... пожалуйста... возьмите эти двести рублей. Если вы решитесь, я заплачу вам еще пять тысяч восемьсот. Если нет, вы позвоните мне через неделю по телефону, который я вам назову, и отдадите эти деньги. Не подумайте ничего плохого: я не тайный миллионер, и не шпион, и не спекулянт. Просто у меня очень большая зарплата и критический момент в жизни. Я не переплачиваю. Ваши поезда стоят этой суммы. Примерно столько же я выручу от продажи коллекции икон, так что я ничего не потеряю. Если сумма в шесть тысяч вам кажется недостаточной, я готов увеличить ее.

Чернов ошеломленно смотрел на маленького волосатого человечка с гладким лицом. Деян протянул ему

двухсотрублевую новенькую, незалапанную бумажку. Глаза его были беззащитными и умоляющими.

— Как у Марка Твена — «билет в миллион фунтов стерлингов». Такую бумажку и не разменяют нигде. Может быть, у вас есть помельче?

— У меня нет,— испуганно пискнул Деян.

Чернов мучительно покраснел и, вертя головой, стряхивая этим верчением стыд, пробормотал:

— Извините, может быть, вы дадите мне тогда еще три рубля, мне срочно нужно.

Деян торопливо положил двухсотрублевку на колени и дрожащими пальцами зашарил в бумажнике. Достал мятую трешку. Медленно, аккуратно положил грязную дешевую бумажку на новенькую, очень дорогую и снова поднял на Чернова умоляющие глаза. Александр Петрович вскочил, натянул на взмокшее тело рубаху, наспех заправил ее в брюки, решительно кинулся к гостю и схватил бумажки с его колен.

— Я сейчас,— крикнул он. Рванулся к двери, резко повернул ключ и выскочил в темный коридор. Пройдя шагов десять в полной темноте, он безошибочно свернул в нишу и стукнул в дверь.

— Кто?

— Алла,— позвал он и сразу пошел назад по коридору. Правая рука с ненужной силой сжимала две бумажки. Сердце сильно стучало. Он услышал за спиной, как открывалась и закрывалась дверь, услышал каблучки по паркету. Повернулся. Она была рядом. Лево́й рукой он взял мятую трешку, протянул в черноту, нащупал ее руку, вложил. Почему-то жутко стучало сердце. Он почувствовал прикосновение тугих полных губ к своему плохо выбритому подбородку, и опять застучали каблучки по паркету. Ему казалось, что он видит качающиеся полосы полных ног, но это была фантазия. На этот раз было совсем темно.

Когда он вошел в комнату, Деян был в рубашке и в пиджаке. Стоял у самой двери.

— До свидания,— сказал Деян.

— Я вас провожу, мне тоже в город.

— Я вас подвезу.

На лестнице Деян подхватил его под руку, сказал тихо:

— Я надеюсь, вы согласитесь, что весь разговор касается только нас двоих. Вам куда ехать?

— На Георгиу-Деж.— Чернову захотелось хоть на минуту увидеть сына.

На улице у ворот стояла черная «Волга» с особенным специальным номером. Крепкий парень с глубоко посаженными глазами выскочил с места водителя, обошел машину и открыл переднюю дверь Деяну.

— Садитесь назад,— сказал Деян усаживаясь.

Шофер закрыл за ним дверцу и снова пошел вокруг машины. Александр Петрович открыл заднюю дверцу и увидел, что в углу сидит мальчик лет двенадцати с английским журналом в руках. Мальчик был очень похож на Деяна, но в то же время по-настоящему красив яркой и изысканной восточной (или еврейской?) красотой. Мальчик оторвал взгляд от журнала и посмотрел на Чернова вопросительно.

— Здравствуйте,— сказал Чернов и захлопнул дверцу.

— Здравствуйте,— сказал мальчик.— Пап! Что так долго?

— У нас была встреча, Вадик. Николай Иванович,— обратился он к шоферу,— на Георгиу-Деж. Потом завезем Вадика к маме, а потом к нам, в главное, я уже опаздываю.

Машина мягко тронулась, набирая скорость, свернула на проспект и смело рванула, опережая многих, в самую гущу предпраздничного движения. Чернов ехал знакомым и давно забытым путем к родной улице, но все теперь было не так. Странно. Слишком удобно и тревожно. За всю дорогу Деян обернулся два раза.
Первый раз:

Александр Петрович! — протянул что-то.

Чернов взял — это была бумажка с телефоном.

Второй раз он обернулся к сыну:

— Вадим! (Мальчик оторвался от журнала.) Вадим, скажи маме, что этот месяц я буду занят, а в начале следующего зайду к вам и, если она разрешит, возьму тебя на двенадцать дней на Рижское взморье. Мы будем с тобой гулять и кататься на велосипедах.

— Ага,— сказал Вадим и уткнулся в журнал.

— Направо? Налево?— спросил шофер.

— Можно здесь. Я дойду. Здесь близко. До свидания.

— До свидания, Александр Петрович. Всего вам хорошего.

— И вам.

Чернов захлопнул дверцу. Машина рванула с места. Чернов стоял на углу бывшей своей улицы и неоправданно-болезненно улыбался. Одиночество было приятно. Наваждение проходило. Ему стало легче, когда он вышел из машины и машина исчезла. Но вместе с тем он чувствовал, что приближается какая-то роковая черта в его жизни, когда он должен будет принять решение. А этого он всегда боялся.

5

Александр Петрович обнял высокого, худого, совершенно лишенного мышц человека, который был его сыном. Как ни странно, в этом объятии он вдруг почувствовал себя крепким, здоровым и даже молодым. Объятие было в его пользу. Ему даже стало чуть стыдно от победы над партнером неравного веса. Он очень удивился, что голос его звучит на красивых, непривычно низких нотах, с легкой хрипотцой.

— Петр Александрович! — с удовольствием произнес он. — Я тебя поздравляю. Ты стал взрослым. Мама дома? Я тебе не помешал?

— Нет, — ответил сын сразу на оба вопроса.

Тот же полумрак — занавески задернуты, шторы полузакрыты. Тяжело пыхтит прачечная на первом этаже, и мелко позвякивает посуда в серванте... Сверкающий пол, зеленая краска стен, неразличимые темные картины в тяжелых сверкающих рамах — ничего не изменилось в этой квартире. Через открытую дверь видна смежная комната. И там все так же. Их с Таней кровать с кружевным бежевым покрывалом. Репродукция «Северного вокзала» Моне над кроватью (как он радовался, когда купил эту картину, да и правда, очень хорошее качество). Виден кусок зеркала, в нем отражается окно той, смежной комнаты. В окне густая листва — это новое: дерево выросло, раньше так не было.

— Как дела? Как мама?

— Хорошо, — ответил сын сразу на оба вопроса.

Александр Петрович усадил сына рядом с собой на широкий диван с валиками и откинулся на локти. Шумно выдохнул воздух. Чувствовал, как приятно забирается прохлада во все потные уголки тела.

— Я, Петушок, хотел тебе подарок сделать и ничего

не сообразил. Что ты хочешь? Что тебе в радость? Стой! Что это? Наклонись-ка! Что у тебя с волосами? Что это?

— Я лысею, папа.

— Да ты что? С какой стати? В восемнадцать лет! — голос у Александра Петровича звучал очень красиво, низко.

— Гены, наверное, — сын медленно улыбнулся.

— Откуда? Я-то ведь не лысею.

— И ты лысеешь, папа.

— Где?

— Вот. — Сын погладил его по макушке. — Лысеешь.

— Но я и постарше все-таки.

— Лысеешь. — Сын все гладил его по макушке, и это было очень приятно.

— Ну расскажи. Расскажи мне про себя. Как вы тут живете? Мама здорова?

— Более или менее.

— Как глаза у нее?

— Глаза болят. А так все более или менее.

— Ну говори, говори дальше. Как в институте? Интересно тебе?

— В каком институте? — Сын смотрел на него, сильно вывернув шею, с искренним интересом, без насмешки.

Александр Петрович почувствовал холодок в спине:

— Что случилось, Петух?

— Отец, — сказал сын, — все, что произойдет дальше, уже описано в разных повестях много раз. Я не знаю, как у тебя со временем, у меня времени мало. Что ты молчишь?

— Говори дальше.

— Я не учусь в институте давно. Год. Ушел сам. Ушел, когда получил белый билет и понял, что меня не заберут в армию.

— Дальше, — сказал Александр Петрович и тяжело прикрыл веки.

Сын встал, сделал длинный скользящий шаг по тускло сверкающему паркету, балетно повернулся на носке и встал напротив Чернова, уткнув длинные трубочки рук в костлявые бедра.

Александр Петрович испытал нежную жалость вместо гнева, которого он от себя ожидал.

— Ну, дальше! — сказал он.

Сын скользящими движениями сделал четыре шага назад и прислонился спиной к стене возле окна. Из окна бил зеленый лиственный свет, и, отрезанный пучком этого света, сын был почти неразличим в своем углу.

— Дальше,— тихо сказал Александр Петрович.

— Дальше некуда,— тихо сказал сын. Он вытянул вперед свои худые руки с растопыренными пальцами. Кисти попали в сноп света, по ним задвигались зайчики. Дерево шумело листьями за окном, но казалось, что шелест этот исходит от хрупких длинных пальцев, по которым бегали тени и вспышки. Потом он уронил руки вдоль тела.— Папа, все переменялось.

— Что переменялось, Петруша? Ты меня не мучь.

— Да что ты! Не надо мучиться! — тихо вскрикнул сын.— Я тебе все объясню. Только, боюсь, трудно нам будет... хотя нет... ты поймешь. Я тебя не мучу, папа. Ты говоришь — дальше! дальше! А уж и так очень далеко. Почти не видно.

Александр Петрович подался вперед, упер локти в колени, крепко сплел пальцы.

— О чем ты говоришь? Что случилось? Почему у тебя белый билет? Ты болен?

— Чепуха. Глаза. Мамина болезнь. Это вовсе не страшно. Но в армию не взяли. Тебя это огорчает?

— А что случилось в институте? Почему мне не сообщили? У тебя неприятности?

Сын вышел из угла, медленно прошел вдоль стены и опустился в кресло возле двери в смежную комнату. Они сидели друг против друга, разделенные и соединенные тремя шагами натертого малоисхоженного пола. Александр Петрович видел серое каменное лицо Петра, чуть левее, в глубине другой комнаты, зеркало, в зеркале листву, сквозь листву проблески солнца. Перспектива была бездонной. Сын начал говорить:

— Когда я должен был родиться, вы с мамой планировали мальчика или девочку? Ты можешь не отвечать. Это не имеет значения. Пусть даже вы хотели мальчика и угадали, все равно вы же не именно меня, вот такого, планировали. Значит, я не только ваш сын, но еще и сын случая. Правда? Без тебя я уже давно. Одну треть моей сознательной жизни. Правда, говорят, голос крови. Но ведь голос крови — это не только твой голос. Это голос всех предков, твоих и маминых, кото-

рых и ты не знаешь. Но, впрочем, все это голоса — только половина, а вторая половина — голос случая. Ближе тебя, кроме мамы, у меня никого нет, и за это ты не волнуйся, ближе нет. Но это не значит, что ты близко. Ближе, чем другие, но очень далеко. А близко никого нет. И не будет. Это первое, что я понял.

— О чем ты? — тихо произнес Александр Петрович.

Оба помолчали. Шумно шелестели листья за окном, и на басовых нотах им аккомпанировала снизу из прачечной стиральная машина. Сын сидел, подсунув под себя кисти рук, ладонями вниз. Плечи задержались, голова склонилась набок. Он был похож на игрушечного паяца-попрыгунчика, вертящегося на резиновом турнике между двух палочек.

— Чудеса бывают, — сказал сын. — Чудес довольно много. Но тут такая особенность — мы признаем чудесами только то, что происходит вне нас, чему мы — посторонние зрители. Вулкан огнем рыгает, наводнение, когда все залито, везде гибель... Или человек выпал из вертолета и не разбился... это чудо... И эти чудеса, в которые мы верим, всегда связаны для нас с особо страшной угрозой смерти или с избавлением от смерти. (Странно только, что мы в Христа не верим. Но не верим. Мало кто верит.) Вот... это чудеса... А тому, в чем мы сами участвуем, чудесам жизни, так сказать, мы как чудесам не доверяем. Снам не верим, над прозрениями смеемся. Великие совпадения считаем случайностями. Короче, мы привыкли обманывать друг друга и подозреваем, что Жизнь с большой буквы тоже нас обманывает, играет с нами в нашу же корыстную игру. Выглядывает что-то, хитрит, дурит голову... Тебе, отец, трудно жить, это видно. (Александр Петрович вздрогнул и выпрямился.) Ты нас с мамой оставил и... повесил этим себе камень на шею, а вовсе не освободился. Мучаешься, считаешь себя виноватым до сих пор и перед всеми оправдываешься, перед собой больше всего... Ты не перебивай, я понимаю, что ты хочешь сказать... дослушай, пожалуйста... Ты не словами оправдываешься, а всей жизнью. Вот сейчас пришел, чтобы доказать, что думаешь обо мне и о маме, а на самом деле не думаешь или редко думаешь и с т е с н я е ш ь с я этого... Я ведь не в упрек говорю. Пойми! На о б о р о т! Ты з р я м у ч а е ш ь с я. Ты все сделал правильно... вспомни... Ты начал рушиться изнутри, и это было ужасно. Рушил-

ся умный, интересный, веселый человек... Ты ведь редкий человек, отец... Я правда так думаю!.. Ну вот... Стал ты рушиться и почувствовал: на наших с мамой глазах тебе не спастись, потому что мы свидетели перемен в тебе. Надо остаться одному, и тогда, без упрекающих и «понимающих» глаз рядом, можно, может быть, выползти опять в живую жизнь. Так ты подумал. Правильно ты подумал. И сделал правильно. И поверь — распад семьи не всегда зло, это предрассудок так думать... И мама, хоть и надела навсегда маску брошенной-покинутой, а, клянусь тебе, почувствовала облегчение, когда ты ушел. А знаешь почему? Потому что не хотела рушиться вместе с тобой. Она очень здоровый психически человек, строгой психики, а ты (ей так казалось) заболел... и ее тащил в болезнь. Кошмар паровозиков и вагончиков ее преследовал... Так что ты все сделал правильно. И надо было верить себе. А ты, мне кажется, не поверил. Ты побоялся жить по собственным критериям. Стал ты себя мерить общественными мерками. И как ни прикладывал ты к себе эти мерки, получался странный ответ: Ты не удачливый порядочный человек. Или: ты порядочный неудачник. Интуиция должна была тебе подсказать обратное: порядочность совсем не главное твое достоинство... и порядочный ты очень в меру... Но дело-то не в этом. Ты озаренный человек. Озаренный. Способный к свободе, к достижениям, к индивидуальному проникновению в суть вещей. Тебе гордиться собой надо бы, а ты доверился пошлым оценкам своих коллег, которые (ты поверь мне — я хорошо помню их всех у нас дома, когда ты каждый день таскал их к себе), которые, говорю, лет семь назад исходили от зависти к тебе, к твоим перспективам, к тому, что ты сам мог определить свои перспективы, к твоей легкости. А потом они подсознательно (а может, и сознательно) устроили заговор против тебя. И победили. Упирали на твою «ангельскую порядочность», но мало-помалу искусственно сделали из тебя неудачника. А когда ты сам перестал верить, что ты любимец судьбы, когда ты смирился с тем, что ты порядочный неудачник, тебе (из мести за прошлое) и в порядочности отказали: семью-то ты бросил, жизнь ведешь странную. Ты и тут поверил... И вот ломаешься, ломаешься.

Александр Петрович с трудом разлепил губы:

— Это ты ломаешься, Петушок. Выламываешься передо мной. Тебе кто-нибудь внушил эти сверхпсихологические теории или ты сам выдумываешь? Вот и занимался бы подсознанием в своем медицинском! Почему ты институт бросил? Чем ты занимаешься?

— Я пока думаю,— сказал сын.

— Не говори так со мной, пожалуйста,— сказал отец.— Не будь странным. И не будь раньше времени старым... Пойди сюда, Петя! Сядь рядом со мной.

Сын не пошевелился.

— Ты успокойся,— сказал он.— Дела у меня неплохие. Я инструктор-стажер лодочного туризма. Через две недели поведу группу по Печоре. Мне это нравится. Лето и осень мне ясны. Потом погляжу, что дальше... И еще одно... Только не подумай, что хвастаюсь... (Сын посмеялся тихонько.) Тем летом, во время обучения на Селигере, я спас одного мальчишку — тонул, с плота упал. Мальчик Котя, шести лет, сын очень, очень главного хирурга. Хирург поступил по-современному и в силу своих возможностей: пришел меня благодарить, поговорил со мной и ушел, оставив конверт. В конверте одна тысяча рублей, хочешь цифрами, хочешь прописью. Так что деньги у меня есть... А кстати... спасти Котю было совсем не трудно — ситуация была легкая.

— Фантастика,— тихо произнес Александр Петрович.

— Да, довольно фантастично,— ответил сын.

Он ссутулился, сложился пополам. Скрещенные руки спрятались во впадине, которая была у него вместо живота. Подбородок низко нависал над острыми коленями... Он снова начал говорить. Теноровые звуки медленно и неуклонно набирали скорость:

— Вот ты говоришь, не становись старым раньше времени. Это ты точно попал. Я как будто уже старый. И не хочу я молодым быть... Я тебе скажу одну важную вещь... Когда я в институт поступил, мы сразу, еще до занятий, поехали на картошку. Кроме всего прочего, были там еще соревнования на деревенском стадионе. Я, тощий, легкий, без особых усилий выиграл все средние и длинные дистанции по бегу. Антипов, наш преподаватель с физкафедры, прямо зашелся! Опекал меня, подкармливал, от тяжелых работ освобождал. Потом вернулись. Начали учиться. Меня сразу в секцию. И пошло: тренировки, забеги, грамоты. Я опять в каких-то

там соревнованиях победил. Меня в сборную института, еще что-то там сулили — спартакиады, олимпиады. И разоггли во мне честолюбие донельзя. И вот весной опять бежали. Называется «Весенние старты» ДСО «Буревестник»... на приз газеты, и все как положено... Тренер вокруг меня пляшет. И сам я пляшу, ничего и никого вокруг не вижу. Избычились мы на старте... Хлоп — у меня фальстарт — раньше времени выпрыгнул. Второй раз. То же самое. Судья делает предупреждение. Ребята злятся. Опять: «На старт!» И вдруг так я стал себе противен с этой тряской внутри, с этим подлым желанием всех обойти... Нарочно помедлил после выстрела, рванул последним. И на первом же круге — шарах! — в пролом забора и к черту со стадиона, по парку... Слышу, Антипов кинулся... кричит... А я дальше — где ему меня догнать! И бегу парком. И темп держу приличный, только уже без всяких секундомеров. И чувствую — весь я красный! Так стыдно за мою старательность, за выскакивание вперед... Через два месяца я институт бросил...

— При чем же тут институт? — пробормотал отец.

— Да так сошлось... Я, знаешь, огляделся и увидел, что все похоже на этот старт. Расшибусь в лепешку, а всех забью. Но на стадионе хоть по-честному, а в институте... фью-фью-фью. (Он посвистал.) Я так ясенько-ясненько всю эту систему вдруг разглядел. Ведь если очень захотеть, то всего можно добиться, это правда. Простое дело! Надо только чуть раньше встать, чуть пободрее улыбаться, чуть раньше с правильными людьми сойтись, чуть понастойчивее с женщинами быть, чуть раньше вступить везде, куда положено, и не возникать, где не положено,— и вся игра! Словом, везде чуть пораньше со старта выпрыгивать, и жарь по кругу... и все дела! Все мечты сбываются, и жизнь как песенка... Только мечты всё мизерные... На копейку пятаков... И совсем у меня не стало любопытства к жизни... к внешней жизни, я имею в виду... Я пробовал там... все положенные удовольствия... походы с ночевкой, рыбалка с ухой... вечериночки с девочками двое на двое или трое на трое... ну, что там еще... поп-музыка... смешно! Все время вопрос вертится: «И это все? И все блаженство?» Будто я уже раньше все это испытал... и обидно, как будто меня обманул кто...

Александр Петрович встал, медленно, осторожно

приблизился к сыну, наклонился над ним. Руки положил на плечи, подбородок на мальчишескую макушку. Смотрел в стену, не видя ничего перед собой:

— Я немного растерялся, Петушок, от всего, что ты говоришь... Мне трудно ответить... Но ты не прав!.. Не прав. Это какие-то монашеские мысли.

— Ну конечно! — Сын высвободился из неудобных объятий. — Конечно, глупость, и все это позади. Тоскливое прыщавое одиночество — это уже было и кончилось.

— А теперь?

— Теперь мне страшно интересно жить. Я затормозил, не побегал со всеми, и начались чудеса. Ты поверь мне. Я смотрю на человека или на событие... драку там, скандал или праздник... или еще что... и мне все кажется прозрачным. Всё — миражи! Можно рукой проткнуть и не почувствовать... Но это не пустота... там внутри, в середине... есть что-то плотное, точно такое же по форме, только во много раз меньше. И вот это плотное страшно интересно разглядывать. ЭТО СУТЬ! А остальное — невесомая накипь. Человеческая суть может расти только вглубь себя, увеличивать свою плотность — это мое открытие о подлинном росте. А можно расти обманно — выращивать вокруг себя мираж, набивать... надувать пустоту тенями и тогда — терять плотность... Людям тесно на земле не потому, что их много, а потому, что они раздувают бесконечно миражи своих потребностей и желаний. Если бы каждый осознал это и начал расти вглубь, только вглубь — стало бы просторно... Все дело в одном проклятом слове «Победа». Победу желают, мечтают о победе, готовят себя, тренируют для победы, терпят для нее, жертвуют, а потом празднуют победу. А на самом деле только поражение дает истинный рост, уплотняет человеческую суть. Люди чувствуют это... Но, почувствовав уплотнение, ощутив прекрасное сжатие пружины своей личности, не хранят его. Они используют его для реванша и опять рвутся к победе... и раздувают... раздувают свой мираж. Ты видел побежденных? Видел разгромленных? Как они содержательны по сравнению с победителями... Ты видел умирающих? Они все мудры, хотя жизнь прожили как глупцы... Я на первом курсе насмотрелся по больницам этих странностей. Я не хочу сказать, что смерть лучше жизни... смерть отвратительна... я это видел... но... то, что лопается мыльный пу-

зырь победительного самодовольства, украшает человека... человек становится маленьким и истинным.

Сын говорил все быстрее. Голос звенел на высоких нотах. После длинной фразы он жадно затягивался воздухом и говорил снова:

— Не надо завоевывать. Ни стран, ни женщин, ни пространства. Надо плыть на веслах по течению большой реки и трудиться ровно настолько, чтобы можно было плыть дальше. Есть только одна победа, к которой стоит стремиться, — победа над самим собой, над своим стремлением победить других. Народовластие — прекрасная идея. Это власть обездоленных, то есть проигравших, побежденных... Но беда в осуществлении... Побежденные, вырвав власть у баловней, у победителей, были бы правы, если бы сумели уничтожить власть. Но они не уничтожают; получение власти они считают началом побед, сигналом к реваншу, сами становятся победителями, и тут сразу все меняется. Смена ролей — чем больше побед над своими врагами одерживают новые властелины, тем больший это мираж, тем более мелкой, более чужой им самим становится их суть. А естественная правда опять переходит на сторону побежденных. И все путается, и начинает казаться, что правды вообще нет... Победители начинают сражаться между собой, потому что, начав побеждать, хочется победить всех... и вот уже бывшие обездоленные превратились в тиранов, большинство превратилось в меньшинство... и опять все сначала... вечные качели вражды...

Александр Петрович бесшумно метался по комнате и ломал себе руки.

— Откуда?.. Откуда это? — шептал он. — Зачем это, Петушок? Кто научил тебя? С кем ты связался? Откуда? Откуда?

— Само, само... само пришло, — звенел сын.

Он не шевелился и глядел в пол. Ни один жест, ни одно даже самое малое движение головы не помогало его речи. Только голос звучал. Лица не было видно. Не было видно говорящего рта. Александр Петрович видел только нежную лысеющую... а может, еще не обросшую, совсем младенческую макушку. Казалось, не Петруша говорит, кто-то другой, а он, Петруша, молчит, замер... спит, что ли? А голос продолжал:

— Папа! Ты уже проиграл. Ты давно проиг-

рал, и я люблю тебя за это. Отстань, не беги! Не мучай, не раздувай себя, проткни мираж! Не копи больше свои паровозики. Все эти дурацкие хобби — это тоже реванш, попытка победить в утешительном забеге, когда безнадежно проигран основной. Не надо, не надо.

...Ты не смог с нами жить, потому что думал — нам нужен только победитель. Ты хотел быть наилучшим отцом, и мужчиной, и мужем, и архитектором. Тебе не дали. Победу отняли у тебя еще более надутые желанием и призраками, чем ты. И ты бежал от стыда поражения... Я тебя понял... я не сержусь... Но ведь ты действительно самый лучший из всех, кого я знаю. И я верю, что ты скоро проиграешь все... и вернешься... обездоленный и любящий... и спокойный... и будешь опять рисовать для меня красивые фантастические дома с изогнутыми стенами и раздвижными крышами...

Александр Петрович неожиданно ослеп от слез. Слезы заполнили сразу целиком обе глазные впадины.

— Кто научил тебя? С кем ты дружишь? — крикнул он.

— С кем угодно. Когда мы идем на лодках, в первый день болтаем, потом три дня почти совсем молчим. А потом начинаем говорить как люди и почти всегда понимаем друг друга. Тут неважно ни образование, ни направление мировоззрения... ни всякое там... ничего не важно... потому что общаются не миражи, а сути людей... а всякой сути место найдется.

Чернов взял сына за плечи, поднял на ноги и крепко прижал к себе.

— Ты ошибаешься, ошибаешься, мой маленький... Ты страшно умный, ты все хорошо говоришь, но жизнь жестче, чем ты думаешь. И нельзя ее разгадать. Сколько умов думало и не додумалось. Неужели ты надеешься, что ты умнее всех?.. Это ты самоуверен и живешь в мираже, мой маленький. Ничего нельзя избежать — ни заблуждений, ни жажды победы, ни любви, ни измены, ни поражения. И снова захочется подняться и попробовать победить... И ты не избежишь этого. Но ты умный... я, знаешь ли... я так изумлен... откуда, мальчик мой?.. Как ты вырос...

Они стояли обнявшись посреди комнаты и шептались, освещенные зеленым светом, бьющим сквозь листву.

— Я вырос, — шептал сын. — Это называют акселе-

рацией. Я быстро вырос. Я много читал и много думал. Я встречал умных и очень глупых людей. Я учился у тех и у других. Я вырвал себе время, чтобы смотреть и думать, потому что не бежал вместе со всеми, потому что отстал, уступил место. Ты знаешь, почему сейчас время акселерации и дети удивляют своих родителей?

— Не знаю, мой маленький, не знаю...

— Я скажу тебе, — шептал сын. — Это потому, что у нас нет отцов. Наши отцы играют в игры — в службу, в награды, в успехи, в шахматы, в карьеру, во власть, в любовь, в паровозики, в важность, в скромность, в чины, в бильярд, в хитрость, в карты, в ученых, во врачей, в спортсменов, в болельщиков, в главных, в обиженных, в правых, в левых, в разгульных, в строгих, в учителей, в знатоков. Наши отцы играют и от нас хотят только одного — чтобы мы были в их команде... и рожают нас либо случайно, либо с целью — усилить команду в игре. И нет в отцах мудрости. Они чувствуют это... и играют в мудрость... А мы выросли, отыгрались. Мы ждем чего-то другого... а его нет! И единственно, чем взрослая жизнь отличается от детсадовской, — это **р а б о т а!** И вы гордитесь ею, превозносите, хвастаетесь, хотя чаще всего она вам мучительна. Вы нас готовите не к жизни, а к работе. Мы не бездельники, но мы не хотим вашей игры в работу. Работа еще не вся жизнь. Жизнь — не борьба, не достижение, а постижение и е... Пойми... пойми меня... И мы сопротивляемся... мы курим наркотики (не думай, не я, я не о себе), мы смеемся над вашей жизнью тем, что возводим ее миражи в куб... и в четвертую степень... Мы открыто делаем то, что вы делаете тайно, — прелюбодействуем, пьянствуем, отлыниваем от труда, когда устаем, мы думаем и пытаемся стать умными... И уже вы смотрите на нас как дети на отцов... и удивляетесь... и говорите: «а к с е л е р а ц и я!» И злитесь, что мы не в вашей команде. А мы даже не в вашей игре. Мы другие.

Сын высвободился из объятий отца. Опустив голову, медленно ушел в другую комнату. Чернов в зеркало видел, как он подошел к окну и долго задышливо глотал воздух.

— Петушок! Как ты себя чувствуешь? — спросил Александр Петрович, не сходя с места. Он почему-то боялся пошевелиться.

— Мы одиноки, нам нет места, — сказал сын. —

Нет места, потому что вы все раздуваетесь и раздуваетесь... Тогда мы будем сжиматься, нам ничего больше не остается... — Речь его опять начала убыстряться, голос стал набирать звучность и высоту... — Знаешь, какой я слышал разговор в больнице? Человек умер. И через минуту по телефону звонила из коридора женщина и говорила: «Скорее везите, место освободилось!» Она ждала и дождалась. Очередь! Очередь! Скорее везите, чтобы тот тоже скорее умер и освободил место. Вот почему я ушел из медицинского. Зачем лечить? Скоро мы будем праздновать смерть. Праздник — место освободилось!.. Потому что тесно... раздуваются все... нет места... нет места...

Голова сына закинулась, он начал оседать. Чернов не мог оторвать ног от пола. Чернов видел в зеркале, как Петя с закинутой назад головой отваливается от окна, приседает. Тонкие руки вцепились в подоконник, но голова закидывалась все дальше, дальше... рывками... и перетягивала. Крупные судороги начали сотрясать его тело. На губах появилась пена.

Щелкнул замок входной двери. Дверь открылась и закрылась. Приближались каблук по коридору. Вошла Таня. Замерла. Подошла к Чернову. Посмотрела в направлении его взгляда... в зеркало. Упали из рук сумки. Грохнули об пол. Александр Петрович видел в зеркале: она со стоном оторвала руки сына от подоконника, распластала его по полу, сдерживая судороги... Навалилась, хватала за язык, выдергивая его изо рта... Кино в зеркале было немым. Александр Петрович ничего не слышал.

Потом сын лежал на кровати. Они сидели рядом и молчали. Где-то в самой глубине мозга проклюнулось мутное воспоминание... Давно-давно... худой бородатый дед страшно бьется головой об землю... в палисаднике... а бабка и отец прижимают его к земле и бьют по щекам... Какой-то пригород... рядом с дедом валяется разбитое пенсне. Очень тихо. Саша сидит на деревянном крыльце, обхватив фигурный столбик, и чувствует, как заноза глубже и глубже впивается в его руку. Саше Чернову четыре года... или три... или два... Почему он раньше никогда не вспоминал этого?..

«Неужели?» — мелькнуло в голове. Но это была запоздавшая мысль. Его «Я» уже все знало, а мозг медленно подбирался к тому, что было уже определенно ясно.

«Вот что я сделал,— медленно думал Чернов.— Я передал болезнь деда Сергея Петьке... Вот что я сделал... Вот все, что я сделал...»

6

Господин Пьер Ч. прогуливался около вагона. Состав был чисто вымыт и сверкал в свете заходящего солнца. Перрон был чисто вымыт и зеркалил — господин Пьер Ч. видел всего себя под ногами. Стена вокзала была чисто вымыта и умиротворенно покоилась в матовой тени. Ни пылинки на стеклах. Ослепительно белые фигуры проводников у каждого вагона украшали темно-зеленую массу состава. Ровно и самоуверенно дышал паровоз. Господин Пьер Ч. прогуливался около вагона.

Он ходил медленным шагом от одной двери до другой. Когда он приближался к проводнику, Клод улыбался ему навстречу. Клод начинал улыбаться с того момента, как господин Пьер Ч. проходил половину пути и между ними оставалось десять шагов. Далее с каждым шагом пассажира улыбка проводника становилась все шире, шире, и когда оставалось два шага, Клод прикладывал два пальца к козырьку белой фуражки, элегантно удерживая другими пальцами аккуратно зачехленные красный и зеленый флажки. Господин Пьер Ч. слегка раздвигал в улыбке губы и наклонял голову. Потом он поворачивался (ботинки, купленные в Вене, были очень удобными и, плотно обтягивая ногу, нигде не жали) и удалялся. Поворот у дальней двери. Ход назад. Улыбка. И два пальца у козырька.

Перрон был совершенно пуст. Его пустоту подчеркивал небольшой коричневый чемодан из крокодиловой кожи, одиноко стоявший посередине, прямо напротив главных дверей вокзала.

— Скоро едем? — произнес господин Пьер Ч., подходя к Клоду.

— О да, мсье! — сказал Клод, отдавая честь.

Главные двери вокзала раскрылись сами, управляемые фотоэлементом, и тишина взорвалась многоголосьем. Вышло очень много мужчин и немного женщин. У всех в руках были футляры с музыкальными инструментами. Бутылки скрипок, улитки валторн, гигантские сигары тромбонов и фаготов, сигаретные пачки флейт. Вдалеке на платформе показался

электрокар. За спиной водителя в белом средневековыми башнями теснились футляры арф и контрабасов. За электрокаром трое служащих в белом катили к багажному вагону коричневый концертный рояль.

Мужчины и женщины, говоря на разных языках, рассаживались в вагоны номер 1, 2, 3... 5, 6, 7. К вагону номер 4, в котором ехал господин Пьер Ч., подошли только двое: низкорослый толстяк с копной седых волос, падающих на плечи, и молодая женщина с полными ногами, весьма странно одетая. Бесценные брюссельские кружева желтовато-белой пеной обтекали ее стан и руки. В дырочках кружев посверкивала оттенками зелено-коричневого шелковистая ткань. Из неглубокого выреза на груди жалил глаз небывалой чистоты и величины бриллиант, оправленный в кулон. Бедро ее были обтянуты совершенно не лепившейся к аристократическому верху очень короткой юбкой-мини. Высоко открытые ноги при каждом шаге отбрасывали от себя солнечные потоки, и они, отброшенные, тоже слепили глаза.

Клод отдал честь, с поклоном принял билеты, и странная пара поднялась в вагон, причем первым вошел мужчина. У них — у единственных из всех музыкантов — в руках не было ничего.

Господин Пьер Ч. шел вдоль вагона. Седовласый толстяк резко рванул дверцу первого купе и скрылся в нем. Женщина шла по коридору шаг в шаг с господином Пьером Ч., который шел по платформе. Они прошли весь вагон. Женщина вошла в последнее купе. Господин Пьер Ч. повернулся на каблуках (просто удивительно, до чего удобными были ботинки, купленные в Вене) и пошел назад. С середины его пути Клод начал улыбаться. Когда Клод приложил два пальца к козырьку, господин Пьер Ч. лукаво стрельнул глазами в сторону вагона.

— Без чемоданов, а? — спросил он.

— Чемоданы доставили заранее, — сказал Клод. — Это господин Арнольд, главный дирижер Шлиссельбургского оркестра.

Господин Пьер Ч. повернулся на каблуках и... снова повернулся.

— Какого? — спросил он.

Клод ответил, но слышно не было, потому что призывно заревел паровоз. Клод услужливо согнулся в

полупоклоне, приглашая господина Пьера Ч. в вагон. Господин Пьер Ч. легко сосчитал удобными ботинками до четырех, избегая по идеально чистой металлической лестнице.

— Пьер! — раздался голос.

У вагона стояла Айрин. На ней была жесткая шляпа с широкими полями, синяя блузка и длинная белая юбка. Она была очень хороша. Господин Пьер Ч. сбежал на перрон и поцеловал ее в щеку.

— Айрин! — сказал господин Пьер Ч.

— Милый! — сказала Айрин.

— Ты передумала? — сказал господин Пьер Ч. и вдруг почувствовал, что венский ботинок немного жмет. У большого пальца. Левый.

— Извини, нет, — сказала Айрин. — Не сердись!

Паровоз прогудел во второй раз. Клод вежливо приложил два пальца к козырьку. По перрону бесшумно ехал пустой электрокар.

— Милый! — сказала Айрин. — Одолжи мне, если не трудно, пятьдесят тысяч. Я хочу побыть здесь подольше. А может быть, слетаю в Анкару. Тебя это не затруднит?

— Мой бог! — сказал господин Пьер Ч. Он достал бумажник и вынул оттуда плоскую тончайшей бумаги чековую книжку. — Я выпишу тебе семьдесят на предъявителя — вдруг у тебя будут побочные расходы. — Он протянул ей чек.

Паровоз свистнул в третий раз долгим прощальным гудком.

— Пиши мне на вокзальные почты, — сказал господин Пьер Ч. — Ты знаешь мой маршрут — я записал тебе. В левом нижнем ящике стола в спальней. Там все расписание.

— Спасибо, милый, — сказала Айрин.

(Нет, он ошибся — ботинок не жал. Это показалось.)

— Может быть, передумаешь? — сказал он.

— Пожалуй, нет, — сказала Айрин. — Прощай!

Поезд медленно тронул с места.

— Мсье! — сказал Клод.

Господин Пьер Ч. поцеловал Айрин в изумительно пахнущую нежную щеку и вскочил на нижнюю ступеньку. Айрин вскинула руку приветственно. Потом повернулась и пошла к выходу. Коричневый чемодан из крокодиловой кожи одиноко стоял на ее пути.

— Кто забыл чемодан? — крикнула Айрин.

Из главных дверей выбежал небритый человек в несвежем костюме и мятой шляпе. Это был южный человек со смуглой кожей, сицилиец или араб. Человек подхватил крокодиловый чемодан и, размахивая билетом, кинулся к поезду. Господин Пьер Ч. видел, как он вскочил в вагон номер 7.

Поезд набирал скорость. За окнами поплыл аккуратный сельский пейзаж. Господин Пьер Ч. стоял в коридоре посреди вагона и курил сигару. В правом конце вагона стоял господин Арнольд и сосал трубку. В левом конце вагона стояла молодая дама и курила сигарету.

— М а д а м! — шлепая толстыми губами по трубке, крикнул господин Арнольд.— Сколько вам нужно будет репетиций?

Дама подняла в ответ два пальца. На каждом было по кольцу.

— Поезд приходит в 7.20 утра. В котором часу я могу назначить репетицию? — крикнул господин Арнольд.

Дама, не отрывая взгляда от окна, подняла вверх три пальца. На каждом было по кольцу.

Поезд промчался мимо маленькой станции, уснувшей в зелени. Станция называлась Тиздорф.

— М а д а м! — крикнул господин Арнольд.— А может быть, все-таки сыграем Ш у м а н а?

Дама, не отрывая глаз от текущего за окном пейзажа, сложила изящные пальцы и показала ему фигу.

«Видимо, русская»,— подумал господин Пьер Ч.

Господин Арнольд прошлепал губами что-то невнятное. Появился Клод... поклонился дирижеру... тот сказал ему что-то... Клод подошел к господину Пьеру Ч.

— Прошу извинить, невероятный случай, я без спичек... Нет ли у вас огня для мсье?

Господин Пьер Ч. направился к толстяку.

— Позвольте предложить вам...— Он протянул ему зажигалку.

— Благодарю.

— Пьер Ч.,— сказал господин Пьер Ч.

— Арнольд Арнольд,— сказал господин Арнольд.

— Чрезвычайно рад. Позвольте спросить, где вы даете концерты?

— Мы играем на фестивале в Барселоне.

— Постараюсь попасть на ваш концерт.

— Вы знаток?

— О нет! Я путешествую.

— Мы даем несколько программ. Если...— тут господин Арнольд резко повысил голос, чтобы было слышно в дальнем конце вагона: — Если мадам Туруханова не выкинет снова какой-нибудь трюк!

— Старый идиот! — низким хриплым голосом сказала молодая дама, не отрывая взгляда от окна.

Клод поперхнулся слюной и закашлял со свистом. Господин Арнольд стал наливать сизой краской.

— Я идиот! Я идиот, потому что связался с вами, — закричал он, стуча себя кулаком в лоб.

— Тра-та-та, тра-та-та, — явственно спели колеса поезда в наступившей тишине.

— Прошу извинить, — сказал господин Пьер Ч., — я давно путешествую в поездах и очень хорошо знаю расписание. Я невольно слышал, как вы сказали, что поезд прибывает в Барселону в 7.20 утра. И в 3 часа вы хотели назначить репетицию. Это ошибка, извините. Он прибывает в 19.20, то есть в 7.20 вечера.

Хрустнул мундштук, и обломок трубки выпал изо рта господина Арнольда.

— То есть как?! — вскричал он.

— Мсье прав, Барселона вечером, — пролепетал Клод.

Господин Арнольд развернулся и начал с силой биться головой об дверь купе.

— Проститутка! — ревел он. — Я всю жизнь избегал публичных домов. Зачем же я на старости лет связался с проституткой?! Все погибло! Самолетом мы бы давно были на месте. Мы бы давно были в Барселоне, если бы эта бандитка не таскала с собой свой идиотский рояль. Концерт в девять! Когда мы будем репетировать? Я выброшусь в окно! Я погиб!

Грохнула тамбурная дверь, и в коридор влетел человек с большой черной бородой, крючковатым носом и выпученными глазами.

— С в и ф т! — заорал господин Арнольд. — Вы болван! На какой поезд вы взяли билеты? Мы приезжаем за полтора часа до концерта! Провал! Я не выйду на сцену! Вы заплатите неустойку! Вам ничего другого не останется, как идти в сутенеры к мадам Турухановой! Шлиссельбургский симфонический не знал такого позора!

— Успокойтесь, мсье, умоляю вас! — завизжал Свифт.— Мы что-нибудь придумаем... и не надо меня оскорблять... старая калоша! — неожиданно добавил он.

Мадам Туруханова хрипло рассмеялась.

— Тра-та-та, тра-та-та! — снова пропели колеса в тишине.

Господин Арнольд Арнольд, склонив голову, как бизон, пыхтя и топая, побежал по коридору. Добежал до мадам Турухановой, размахнулся и с силой ударил ее по плотному заду. Звук получился мощный. Мадам Туруханова отступила на шаг и вlepила господину Арнольду пощечину такой силы, что его тяжелая голова мгновенно сделала то движение, которое военные делают при команде «равняйся!».

— Господа, мы артисты, мы художники, остановитесь! — завизжал Свифт, устремляясь к главному дирижеру и солистке.

Господин Арнольд отодвинул его рукой и пошел обратно к господину Пьеру Ч. Лицо его было пожарнокрасного цвета.

— Дорогой мсье,— сказал он сравнительно спокойно,— не будете ли вы возражать, если мы проведем репетицию здесь, в вагоне? Не помешаем ли мы вашим занятиям?

Господин Пьер Ч. развел руками:

— Я буду счастлив, но...

— С в и ф т! — рявкнул господин Арнольд.— Если вы позволили включить в контракт пункт о перевозке рояля, пункт, на который мог согласиться только сумасшедший, то напоминаю...

— Но ведь вы сами...— выдвинул Свифт вперед нижнюю челюсть.

— Т о н а п о м и н а ю,— громовым голосом перекрыл его господин Арнольд,— что в контракте нет пункта, запрещающего мне назначить репетицию в поезде! Через десять минут начало! Всех в мой вагон! «Воровка»!

— Импотент! — крикнула мадам Туруханова.

— Я имею в виду увертюру к опере Россини «Сорока-воровка»! Мы с нее начнем. А что касается импотента, то еще посмотрим! — рявкнул господин Арнольд.— Потом концерт Рахманинова! Мадам будет играть, стуча пальцами по столу, сидя передо мной!

— О-ля-ля! — воскликнул Свифт. — Это превосходная идея!

Снова грохнула тамбурная дверь. Появился помятый итальянско-арабский человек с крокодиловым чемоданом.

— Место семь! — сказал он проводнику.

— Дорогой мсье, тут особые обстоятельства, — кинулся к нему Свифт, — не согласитесь ли вы занять место в другом вагоне?

— И не подумая, — сказал с акцентом крокодиловый чемодан.

— Но в таком случае вам придется испытать некоторые неудобства — здесь будет немного шумно.

— Это ваше дело! В билете не сказано, что гарантируют тишину. — Крокодиловый чемодан исчез в купе.

Свифт рысью бросился к выходу.

— У нас были все шансы победить! Все шансы, — говорил господин Арнольд господину Пьеру Ч. — Среди всех прекрасных оркестров, приглашенных на фестиваль, наш, несомненно, лучший. Лучше Магдебургского, лучше Мерзебургского и лучше Вильегорского. И вот — пожалуйста!

Стали появляться музыканты с инструментами.

— Скрипки — купе 3, 4. Альты — купе 5. Духовая группа — 8, 9. Контрабасы — в коридоре! Тарелки — в тамбуре! — кричал Свифт.

Началась настройка.

— Маразм имеет пределы, — сказал молодой скрипач.

— Должен иметь! Но не имеет, — сказал виолончелист в черной ермолке.

— Эй, Свифт! Мы не помешаемся. Куда мы будем выдвигать кулису? — кричали тромбонисты из девятого купе.

— В коридор! Дуйте в сторону коридора! — отвечал Свифт.

— Уберите литавры, дайте пройти, уберите литавры.

— Что вы мне тычете в лицо смычком?

— Я не тычу, а канифолью.

— Так канифольте смычок, а не мое лицо.

Крокодиловый человек выглянул в коридор.

— Перевозка сумасшедших? — спросил он Клода.

— Мы художники, мы должны уважать друг друга, — кричал Свифт.

- Вы что, хотите один три места занять?
- Я сорок лет играю на виолончели раздвинув колени и иначе не умею!
- С вашим задом вам место на крыше!
- Что вы топчетесь? Вы раздавили мой мундштук!
- Всё! Здесь полно! Вы что, обалдели? Идите со своей трубой в тамбур!
- А вы идите в задницу!
- Головы! Осторожно, головы! Заноси свой конец!
- Кто так носит арфы! Кто так заносит арфу в купе!
- Разве так заносят арфу в купе?! Эх!
- Дайте мне ЛЯ! Дайте ЛЯ!
- Мы артисты, так будем же артистами!
- Дайте ЛЯ! Дайте ЛЯ!
- Натe, ничтожество!

Господин Пьер Ч. сидел на откидном стуле в коридоре. На шее у него лежала доска с партитурой. В его левое колено больно упирался острым ребром контрабас. В правое то и дело бились толстые ляжки вертящегося во все стороны господина Арнольда.

— Концертмейстеры групп, высуньтесь из купе! — господин Арнольд постучал палочкой по оконному стеклу.— «Сорока-воровка» с первой цифры, мерзавцы!
— Старая сволочь! — закричали музыканты.

Поезд громыхал в тесном ущелье между скалами и вдруг выскочил на равнину. Стало тихо.

— Тра-та-та-та! Тра-та-та-та-та! — нежно пропели колеса.

Господин Арнольд поднял палочку... И...

Взвился, вознесся, взлетел Россини!

«Как они играют! — подумал господин Пьер Ч.— Как они любят друг друга! Боже, как они играют!»

Все! Все, что было противоречиво, озлобленно, непонято, — исчезло. Немыслимое блаженное единство! Господин Пьер Ч. слышал каждый инструмент в отдельности и все вместе. И каждый звук наполнял несравненной радостью его душу, его сердце, его голову, каждую частицу его тела. Контрабас всей тяжестью вдавливал свое ребро в ногу господина Пьера Ч., и господину Пьеру Ч. казалось, что прекрасные низкие звуки текут блаженной дрожью из его коленной чашечки. Музыканты страстно целовали медь. Мелко рукодельничали над стальными нитками, вправленными в благородное дерево. Заглатывали жадно костяные наконечники. Всяк

свое! Всяк не как другой!.. И... одновременно с колесами поезда, со скоростью, с высокими облаками, с вечерней росой, с солнцем, которое уже коснулось нижним краем черной массы далекого леса... одновременно... с трясущимися толстыми губами седого Арнольда, с его волосатыми пальцами, которые легко и властно танцевали в воздухе... одновременно... со всей черной смутой души господина Пьера Ч... смутой, от которой он хотел убежать в своих необыкновенно удобных ботинках, уехать в бесконечно идущем поезде... одновременно... с ежемгновенно улетающими в прошедшее частичками нашей невеселой жизни, которые, отлетев, на расстоянии кажутся сверкающими осколками веселья... одновременно! Едино, вместе! Так вместе, так дружно, так любовно, как и быть-то не может:

— Та-ра-та-та́-рам! Та-ра-та-та́-рам! Та-ра-та-та́-рам, та-ра́-рам, та-ра́-та-там!

«Бог мой! — думал господин Пьер Ч.— Мой Бог!»

7

Жаркий день выдохся, испарился, поднялся красноватыми отблесками к высоким облакам, а на его место откуда-то из щелей и выбоин асфальта, из ржавых мусорных баков, из дыр подвалов вместе с запахами отходов, с потрепанными жизнью кошками вылез промозглый бескислородный с колючей пылью вечер.

Александр Петрович перебежал улицу, как простреливаемое пространство. В затылке пузырился холодок детского страха — зацепят, достанут, не дадут уйти! Достали! Споткнулся о ступеньку тротуара. На правую ногу... Ушибся. Пошел медленно и снова споткнулся — о совершенно незаметный бугор асфальта. И опять на правую. Чертыхнулся. Остановился. Сказал вслух:

— Ведь сегодня не понедельник и не пятница, сегодня среда.

Поборов ветер, открыл тяжелую дверь парадной.

Когда лифт подъезжал к третьему этажу, он услышал голоса на площадке, и каждый голос был ему знаком. Александру Петровичу захотелось, не открывая дверей, нажать на кнопку первого и уехать... уйти из этого дома. Он стиснул зубы и клацнул дверной ручкой.

Врачи давно запретили Всеволоду Матвеевичу курить, пить и есть острое. Ампутировали пальцы правой ноги и грозили отрезать всю ступню. Сева курил и пил. С демонстративной тоской отказывался от горчицы, но от огненных кавказских приправ отказаться не мог. Ткемали и аджику постоянно привозили бесчисленные южные друзья. Однако курение в квартире было табу! Новичкам об этом говорили прямо и грозно. Говорил сам Сева. Говорили постоянные визитеры, говорила бессловесная жена Севы Вера. Говорила мать Веры Софья Марковна, женщина не слишком старая, со странным выражением лица — постоянной смесью испуга и презрения.

Курить выходили на лестницу. Впрочем, курили и в квартире — в кухне и в передней. Сам Сева курил везде. Особенно в спальней. В гостиной курили только с особого позволения Веры особо уважаемые гости, а такие бывали чуть не каждый день. И тогда, за компанию, курила сама Вера. И все остальные тоже курили. Софья Марковна курила непрерывно. Сын Севы Максим курил тайком в уборной. Дочь Марианна запиралась в ванной, пускала душ и тоже курила. Курить начинали с утра, но особенно много курили по вечерам. Курили и ночью.

Александр Петрович присоединился к компании куривших на лестнице.

— Что так поздно? Покажись Ирине, она злится, — сказал Брося (Борис Ростиславович курил «Беломор»).

— У меня сын болен. — Александр Петрович тоже закурил. В квартиру идти не хотелось. — Ну что у вас тут? — Он заметил, что народ был на удивление не пьяный.

Помалкивали. Ходили беспокойно по площадке. Так большой группой курят на лестнице, когда в доме покойник.

— Как Сева к?

— Нормально, — сказал Брося. — Принимает итальянца. Паркетти из Рима... который его книжку по-итальянски издавал.

— Паркетти-то Паркетти, а вот переводчица у него — потрясающая баба, — гудел Контрик Воровский (Воровский курил «Винстон».) Это баба! Сильная баба.

Не слабая баба переводчица у Паркетти... Баба что надо...

— Глеб Витальевич здесь,— ровно сказал Брося.

— Иванов? — Александр Петрович насторожился.

Конечно, Сева — человек общительный и со связями, но зам. зав. отделом ЦК на гулянке сослуживцев — дело нечастое.

— Как нога-то у Севки?

— У Всеволода Матвеевича все нормально, а вот вам, Александр Петрович, я удивляюсь! — Из-за клетки лифта выдвинулся невидимый до сих пор Костя Шляпин (Костя курил «Новость»). — Вы-то как могли меня не поддержать утром у Блинова? До каких пор мы будем пропускать через себя поток серости и замалчивать то, что является действительным нашим достижением? Сегодняшнее обсуждение — это не мелочь. Такими «мелочами» уничтожают самую суть! Разработка Всеволода Матвеевича — это же комплексная идея, нельзя в ней что-то принять, а что-то не принять. Тут или все, или ничего. А когда я в открытую говорю об этом, вы молчите. А уж вас-то, как никого другого, это должно касаться. Это ведь и ваш труд.

— Да, и мой тоже,— глухо сказал Чернов, глядя в сторону.

Он смотрел через окно на совершенно пустой колодезный двор, по которому ветер зло гонял газетный лист.

— Когда я пересказал Всеволоду Матвеевичу свое выступление, он сразу спросил: ну а что Чернов? И что я мог ответить? Что вас интересуют только подъездные пути?

— Да-а... сильно тебя Севка нес...— сказал Брося.

— Я б с такой переводчицей, как у этого Паркетти, тоже бы махнул куда-нибудь в Италию,— плел ерунду Воровский.— Такие бабы на дороге не валяются.

— Впустую вы себя накачиваете, Костя,— сказал Александр Петрович.— И Севу зря тревожите. Наши утренние разговоры — чистая формальность. Пустое дело. Не тут все это решается. И к тому же давно уже решилось... Ярмек сам это понимает... иначе взял бы машину и прикатил бы... Неужели вы сами не видите...

— Я вижу, Александр Петрович, я прекрасно вижу, что вы смирились с поражением. Вам все равно. А мы сдаваться не собираемся. Мне очень жаль, Александр

Петрович... Я с первого дня в институте ориентировался на вас. Вы для меня после Всеволода Матвеевича были первым человеком. И ваша жадность к работе, и ваша бескомпромиссность... и вообще. (Шляпин поднял голос на тон вверх.) Тугодумы и невежды из Госстроя давно бы раскачались, если внутри нашей группы не появилось бы равнодушие! Вы извините, что я вам это говорю... но мне обидно... вы стали другим, Александр Петрович!

— Тебя давно ждут! Что ты здесь толчешься? — В дверях стояла Ирина Одинцова, если это была Ирина, а не ее писанный многими красками портрет.

Тонкая и многоцветная подкраска лица под пшеничной крышей стрижки с вызывающе смелыми крупными завитками. Голые плечи, сверкающий паучок, низко спустившийся по золотой цепочке в глубокую выемку между маленьких плотных грудей. Длинное черное платье, серебряные туфли... картина, портрет, мечта! Немецкий экспрессионизм двадцатых годов. Ретро! Глаза — белым и зеленым! Рот — красным с темно-коричневой обводкой. Ресницы — синим! И мушка! Мушка — черным! В двух пальцах правой руки — длинная черная, жутко заграничная сигарета. Ретро! Мечта! Какая гладкая кожа! Совершенно чужая изумительная женщина.

— Я не толкусь, я только пришел — у меня сын болен, — хмуро сказал Александр Петрович.

— Что с ним?

— Там серьезно.

— И здесь все очень серьезно. Именно сегодня тебе надо быть вовремя! Я ждала сорок минут на улице. Пьяные мужики глазекуют, зазывают в машины. — Лицо Ирины было спокойно, но голос заметно окрашивался бешенством.

— А не надо в таком виде на улице стоять. В таком наряде надо выходить из длинного автомобиля и идти по ковру через вертящиеся стеклянные двери.

Ирина громко икнула. Это было очень неожиданно, но вовсе не смешно, а скорее страшновато и угрожающе. Сослуживцы стали всасываться в светлую воронку передней. Они остались на площадке вдвоем, и Ирина ногой лягнула дверь. Цокнул замок.

— Ты сходишь с ума! — сказала Ирина. — Я не хочу возиться с сумасшедшим. Опомнись, слышишь! — крикнула она и снова громко икнула. — Ты для всех стано-

вишься посмешищем. Нельзя же оригинальничать бес-
предельно. Тебя Сева ждет. Тебя ждет Иванов! О тебе
Паркетти спрашивает, а ты стоишь на лестнице и вы-
слушиваешь нотации этого мальчишки Шляпина. Что
происходит? Почему ты просто не пошлешь его подаль-
ше? Или боишься? Как всего на свете? Как своей жены
до сих пор боишься? Только меня не боишься, а муча-
ешь меня. Мучаешь и мучаешь, кретин.

Александр Петрович никак не мог ничего сказать.
Хотел и не мог. Только тяжело сопел. Ирина Одинцова
подошла и обняла его за шею. Острая смесь космети-
ческих запахов и коньяка всколыхнула в Чернове что-то
непережитое, но знакомое... может быть, прочитанное...
или очень детское... досознательное... Объятие матери,
вернувшейся из гостей. Тогда, перед войной, тоже силь-
но красились... Довольный басок отца. Глаза мамы
блестят, малюсенькие комочки туши на ресницах, свер-
кает заколка в черных пышных волосах, зубы в улыбке
белые, ровные: «Мой маленький еще не спит, а мы уже
вернулись...» «Ничего, ничего, еще поглядим, кто ко-
го!» — довольно басит отец, потирая руки. Да-да. Так
было. Очень незадолго до того, как жизнь стала страш-
ной...

Александр Петрович молчал и думал.

— Что с тобой, Сашенька? — говорила Ирина. —
Возьми себя в руки. Если ты будешь такой, они тебя
скатят под гору. И тогда я уйду от тебя. А я не хочу от
тебя уходить. Сашенька, Сашура! Ну что там с Петьюкой?
Вылечим мы его, я позвоню Льву Яковлевичу, он его
посмотрит. У меня тоже Ленка больна. Отравилась
чем-то. Ну, Сашок! Сегодня поедем к тебе, да? Ты меня
послушай. Блинов кончился — это ясно. Сегодня я это
поняла абсолютно. Севка его в покое не оставит, а у
Иванова с ним какие-то старые счета. Видимо, опять
будет Кроманов, и тогда Севкин принцип пройдет как
основной.

— И ты уже все забыла? — Александр Петрович
взял Ирину за талию и отстранил от себя, но не выпус-
кал, держал крепко. — Какой Севкин прин-
цип? От Севки было только десяток банальностей на
трех страницах... а потом болезнь... Какой Севкин прин-
цип?

— Ну твой, твой, — сказала Ирина. — Я тебе тогда
говорила — пиши сам, помоги Севке, но не отдавай
идею. Так ты же уперся! «Неважно — кто, важно —

что!» Говорил это? А теперь поздно. Теперь уж будь до конца великодушным. Деваться некуда. Выпустил джинна из бутылки, сделал его мировой величиной — всё! Теперь обратно не запихнешь. Теперь пусть он тебе поможет. Он, кстати, по-моему, готов. Да и потом, Саша, ты не прав, не совсем уж Севка пустое место.

— А разве я это сказал? Хоть раз? Ярмач — крупная фигура... но когда ты... которая все видела с самого начала... когда на твоих глазах...

— Ну хватит, хватит, пошли, будь умным.

Дверь открылась.

— Чернов! Ира! Ну что вы в самом деле! Там ждут! — сказал Брося.

Из-за его спины выскользнула большеглазая, тоненькая, как девочка, Вера Ярмач. Обняла, расцеловала Александра Петровича добро, искренне, любовно:

— Пошли, пошли, не грызи его, Ира. У меня все твое любимое — и паштет, и творог с чесноком. Пошли, пошли...

И пошли.

Застолье перешло в третью стадию.

Первая стадия — разрушительная, когда по ровненьким горкам салатов и паштетов, по сформованным эллипсам блюд, по зализанному заподлицо маслу в масленках наносят первые удары ножом. Первые грязноватые потеки от селедки на белоснежных тарелках. Первая дорожка красного вина на скатерти, посыпанная солью. Еще только пробуют — на тарелках все лежит отдельно и всего чуть.

Вторая стадия — упоительная. Еще манят сациви, и лобио, и фаршированные помидоры, а уже две горы горячего мяса на двух концах стола. И обносят картошкой. На тарелках — буйные смеси из хорошо приготовленных продуктов, которых нигде не достать. Просят передать хлеб, и кусок идет по рукам через весь стол. Все что-то просят передать. И передают. Мельканье рук. Икорочкой несет. Поджаристо хрустит сочная кура с корочкой. И передают, передают. Ничто не стоит на месте. Все блюда висят над столом. Поднялись. Только передают и накладывают. И первые пустые бутылки из-под водки унесли в кухню.

Третья стадия, когда все уже несколько раз переменили места и теперь каждый вяло ест из чужой тарелки остатки чужой еды, пьет водку из фужера и запивает

боржомом из рюмки-наперстка. Первый окурок, запутавшийся в волокнах куриного мяса. Торт щетинится орехами — пухлый, огромный, вкусный, но — не к у д а!
Не к у д а!

— Кто чай, кто кофе?

— Где ваша рюмка?

— Моя вот... правда, на ней помада, ну неважно.

— Он говорит, что нигде так не кормят, как в русских домах.

— Больше не могу.

— Еще по рюмке.

— И не по одной.

— И чтоб не в последний раз!

— Дай бог!

Гавайцы поют бесконечное: «Дую-дую-дую-ду. Дую-дую-ду».

— Очень хорошая пластинка.

— А Або, Або, шведская, есть у вас?

Вспомнили про шампанское. Вскрыли, а оно согрелось и облило полстола.

— А что пиво — чешское?

— А ликер — Куантро?

— Откуда?

— Оттуда!

— Мне говорили, у вас в Союзе трудности с продуктами. Я этого нигде не вижу.

— А может, кто виски со льдом?

— Ой, ой, как вкусно!

— Где вы это покупаете?

— Этого купить нельзя нигде.

— Водки!

А на кухне двое едят ложками из железной банки зеленый горошек и закусывают эклерами, которые лежат горой и которые никому не нужны.

— Курить выходите только на лестницу, умоляю, здесь не курить!

— Вы попробуйте эти черненькие, это голландские.

— «БТ» — теперь подделка, это не в Болгарии делают, а у нас.

— Так в Болгарии и стоит дороже.

— А табак — кубинский.

— Севочка, больше не надо тебе... не надо.

— Дую-дую-дую-ду! Дую-дую-ду!

— Он просит, чтобы вы звали его просто Гвидо.

- А вас как зовут?
— Лина.
— Вера! Это немыслимо — малина! Малина в мае!
— Это не малина. Это епанча, южноамериканские консервы.
— Что вы смеетесь?
— Я умру, я сейчас умру. Не епанча, а э п а р г ч а!
Блеск — на ужин съели епанчу! Умру!
— А вы, Лина, замужем? На вас столько колец, что я не разберу, есть ли обручальное.

Застолье перешло в третью стадию. Всеволод Ярмак встал навстречу Чернову. «Мы уже старые», — подумал Чернов. Перед ним стоял толстый, но могучий человек. Почти седой. Большое лицо с яростными, яркими, словно подведенными глазами. Кривоватый рот с большими безвольными губами и мощный волевой подбородок. Правой рукой опирается на тяжелую палку. Ноги в рваных тапочках. Распахнутая дорогая заграничная рубашка с небрежно закатанными рукавами, ширпотребовские синие спортивные штаны. Сиплое громкое дыхание, от которого высоко вздымается жирная грудь тяжелоатлета или тяжелобольного. Они не виделись с полгода. Так получилось. Что-то лопнуло, разъехалось в их отношениях. А было время, они просто не расставались. Долгое время так было.

— Иди сюда, Сашка! — Ярмак принял его в объятия богатырской левой.

— Ну, я тебя поздравляю. Ты вроде молодцом.

— Кончай прохиндеж! Знаю я, что тебе с высокого дерева плевать на мои дела. Я всем тут объяснил, какой ты равнодушный гад. Да ладно, не тушуйся. Я тебя все равно люблю. Давай поцелуемся. — Смачно и влажно впился губами. Угрожающе замотал толстым пальцем у самого носа Чернова. — Я соскучился по тебе, понял? А тебя и сегодня силком тащили. Ладно! Всё! Забыли! В последний раз прощаю.

Александр Петрович вспомнил, что именно таким хриловатым уверенным голосом он сам разговаривал сегодня, когда пришел к сыну. Ему понравился тот его голос, но слишком легко давалась эта маска, еще тогда он почувствовал, что она чужая, слышанная, заимствованная в готовом виде. Теперь понял — он

говорил Севкиным голосом и с Севкиными интонациями. И как это было легко, и как жаль, что это не его голос и не его интонации.

— Приветствую, Глеб Витальевич,— сказал Чернов своим собственным, не любимым голосом.

— Здорово, Саша.— Иванов сидя протянул руку.

Когда-то в аспирантуре они вроде были на «ты». Или казалось? А теперь черт его знает, как называть — и годы прошли, и положение сильно переменялось. И лицо каменное — не поймешь, помнит или нет. Но вроде помнит.

— Здравствуйте,— сказал Чернов худому, носатому, элегантному.

— Бона сэра,— сказал итальянец и зачистил непонятое, пожимая Чернову руку.

Роскошная девица в золоте перевела:

— Синьор Гвидо Паркетти говорит, что много слышал о вас. Он просит вас называть его просто Гвидо.

— Нет, ты представляешь, Сашка, издатель серии «МОДЕРН АРХИТЕТА» и фамилия Паркетти! Анекдот,— кричал Ярмач.— Слово «анекдот» понимаешь, Гвидон? — придвинулся Сева к иностранцу.— А-некдот! Гвидон! Понимаешь?

— По-ни-ма-ешь,— по слогам сказал итальянец. И все засмеялись.

Одинцова нежно хлопотала вокруг Александра Петровича. Положила на тарелку всего понемногу, налила водки.

— Мне налей,— властно сказал Сева.

— Не надо тебе, Сева, не надо,— прошептала Вера.

— Брось. Хочу с Сашкой выпить.

И чокнулись. И выпили. И Паркетти выпил. Все выпили. Кроме Иванова.

— Сашка, книжка-то наша с тобой пошла всерьез. Слышал, Гвидон хочет второе издание давать.

— Здорово. Поздравляю.

— Тиражики у них, конечно, говенненькие, но так... мало-помалу, глядишь, наберется.

— Вы, синьор Гвидо, давно у нас? — спросил Чернов.

Ярмач расхохотался.

— Да кончай ты, Сашка, дипломата из себя корчить. Какой синьор? Он свой парень, коммунист. Товарищ Гвидон. Понял, что я сказал? Понял? Гвидо!

— По-нял,— по слогам, но без всякого акцента сказал итальянец. Все засмеялись.

Сева перегнулся через стол и расцеловал иностранца. Потом одной рукой обнял позвякивающую золотом переводчицу и смело придвинул к себе вместе со стулом.

— А теперь, Линочка, переводите нашему другу выборочно. Вы уже не девочка, сами разберетесь.

Как ни странно, роскошной Лине, кажется, льстило такое вольное обращение с ней. Поразительно, как Сева действовал на женщин. И в молодости, и уже разжирев, и в самый разгар болезни, может быть, даже благодаря ей. Он умел страдать вслух, но как-то очень мужественно. Именно тогда разыгрался его роман с Одиновой. И Чернов, перекипев, простил — все списала болезнь и странный Севкин магнетизм, который он распространял и на женщин и на мужчин. Чернов расстался бы тогда с Ириной, но Ярмач с поразительным нахальством, которое выглядело мудростью, свел их снова. Пил с ними, заставлял давать клятвы, что будут любить друг друга. Смотрел на обоих нежными глазами, плакал и говорил, что он скоро умрет, а им жить... И помирал. И не умер. И остался другом обоих.

Тяжело навалившись правым боком на стол, не выпуская из левой руки золотую Лину, Сева говорил в глаза Чернову, хотя чувствовалось, что подлинное его внимание направлено налево, туда, где задумчиво тонул в кресле Иванов.

— Я не знаю, сколько мне годов осталось... а может, и не годов. Так надо успеть делать то, что мы с тобой затевали. Второе там или пятое издание «Эстетики строительства» — это их дело.— Он широко и небрежно махнул рукой в сторону Гвидо. Тот внимательно слушал перевод высывающейся из Севиных объятий Лины.— Гвидо просит новую книжку. Он читал твою старую статью в «Прометее» и хочет, чтобы мы объединились. Ему нравится, что мы возрождаем исконно русское направление в архитектуре. Мне плевать, что им там нравится... аккуратнее переводы, рыбонька моя.— Он поцеловал неумолкающую Лину в висок.— Мне надо, чтобы в России люди жили в русских домах и смотрели в окна, которые вырублены по-русски. Чтобы русские бабы и мужики мылись в хороших русских банях, а в сауне пусть моются финки. Мне не писанина нужна, а дело. А пока институтом

командует Блинов, кроме онанизма, там заниматься нечем... Извини, Линочка, за слово «Блинов» и аккумулятивнее переведи. Ира, налей всем.

— Я пас, мне чистого тоника,— Иванов накрыл рюмку пальцами.

— Я прошу... если вы друзья... если вы по-чистому сюда пришли... выпьем за здоровье Васьки Кроманова. Это был директор. Крутой мужик, да! Но мужик! Еще не раз его добрым словом помянем, и начальники наши,— Сева поклонился Глебу Витальевичу,— еще, надеюсь, опомнятся и сообразят, кого под гору пустили по пустому делу. Ну, выпили!

Выпили.

— Ты, Глеб, не обижайся,— Сева повернулся к Иванову,— но мне бояться нечего, я человек прямой — с Кромановым вы дров наломали. Зря на него навешали всех собак, зря. Зачем? Чтобы поставить этого слизняка Блинова? Василий Иванович, может быть, не отличал фриза от антифриза, но слушать, что ему говорят, умел и пробивать умел. И интуиция была чисто русская — настоящую вещь чуял. С масштабом человек. А этот что? Говорит, как ссыт,— Сева заговорил гнусавым голосом, довольно похоже подражая Блинову: — «А Бы задуБывались, ВсеБолд БатБееБич, Бо что обойдется строителяБ каждая Баша криБая? ЗадуБыБались?» ЗадуБыБался! — закричал Сева своим голосом.— ЗадуБыБался! Живя в спрямленном мондриановском пространстве, мы спрямляем людям мозги, люди тупеют. Это не наш путь.

— Правильно! — крикнул Костя Шляпин, резко взмахнул рукой, сбил со стола рюмку с водкой, покраснел кумачовым цветом под устремленными на него взглядами, поднял с пола обломок рюмки, не глядя швырнул на стол. Обломок вдребезги разбил чашку с чаем. Вера кинулась вытирать, шепча:

— Ничего, ничего...

Костя повернулся на каблуках, пошатнулся, ударился лицом о книжный шкаф, две книги тяжело ляпнулись на пол, и он, зацепив плечом косяк, вышел из комнаты.

— Извините,— сказала Лина и высвободилась из объятий Севы.— Экскузатэ, синьор,— наклонилась она к Паркетти. Она была профессиональная переводчица и дело свое знала.

Итальянец заговорил, подчеркивая отдельные слова и отбивая ритм движениями длинных пальцев и всей кистью — красивой, ухоженной, волосатой. Лина переводила синхронно.

— Синьор Паркетти интересуется: каким временем вы определяете слом русской национальной традиции в архитектуре? Синьор Паркетти не уверен, что культуренное пространство, создаваемое архитектурой, должно обязательно развиваться с учетом национальных традиций. Синьор Паркетти полагает, что только природные условия, новейшие технические возможности и индивидуальное воображение могут определять строительное творчество. Однако он весьма интересуется вашей точкой зрения, — она повернула свое немисливо очаровательное личико к Ярмаку, — и точкой зрения товарища Чернова. (Иванов внимательно посмотрел на Чернова.) Издательство синьора Паркетти готово опубликовать статью и проекты в виде, скажем, архитектурных фантазий.

— Вся беда России пришла от западнических реформ Петра, — учительским тоном вразрядку сказал Сева. — Пьетро Примо, царство ему небесное, оторвал образованную часть общества от нации. Получился феномен раздвоенной культуры, возникли те противоречия, которые мы не можем расхлебать до сих пор.

— Ленин дает этому классовое обоснование очень прямо и определенно. Так что мучиться не стоит, стоит Ленина почитать, — сказал Иванов.

— Брось, Глеб! — Сева фамильярно, но и заискивающе одновременно схватил его за плечо. — Не будем грешить цитатами. Сейчас не о политике речь. Речь о психическом здоровье нации. Любой самый образованный финн или эстонец чувствует себя частью народа. Потому что его дед был крестьянином. Сидел на земле. И у чехов так, и у грузин. А у нас? Дворян повывели, купцов не стало, и вся образованная прослойка, все наши таланты — либо евреи, либо бюрократы в двадцать пятом поколении. Уж в чем, в чем, а в антисемитизме меня обвинить никак нельзя. Так, теща моя дорогая? — Он протянул губы трубочкой в сторону Софьи Марковны и громко чмокнул. Софья Марковна глянула испуганно и презрительно. Из рта и из носа шел дым. Курила. — Бесплезная трата сил! Евреи кладут свои талантливые головушки на алтарь нашей

культуры, а зря. Нам пользы нет, а они удивляются, что за все их усилия мы не носим их на руках. Нам надо самим свою культуру строить. А им свою. Есть у них там Шолом-Алейхем — браво! Давай дальше, уважаю! Этим и занимайтесь, а Пушкиным мы сами займемся.

— И Достоевским? — минуя переводчицу, спросил итальянец.

Чернов быстро взглянул на него. Почему Достоевский? Похоже, этот сторонний человек попал в самую точку. В ту самую точку, о которую споткнулся Чернов, от которой его дорога и дорога Ярмака пошли в разные стороны. Слушая весь предшествующий разговор, Чернов испытывал вялую тоску. Сева свободно и темпераментно излагал его, Чернова, мысли. Мысли давние, молодые, оставленные Черновым как остывший гарнир на тарелке, каменеющий изнутри, покрывающийся неприятными пятнами холодного жирка.

Тогда, давно, Чернов во что бы то ни стало жаждал найти свою собственную, неповторимую точку с т о я н и я в профессии. Казалось, нашел. Его перестали считать спорщиком-оригиналом. Сева и за ним вся группа перевели его рассуждения в план реального принципа. Завертелось. Появились перспективы. И именно тут пришло разочарование. Чернов искал подтверждение своим мыслям в живописи, в литературе... и споткнулся на Достоевском. Прежде всего на дневниках писателя. Чернов вдруг увидел, что корень его идеи уходит туда — в грубо религиозное и страшно реакционное прославление русской избранности. Будущее собственного принципа показалось ему отталкивающим. Тогда-то и бросил он словцо, которое окончательно сделало его вторым лицом в проекте, а Всеволода Матвеевича определило как лидера, хранителя чистоты замысла. Они разрабатывали проект (чисто утопический, как он теперь понимал) совершенно отличного от западных домостроительного комбината. Из «исконно русских» блоков, которые они проектировали, комбинат должен был возводить исконно русские дома. Они грозились опрокинуть все мировые достижения. «Домострой», — сказал тогда Чернов про этот комбинат. Все эти многоэтажные терема и кельи с ванными и ватерклозетами стали казаться ему пошлостью и дилетантством.

Какой тогда стоял крик! Их разнимали. А потом... он легко уступил заболевшему Севке остатки своих мыслей, сам уговорил его издать книгу под собственным именем и остался пустым, без новых идей, привычно связанным с разработкой совершенно чужого ему теперь проекта. А дальше... случилась история с Гольдманом, руководителем другой группы института...

Чернов выплыл из задумчивости.

— ...Почти вертикально вверх! — кричал Сева. — Почти вертикально вверх шла русская культура — конец девятнадцатого — начало двадцатого. А дальше — Малевич, Родченко — в живописи. У нас — Татлин, Эль-Лисицкий, Яков Чернихов, конструктивисты — и всё! Разлом! То самое, что вы называете индивидуальным воображением, было просто-напросто проникновением чужой культуры. А что потом? Сталинские торты-небоскребы и хрущевские бараки-пятиэтажки?

Чернов скрипел зубами — скучно! Злобу вызывали эти собственные его старые, замусоленные слова, которые с такой свежестью, как новорожденных, выкладывал Всеволод Матвеевич.

— Мне казалось, что Россия двадцатых годов дала миру новые идеи, — переводила Лина. — А вот передвижники, к примеру, — это обработка и приспособление к местной психологии немецкого романтизма.

— Слушай, Гвидо... ты сам видел «Христа в пустыне» Крамского? Ты глаза его видел?..

Чернов снова стал глохнуть. Уходить от тягостных слов в тягостный туман воспоминаний.

Он видел лицо Евгения Михайловича Гольдмана, искаженное брезгливой улыбкой, его неухоженные, нездоровые волосы, перхоть на плечах. Стареющая рабочая лошадь. Смешно сказать, но всю ежедневную работу большого института делал он один. Да еще чертежник Бакулин и макетчик Коля. Группа Гольдмана состояла из молодых людей, взятых Кромановым по звонкам и записочкам. Никто бы их не взял — их валили Гольдману. Молодые люди более всего жаждали свободного времени. Презрительно улыбаясь, Гольдман подписывал их бесконечные просьбы об отпусках,

отгулах, разрешил уходить раньше и приходиться позже. Он оставался с чертежником Бакулиным и работал за всех. Никогда не жаловался. Единственная плата, которую он брал за этот каторжный труд,— право не скрывать своего презрения и к подчиненным, и к начальству.

За эту презрительную улыбку, за вызывающе неопрятный внешний вид, за странную картавую, с прищепываниями и причмокиваниями речь его не любили в институте. Он был одинок и замкнут. Знали, что он отличный математик — расчеты его были непогрешимы. Знали, что он свободно говорит и пишет на трех языках — к нему бегали переводить письма из-за границы, необходимые куски зарубежных статей. Все экспонаты для экспортных выставок обрабатывал надписями он лично. Но почему-то все это выглядело не талантами, а естественной принадлежностью механизма. На совещаниях и обговорах Гольдман отмалчивался, а если обращались прямо к нему, говорил фразу вроде: «Да нет, мне нечего добавить, все довольно полно изложено выступавшими ггранеe». Говорил с такой язвительной интонацией, что его оставляли в покое.

Впервые Гольдман вызвал интерес у Чернова, когда они однажды разговорились в такси по дороге на совещание в министерство. Проезжали мимо одного из шестизэтажных уродцев тридцатых годов.

— Пгрелесь! — прокартавил Гольдман и зачмокал губами.

Чернов хихикнул, думая, что тот шутит.

— Что вы смеетесь? — повернулся к нему Гольдман.— Это мудгро сделано — делал Павел Липковский. Этот человек очень талантливо чувствовал пгростгранство. Тут очень тонкая иггра пгропогрций.

За десять минут пути Чернов услышал удивительно глубокую лекцию о сути конструктивистского мышления. И впервые взглянул на проблему иначе.

Потом грянул гром. Некий американец, осматривая институт, более всего интересовался, где мистер Гольдман и как бы он мог с ним встретиться. С большим опозданием перевели из японского архитектурного ежегодника большую почтительно поданную статью по сложнейшей проблеме новых принципов развязки дорог за подписью «ЕВГ. ГОЛЬДМАН». Приезжали из Польши. Пришло приглашение на конференцию в Канаду.

Приехал в поисках товарища Гольдмана аспирант из Болгарии. Завертелось. Никуда Гольдман не поехал — ему просто не передали приглашений. Во-первых, не знали, можно ли, а во-вторых, ну просто, очевидно, нельзя было показывать иностранцам, даже дружественным, этого шепелявого гражданина в перхоти. В Канаду съездили Кроманов и Ярмак. Болгарина отвадили, свалив его на Чернова. Тот его пару раз сводил в ресторан, болгарин потом прислал Чернову пару хороших вагонов и тепловозов — тем дело и кончилось.

Но слухи о странной мировой популярности непопулярного Гольдмана плыли... плыли. Удивлялись сильно. Но еще сильнее раздражались. Начальство — за доставленные хлопоты. Коллеги — за укор, который содержался в этих обширных трудах, сделанных непонятно в какое время, — а мы-то, дескать, что же? И наконец все сконцентрировалось и сформулировалось в одном простом емком вопросе: «КТО РАЗРЕШИЛ?»

И тут гром грянул во второй раз. Чертежник Гольдмана Бакулин был арестован. Причины и подробности были покрыты густым мраком тайны. Что-то связанное с использованием копировальной машины в неслужебных целях. Для Гольдмана начались черные дни.

— ...Потому что не в Гольдмане дело. Гольдман уехал, и никто этого не заметил. А снимать за это Кроманова, который терпеть Гольдмана не мог, — элементарная глупость. Без Гольдмана жить можно, а вот без Кроманова институт разлагается... — говорил Сева.

Иванов встал.

— Ну ладно, не время и не место тут об этом болтать.

— Евгений Гольдман? — спросил без переводчицы итальянец.

Сева метнул испуганный взгляд на Иванова.

— Хочу еще раз за тебя, Гвидон, выпить!

— За встречу в Италии! — перевела Лина.

Чернов залпом выпил полфужера водки и вонзил зубы в холодную куриную ногу. В голове начался неприятный тошнотворный кач. «Перебрал», — подумал Чернов. И опять потухли голоса и заволкло туманом стол.

Определенно ничего не говорилось, но у Гольдмана вдруг сразу по всем линиям обнаружились упущения и категорически неправильные поступки. Одновременно на роковой вопрос «Кто разрешил?» пришел столь же роковой ответ: «Никто не разрешил!» Выяснилось, что группа Гольдмана работала безобразно. Дисциплина разболтана. Направление работы неопределенно и, главное, не утверждено. Ярмек ярко показал на расширенном совещании, что Гольдман рабски подбирает крохи со стола западной архитектурной мысли. А молчун Гольдман с презрительной своей улыбочкой неожиданно прошепелявил и прокартавил длинную речь, где камня на камне не оставил от самой идеи русофильства в строительстве. Что было! Какой стоял крик! Самое страшное, что для Чернова его речь была почти во всем убедительна, а он месяц еще слушал со всех сторон брызгающее слюной возмущение и, покорно поддакивая, кивал головой.

Однажды вечером к Чернову домой пришла большеглазая вежливая девочка лет двенадцати. Она передала записку от Гольдмана:

«Уважаемый Александр Петрович!

Извините за беспокойство, но мне очень нужно поговорить с Вами. На всякий случай я не хотел подходить к Вам в институте или звонить. Не сочтите за труд заехать на полчаса ко мне домой, в удобное для Вас время. Эльвира объяснит Вам, как проехать, а Вы скажите ей, когда бы Вы смогли.

Если почему-либо Вам это неудобно, тоже скажите ей. Обид никаких не будет, уверяю Вас.

Е. Г о л ь д м а н».

Кровь прилила к голове от стыда и от страха... Почему же от страха? Ведь тогда еще ничего не было? Да было, было. Уже тогда было.

Александр Петрович вызвал такси, и они с Эльвирой поехали. Девочка была общительная и, что удивило Чернова, веселая. У Гольдмана оказалась еще старшая дочь — спортсменка-парашютистка, у дочери был муж Борис — инженер-химик. У Гольдмана оказалась еще годовалая внучка — дочь химика и парашютистки. Была у Гольдмана очень старая мать и была совершенно неожиданная жена — большая красивая моложавая

русская женщина Анна Васильевна. Все сидели за столом, и Чернов пил с ними чай. И еще сидел за столом совершенно незнакомый Чернову человек — доброжелательный, остроумный, очень веселый — сам Евгений Михайлович Гольдман. «Почему они такие веселые?» — подумал Чернов.

— Почему вы такие веселые? — спросил он Евгения Михайловича, когда они уединились в соседней комнате.

— Думаю, что мы не так уж веселы, мы возбуждены,— сказал тогда Гольдман.— А потом, вы знаете, у нас сейчас тревожное время, но не скучное. Интересное. Мы очень доверяем друг другу.

Эта последняя фраза долго мучила Чернова завистью и жалостью. Мучает и сейчас, когда он сидит, низко наклонив голову над столом, и выковыривает ложечкой орехи из торта...

Иванов говорил итальянцу что-то по-английски, и Чернов поразился, как уверенно, бегло он говорит. Гвидо отвечал тоже по-английски, но менее бойко, подыскивая слова. Потом Иванов повернулся к Лине.

— Завтра в одиннадцать я пришлю за вами машину, и до шести она в вашем распоряжении,— говорил итальянцу Иванов.

Все уже были на ногах.

— Синьор Паркетти благодарит вас. Он говорит, что ему было очень приятно провести вечер в этом доме. Он надеется, что с поездкой в Рим все будет хорошо. Он надеется, что сможет хоть в какой-то мере отблагодарить вас за гостеприимство.

Сева расцеловал итальянца на прощание.

— Надо проводить его до машины,— властно шепнул Чернову Глеб Витальевич.

Вся мелкота двинулась по лестнице вслед за Линой и Гвидо. На площадке второго этажа перегруппировались. Воровский тесно подхватил под локоток Лину и тронулся вперед. Сладострастно гудел красивым голосом прямо ей в озолоченное ухо что-то культурно-заманчивое с упоминанием гастролей Бежара, «Мастера и Маргариты» и Магдебургского симфонического. За ними двигался Костя Шляпин: на три четверти полная бутылка водки в левой руке, карман брюк оттопыривают шесть металлических стаканчиков, по три штуки вдетых

друг в друга. Правой рукой Костя держится за стенку, ноги переставляются в сложном ритме: три ступеньки быстро, одна очень медленно и снова три почти дробью. Последним шел Паркетти и с двух сторон — телохранителями Брося и Чернов.

— Ву парле франсэ? — спросил Паркетти Чернова.

— Нет! — затряс головой Чернов.

— Я немного. Муа! — сказал Брося.

— А! Бьен! — сказал итальянец Бросе и перевел: — Хорошо!.. Инглиш? — спросил он Чернова уже без надежды.

Чернов смущенно пожал плечами.

Лестница втекала в длинное ярко освещенное пространство — скамейка, тумбочка, покрытая газетой, стол-свечовка, бесстыдно торчащая прямо из стены. Шляпин, непрерывно ударяясь со стуком коленями об тумбочку, расставлял стаканчики. Наполнял. Воровский, как на баяне, играл на обшитых материей мелких пуговках, составлявших заманчивую боковину дорогого Лениного платья. Брося говорил «Дель Посошок!» и интригуяще подмигивал итальянцу. Гвидо по-иностранному удивлялся: широко открывал в удивлении рот, громко и раздельно смеялся «а-ха-ха!» — как в плохом театре. Чернов подумал, что, судя по всему, подобные каденции русских застолий были давно известны Паркетти и удивлялся он только из вежливости по отношению к организаторам «Дель Посошка».

Воровский взял, видимо, слишком сложный аккорд на Лениных пуговицах. Лина дернулась, звякнув золотом, и укоризненно сказала: «Ой, да что это вы, синьор?!» На что Воровский, глядя ей прямо в глаза, сказал: «Силы много, девать некуда». Шляпина снесло в угол и привалило к двери лифта. Никак ему было не отклеиться. Брося пошел прочь. А Паркетти в это время вежливым европейским прикосновением и пригласил и провел Чернова от света туда, где потемнее... к входной двери... и сквозь нее.

Моросил дождь. Поблескивала, урчала машина на противоположной стороне улицы. Увидев вышедших, шофер тронул и начал разворачиваться.

— Тшернов! Момент! Внимание! — с трудом сказал Гвидо по-русски. — Вам привет... от... Евгений Гольдман... он в Пари... он хорошо... он вас лУбит.

Подкатила машина. Двери распахнулись. Завертелся водоворот прощания. Чернов чувствовал, что у него горит лицо. От страха и неожиданности.

Все было, чему полагалось быть: русские кричали «ариведерчи!», итальянец махал рукой из окна и говорил: «Спа-зи-бо. До-зви-дань-я!»; пытались заставить выпить распоследний распосошок, пытались руками удержать машину. Все смеялись. Потом машина уехала. Говорили друг другу: «Хороший мужик!» — и соглашались. Все было.

И ничего не стало. Чернов стоял под морозящим дождем один. Остальные поднялись наверх. Александр Петрович остался. Закурил. Сигарета сразу намокла, и он бросил ее.

«Надо подумать,— подумал Чернов.— Надо подумать». Он никак не мог сосредоточиться, потому что думал сразу о нескольких вещах.

Он думал: «Надо позвонить из автомата домой... не домой!.. почему домой!.. надо позвонить Тане... как там Петька?!.. Господи... Как же быть-то?»

Он думал: «Шляпин пьян. Воровский занимался бабой, а вот Брося и эта стукачка Лина, кажется, успели услышать, что ему говорил чертов Гвидо. Они из этого «привета» такое навертят в голове... Это плохо... это очень плохо. То-то Паркетти как дьявол все ко мне лез — и знает, и уважает, и статью читал. Это Гольдман ему рассказал... Главное, было бы что рассказывать... а ведь они все думают... Это плохо... это плохо».

Он думал: «Значит, они уже сколачивают делегацию в Италию. А мне ни слова! Эх, меня потеснили-то! Плохие дела... плохие дела... плохие дела...»

Он вспоминал.

Разговор с Гольдманом был короткий.

— Александр Петрович, у меня к вам просьба,— сказал тогда Гольдман.— Имеется кое-какой архив в моем столе в институте и в двух шкафах, которые стоят в простенке между окнами. Там все открыто и никаких тайн нет, но у меня сейчас довольно ограниченные возможности даже для входа в институт. Если вам это не сложно и не неприятно почему-либо, заберите как можно больше моих бумаг к себе. Я бы предпочел,

чтобы они были у вас. Уверяю вас, это все абсолютно личное. Всякие наброски в свободное время... да вы сами увидите, вполне можете посмотреть, если интересно... Очень понимаю, что вам это может оказаться неловко. Если так, скажите — я пойму...

— Да нет, почему же,— сказал Чернов, отводя глаза.— Только, по-моему... преувеличиваете вы, Евгений Михайлович. Что значит — «вход закрыт»? Вы руководитель группы...

— Уже нет... со вчерашнего вечера... Думаю, что этим дело не ограничится. Думаю, что меня ждут довольно тяжелые последствия. Из-за Бакулина. Но вы поверьте... если сможете... я понятия не имел о его занятиях. Просто он мне был симпатичен... и работник прекрасный... При всем желании, я не мог дать ему плохую характеристику. А именно этого от меня, видимо, ждали. Но, уверяю вас, других претензий ко мне никаких нет.

— Ну, вот! Почему же вы говорите тогда о каких-то последствиях? Какие могут быть последствия! За что? — спросил Чернов с непонятным для самого себя раздражением.

— А вот увидите!

И вот тут-то Александр Петрович и сказал:

— Вы извините меня, но я слушаю вас и ушам не верю. Сидит за столом веселая, дружная семья, шутят. Вы довольно известный человек, уважаемый многими... и мною тоже уважаемый. А рассказываете всякие ужасы. Просто не хочется верить. Почему же вы тогда такие веселые?

А Гольдман ответил ТОЙ фразой:

— Думаю, что мы не так уж веселы. Мы возбуждены.— А потом: — Вы знаете, у нас сейчас тревожное время, но не скучное. Интересное. Мы очень доверяем друг другу.

...Через две недели Гольдмана вывели из ученого совета. Потом его лишили степени кандидата технических наук. Собрали аттестационную комиссию, которая четырнадцать лет назад утверждала его диссертацию. Приехал бывший оппонент — профессор Зельцман, теперь уже пенсионного возраста. Клял себя за прошлую свою близорукость. Говорил, что и тогда,

четырнадцать лет назад, обратил внимание на поверхностность мышления Гольдмана. Гольдмана осудили как пролазу, себялюбца и эгоиста.

Наконец, было общее собрание. Выступали многие. Чернов отказался. Не резко, не прямо, а со множеством ссылок... на здоровье, на неумение говорить... короче, отказался, хотя на него очень давили и Ярмак и сам Кроманов. Случилась на собрании и неожиданность. Молодые бездельники — подчиненные Гольдмана — выступили в его пользу. То ли на своих папочек надеялись и потому не боялись, то ли действительно Гольдман умудрился чему-то научить их в профессии, но они встали за него стеной. Защита эта ничего не дала — слишком они были уязвимы как работники. И все-таки момент был острый. Кроманов сидел как туча рядом с председательствовавшим Воровским. Воровский встал и совершенно справедливо и убедительно показал, что не им бы вякать...

Ощущение от собрания было ужасное. Архив Гольдмана Чернов забрать не успел — пропустил несколько дней, а потом было уже поздно — выглядело бы двусмысленно.

За бунт молодых бездельников на собрании и, как говорили, отчасти за молчание на собрании Чернова Кроманова сняли. Молодых людей уволили. Воровскому объявили выговор. Чернова оставили в покое, совсем в покое. Он ждал грома — его не последовало. Александр Петрович не сразу заметил, что его стала окружать подозрительная тишина, от которой звенело в ушах и сжималось сердце. Он жил как во сне и много занимался своей железной дорогой.

Однажды вечером опять явилась дочь Гольдмана Эльвира и принесла письмо — маленькую записочку. Гольдман прощался, благодарил и высказывал Чернову свое уважение. Александр Петрович напоил Эльвиру чаем, подарил ей дорогое издание «Двенадцати стульев» с иллюстрациями Кукрыниксов. Когда Эльвира ушла, он порвал записку и никому никогда не рассказал о ней. Даже Ирине.

Потом пошла какая-то пустая жизнь... вроде вообще ничего не было, пока... пока не заболел Петька... сегодня...

Чернов думал: «Надо позвонить домой... Тане... как там Петька?... Господи... как же быть-то?»

Хмель выветрился. Только во рту очень сухо. У Ярмача он застал финальный разброд. Женщины, не выпуская из зубов сигарет, носили в кухню горы грязной посуды. В гостиной Воровский и Брося двигали мебель. В углу дивана, неудобно скорчившись, спал Шляпин. Через открытую дверь спальни был виден Иванов. Он сидел на корточках у телефона, стоящего на полу, и листал записную книжку. Воровский принес ему стул... Окна раскрыты настежь, в квартире холодно. Но дым почему-то не уходил, а метался плотными густыми мотками вместе с людьми по всем комнатам.

Ярмак затаячил Чернова в ванную, закрыл дверь на задвижку и на полную мощность пустил душ.

— Что ж ты, собака, делаешь? — закричал он.

— Что я делаю? — вздрогнул Александр Петрович.

— Ты мне всю игру портишь! Ты знаешь, чего мне стоило свести вот так запросто этого итальянца с Глебом? Не знаешь? Так подумай, тряхни остатками мозжишек! — Он постучал квадратным пальцем Чернову по голове. — Я раз начинаю, два — начинаю, а он молчит. Смотрит себе в тарелку и кривит свою рожу небритую. Сегодня был у тебя шанс, а ты его просрал!

Чернов почувствовал, как над глазом часто-часто забила, задергалась жилка.

— Какой шанс? В какую игру ты играешь? — оскандился он. — Не знаю я твоих игр. Расскажи... Послушаю... В Италию вы собираетесь — это я понял из разговора. Вся группа в курсе, а я что-то не слышал. Это тоже такая игра? Со мной играете в игру?

Ярмак сел на край ванны и тяжело провел рукой по лицу. Смотрел на Александра Петровича снизу вверх, исподлобья выпуклыми своими глазищами...

— Дурной ты, Сашка. Я тебя же берег, нервы твои берег. Тебя же так и так не пустят сейчас. Тебе надо тут сперва все уладить. А для этого не отмалчиваться с обиженной мордой, а говорить. Да, да! Языком поработать. Ты уже помолчал с Гольдманом. До сих пор не расхлебал. Думаешь, я по пьянке сегодня про него два раза затевал разговор, пока Глеб на меня как на мальчишку не цыкнул? Для тебя! Чтоб ты высказался. А ты молчишь. Не обойдешься ты без этого. Посыпят тебя под горку.

— Гольдмана уже год как нет здесь. При чем тут Гольдман? Почему я должен его ругать? За что? Я с ним

еле-еле знаком был. В чем его обвиняют, так и не понял. Объясни мне, в чем конкретно его обвиняют.

Ярмак поднял кверху толстый палец и медленно погрозил им Чернову.

— Чистеньким хочешь остаться? А нас в грязненькие записать? Нехорошо, Саша. Не такой ты чистенький. Люди все видят, скажи спасибо, что я тебя пока в обиду не даю. И помни — не отвертеться тебе! Ничем ты не лучше других. И если хочешь нормальной жизни, постарайся как можно скорее это понять.

— Мне, Севка, нечего тебе сказать. — Чернова трясло. — Нечего! Нечего сказать... потому что... мы не понимаем друг друга... Для меня вся русофильская архитектура, во имя которой якобы всё... это — дребедень и чушь. Это я придумал, лично я... а теперь говорю — дребедень и чушь.

— Ах вон оно что-о-о-о! — протянул Ярмак.

— То! То! И хватит... на сегодня. Не могу говорить с тобой... в другой раз.

Выскочил из ванной. Тревожным лошадиным глазом косила из кухни Ирина. Продолжая вытирать тарелку, корпусом подтолкнула Александра Петровича в переднюю, в темный закут. Зашептала:

— Поезжай с Ивановым, без меня. Он хочет поговорить с тобой. Придумай, что тебе куда-то надо, а я останусь — позже пойду. Дай ключ. Буду у тебя. Дождусь.

— Зачем? Что ты выдумала?

— Он мне сам сказал. Дай ключ. Я тебя жду. Но не спеши. Если надо будет поехать к нему, поезжай. Ирина порхнула обратно в кухню.

В гостиной по новой накрыли кусок стола и пили пососок.

Иванов прощался. Пожимая руку Чернову, сказал:

— Я в центр. Не по дороге?

Чернов смешался:

— Вообще-то... надо бы заехать. Да, по дороге... только... через пару минут... я позвоню... у меня сын болен.

— Жду, — коротко сказал Иванов.

Александр Петрович присел на корточки над телефоном. В спальней опять не было ни одного стула. В полуоткрытую дверь он видел, как мельтешили вокруг Иванова почтительным хоромом. Накрутил номер.

— Таня, это я. Ну как у вас?

— Он проснулся, выпил чаю и опять уснул. Он до утра проспит.

— Я заеду сейчас... Может, что надо...

— Ничего не надо.

— Потом, я в суматохе забыл оставить... У меня тут деньги для Петьки... Пусть лежат... Я хотел подарок... Насчет врача ты тоже не беспокойся.

— Саша, я уже ложусь, приезжать не надо... И не надо суеты. Это для тебя новость, а я с этим живу уже много месяцев.

— Завтра я поеду насчет врача...— бормотал Чернов.

— Завтра праздник... А у тебя, кажется, уже сегодня. Не надо приезжать, Саша. Я сплю.— Она повесила трубку.

— Хорошо! Пока! Сейчас еду! С и ю м и н у т у! — сказал Чернов сквозь гудок отбоя.

Повесил трубку. Распрямился, хрустнув коленями. Вышел из спальни. Пряча глаза, сказал:

— Да... если можно, я с вами. Сын очень болен. Надо заехать.

— Конечно, поезжай, обо мне не беспокойся,— сказала Ирина очень искренне.

— Поехали.— Иванов двинулся к выходу.

Опять прощались. Ярмач удержал руку Александра Петровича, подышал, глядя с укоризной, хотел что-то сказать, но не сказал. За другую руку тронула Вера:

— Что с Петенькой, Сашенька?

Чернов наклонился и обнял ее. Прошептал:

— Эпилепсия, кажется.

Сдавило голову в висках.

У парадной стояла машина. Шофер вышел навстречу. Они с Ивановым что-то тихо сказали друг другу. Шофер передал Глебу Витальевичу ключи, сказал «спокойной ночи» и исчез в темноте.

— Садись,— сказал Иванов.

Когда тронулись, Иванов сразу спросил:

— Что у тебя происходит?

Чернов покряхтел и начал медленно:

— Да, собственно, ничего не происходит... Пони-маешь...

— Что там за история у тебя с Гольдманом? — перебил его Иванов.

— Какая история,— вздохнул Александр Петро-

вич.— Какая может быть история с человеком, которого еле-еле знал... И которого год как нет... Кто-то хочет меня...

— Я тебя хочу проинформировать,— снова перебил Иванов.— Наверху Ярмаком и всей его компанией недовольны. Так что ты вовремя от них откололся. Ты слушаешь меня?

— Слушаю.

— Блинову остались считанные дни. Он оказался человеком нетвердым... Кроманова не вернут, потому что он слишком уж спелся с Ярмаком. Пахнет группировщиной. Кроманов, скорее всего, пойдет на пенсию. И секретаря вашего, этого баритона Воровского, менять будут — непринципиально он себя вел. Так что в институте у вас положение мутное. Надо на кого-то опереться. Ты слушаешь?

— Слушаю.

— Директором, наверное, будет Крапивин. Алексей Иванович. Из Госстроя. Но ему тоже надо, чтоб ему и обстановку создали, и в курс ввели... Поддержать его надо. Есть мнение, что он мог бы опереться на тебя. Ярмака надо будет поставить на место. И лучше тебя никто этого сделать не сможет. Пока я говорю с тобой неофициально. Но на днях, сразу после праздников, я выйду на Морозова, и, если он даст добро, мы вместе с ним выйдем на Бобцова. Так что давай, Саша; ты слушаешь меня?

— Слушаю.

— Теперь вот еще что... Из этой поездки в Италию ничего не выйдет.

— Почему?

— Ты слушай меня. Мироненко не даст добро. Это я гарантирую. А я хочу тебя включить в поездку группы Госстроя на конференцию в Барселону. Это солидное дело на европейском уровне, и, если тебя утвердят, ты будешь в полном порядке. Ярмак и компания могут под тебя копать этой историей с Гольдманом, но мы застрахуемся... Еще раз поднимем это дело, и ты напишешь журнальную статейку и определенно выскажешься, что ты об этом думаешь...

— А что я могу думать... Я даже не знаю толком, в чем там дело было... в чем его обвиняли. Понятия не имею... И какой смысл его долбать, если он уже не здесь?

— Брось, Саша. Дело не в нем, дело в тебе. Ты должен сделать жест, и чтоб его правильно поняли. А что писать, тебе и Крапивин подскажет, он мужик толковый... и в курсе. Он сам на тебя выйдет... Ну ладно... Ты с Татьяной давно разошелся?

— Пять лет с лишним.

— Смотри ты... А что, ты сказал, с сыном-то?

— Да сам еще толком не знаю...

— Ты, если что, сразу ко мне — по медицине, по лекарствам у меня все нити в руках. Все будет сделано. Ты вообще не брезгуй... слышишь. Ты появляйся. Видишь, как вышло, что мне самому тебя искать пришлось. Ну ладно. Куда тебя?

— Спасибо, я вот здесь и выйду.

— Ладно. А то смотри, подвезу куда надо... Ну, бывай. Держись старых друзей... Подумай о статейке. Кстати, что бы ты ни написал, от этого Гольдмана не убудет. Мне сегодня Паркетти рассказал: он там вполне прилично устроился и все у него в норме. А ты тут в благородство играешь и жизнь себе портишь. Ну, бывай.

Они пожали друг другу руки.

— Знаешь, Глеб... спасибо тебе,— сказал Александр Петрович.

— После Барселоны спасибо скажешь. Брось. Я от души.

— Подожди, Глеб. Глеб Витальевич, я тебе хочу сказать... независимо от того, как там все будет... это чудо, я очень тебе благодарен... очень...

— Ну ладно,— сказал Иванов.— Приступай к делу. Набросай статейку и звони. И вообще звони. Не пропадай.

Александр Петрович шел по лужам, как по облакам,— невесомо. Ему хотелось идти долго и никуда не приходиться. «Т а к,— думал он.— Ну т е п е р ь...— Но мысль не продолжалась.— Ну теперь,— думал он,— теперь мы...»

Свет на лестнице не горел. В полной тьме Александр Петрович взлетел наверх. «Там-та-ри-ра-рам, ти-ри-ра-руй-ра!» — пел он вслух. Чернота окружала его. Александр Петрович безуспешно водил ключом по металлу замка и никак не мог нащупать скважину. Чиркнул спичкой.

Справа от себя, в оконной нише... не увидел... а по-

чувствовал присутствие кого-то. Спичка погасла. Чернов стоял, ухватившись за ручку запертой двери. Мгновенно пересохло горло. Руки и ноги стали холодными и чужими.

— Александр Петрович,— сказал тихий голос.

Он сразу понял, кто это. И страх прошел. Но радость и легкость оборвались. Не возвращались. Не связывались нити, из которых было сплетено его состояние идущего по облакам.

— Ты что тут, Алла? — сказал он и зажег спичку.

Соседская дочка Алла сидела на подоконнике, обхватив руками колени, прижав их к подбородку. Полные сверкающие коленки.

— Ключ забыла?

— Нет, не забыла,— сказала Алла.— Просто сижу. Видеть не хочу своих. Александр Петрович, я сегодня счастливая. Совсем. Ох, какая я счастливая. Ну, идите, идите. Я еще посижу.

Чернов открыл дверь. Пошел, закрыв глаза, по сложной коленчатой трубе коридора. Он машинально касался рукой знакомых выпуклостей шкафов и впадин дверных проемов. Ему казалось, что он слышит, как храпят, покашливают, постанывают в неудобном сне за каждой дверью. Наверное, это казалось. Но все-таки он слышал.

Под его дверь подтекал слабый серовато-желтый свет. Дверь была незаперта. Среди неопрятных груд предметов, возле бесконечной возвышенности стола с железной дорогой, покрытой несвежими простынями, в глубоком старом кресле сидела Ирина. У ее ног на полу стояла настольная лампа, отвратительный толстый шнур которой змеился в темноту. Лампа освещала руки Ирины, лежащие на коленях. Руки с кроваво-красными длинными ногтями. В руках была книга. Над книгой помещалось лицо, накрашенное, чудовищно извращенное нижним светом.

Александр Петрович вздохнул и вместе с запахом духов и частицами пыли заглотил большую серую тоску.

Ирина подняла голову и исчезла. В круге света остались только ее руки с красными мазками ногтей, обхватившие книгу.

— Ну как? — спросила Ирина Одинцова.

Господин Пьер Ч. очнулся. Было по-прежнему темно. Никаких признаков рассвета. Он спал сидя, неудобно привалившись лицом к стене. Ломило шею. Господин Пьер Ч. протянул руку к столику и нащупал стакан. Поднес к губам. Но стакан был пуст. Две теплые сладкие капли только усилили жажду и сухость во рту.

— Мсье Арнольд,— тихо позвал господин Пьер Ч.— Вы спите, мсье Арнольд?

— Спит мадам,— тихо сказал господин Арнольд.— Я не сплю и не спал ни секунды. Я стараюсь заставить себя поверить, что то, что с нами происходит,— реальность. У меня не получается. Я построил такой силлогизм: если у человека отнимают жизнь, он должен бороться за нее, даже помимо своей воли. В нем должны пробудиться инстинкты хитрости, самозащиты, действия. Это аксиома. В нас не пробудились инстинкты, мы бездействуем. Следовательно — у нас не отнимают жизнь и все происходящее нереально. Так?

— Так. Так-так. Так-так,— простучали колеса в темноте.

— Который час? — спросил голос мадам Турухановой.

— Должно быть, около двух, дорогая,— ответил голос господина Арнольда.— Впрочем, мне уже давно кажется, что около двух, однако время не движется.

— Я хочу пить,— сказала мадам Елена.

— Хеллоу! Как вас там... мсье гангстер! Нам нужна вода! — сказал господин Арнольд.

В полной тьме со стороны открытой двери купе вспыхнул яркий луч фонарика. Он уперся в лицо господина Пьера Ч. Господин Пьер Ч. не удержался и сделал едва заметное движение головой, означавшее вежливое приветствие. Ему сразу стало стыдно за себя, но все-таки он сделал это движение. Луч переместился и осветил помятое, с черными потеками краски возле глаз лицо мадам Елены Турухановой. Пианистка сморщилась, как от кислого, и отвернулась. Луч высветил крупным планом широкое раздутое губастое лицо господина Арнольда.

— Придется ожидать утра,— сказал голос на ломаном языке.

— Тра-та-та-та-та-та,— сказали колеса.

— Если вы собираетесь пытаться нас жаждой, то я протестую,— сказал господин Арнольд.

Фонарик погас. Послышался звук закрываемой двери, и щелкнул замок.

Некоторое время сидели молча. За окном с бешеной скоростью проплясали несколько десятков огней. Поезд промчался мимо какой-то станции. Колеса засбоили, разбираясь в сложном плетении расходящихся и сходящихся путей. Снова стало темно. Колеса опять вскочили в свой ритм.

— Тра-та-та... Тра-та-та.

— Это станция Рио-Корда. Мы в Испании. Сейчас 2 часа 23 минуты,— сказал господин Пьер Ч.— Вокзал здесь совсем новенький — белое одноэтажное здание с башенкой, в которой сидит телеграфист. Справа, возле багажного сарая, шесть тополей, а слева общественная уборная, тоже белая. Платформа только одна, низкая. Часть платформы имеет тент, потому что днем здесь бывает очень жарко.

Щелкнул замок. Открылась дверь. Все помолчали в темноте. Луч фонарика пошарил на полу и замер у порога. Он осветил высокий узкий стакан, на три четверти наполненный водой, и рядом плоскую коньячную бутылку. Напитка в бутылке оставалось на три пальца.

— Пейте! — сказал голос.— Я вас не желаю пытаться. Потом, если будете жить, скажите им, что я дал вам коньяк. У меня больше нет.

Господин Арнольд наклонился и взял стакан и бутылку. Фонарик погас.

Они нащупывали в темноте руки друг друга, передавали стакан и бутылку. Отхлебывали по глотку.

Мсье Арнольд говорил:

— Много лет тому назад я был помешан на Испании. Однажды целое лето колесил по всей стране. Денег у меня было немного. Я останавливался в деревенских гостиницах. Вечером я спускался в общую залу поужинать. И каждый раз кончалось одинаково: замечали, что я иностранец, узнавали, что я музыкант, и в результате мы обязательно пели вместе и пили из одной кружки, которая ходила по кругу... И вот теперь снова. Видно, Испания не меняется. Вам это не кажется забавным?

— Даже слишком,— хрипло сказала пианистка.— Странно, что, оказавшись заложником, вы вспоминаете

эти умильные пейзажные картинки. Почему бы вам не вспомнить о вашем пребывании в немецком концлагере?

— Об этом я не хочу вспоминать, — сказал господин Арнольд после молчания. — А вы дура. Вы грубая дура... Держите бутылку. Там остался еще глоток.

— Давайте, старичок.

Слышно было, как булькнула влага, и мадам чисто по-русски крикнула.

— Мсье!!! — громко сказал господин Пьер Ч. — Мсье! Вы здесь? Я еще раз предлагаю вам выкуп. Предлагаю вам большие деньги за нас троих.

— Нет!!! — ответил голос. — Нет!!! — почти выкрикнул невидимый человек. Но в этом вскрике не было силы и агрессивности. Скорее, отчаяние.

Вчера, в 20 часов 50 минут, когда это началось, все было иначе.

Вчера в девятом часу вечера поезд шел по пустынной местности, среди невысоких разрушенных гор Западной Франции. Оркестр играл Пятую Бетховена. Струнная группа была превосходна. Волосатые пальцы господина Арнольда источали силу и блаженство. Он стоял ногами на откидном стуле, почти упираясь головой в потолок. Глаза закрыты. Тяжелый нос дышит глубоко и сосредоточенно. При резких взмахах рук вздрагивает студенисто-жирный подбородок. А всё вместе — великолепно! Более чем великолепно! Господин Пьер Ч. испытал радость и умиление, перехватив восторженный взгляд мадам Турухановой, который она бросила на маэстро, сидя у его ног.

Человек с крокодиловым чемоданом, прижимая к груди свое сокровище, пробрался сквозь сложное сплетение коленей, локтей и инструментов, сквозь бетховенскую тему р о к а и при грозных аккордах финала первой части, обвалом рушившихся на тесное помещение, скрылся среди ударной группы возле входной двери.

Беда началась в середине второй части. Литавристы не откликнулись на призывный жест маэстро. Маэстро дернулся, топнул ногой, открыл глаза и увидел, что ударники высоко подняли вверх свои тарелки, колотушки, палочки, но почему-то не опускают их, а застыли, как на моментальной фотографии. Звуки сломались,

смокли. Где-то в дальнем купе рывкнул еще тромбон с верхней полки, но уже впустую. Музыка кончилась. Началась тишина. И ужас.

Из-за спин оркестрантов, из тамбура на визгливой истерической ноте прозвучал приказ:

— Не шевелиться! Поднять руки! При первом движении открываю огонь! Входные двери заперты. Бегство невозможно!

Единственный, кому не пришлось поднимать рук, был господин Арнольд. Его прекрасные руки дирижера были подняты раньше. С иной целью. Так и остались, парящие над лесом других вздернутых рук, единогласно голосующих за насилие.

— Вы являетесь заложниками «Группы действия» ЛД САФ! — прокричал голос.— Всем войти в купе и закрыть за собой двери!

Господин Пьер Ч. успел заметить крокодилового человека с автоматом, зажатым под мышкой правой руки, и с круглым предметом, тяжело взвешенным на левой ладони.

Господин Пьер Ч. успел подумать, что подобное бывает только в самолетах и что в поезде это бессмысленно.

Господин Пьер Ч. успел даже возразить себе мысленно: а почему, собственно, бессмысленно? Не так уж и бессмысленно.

Больше господин Пьер Ч. не успел ничего.

Почти одновременно захлопнулись все двери. Шаги по коридору, и ключ резким движением защелкнул каждый замок.

На ближайшей станции из вагона был выпущен проводник Клод. Он передал властям по телефону, что террорист требует у испанского правительства освобождения четырех членов «Группы действия» ЛД САФ, содержащихся в тюрьме в Барселоне, и выплаты трехсот пятидесяти тысяч долларов. Он требует, чтобы условия были выполнены к моменту прибытия поезда в Барселону. Процедуру отъезда с освобожденными он передаст позднее. В случае невыполнения условий террорист взорвет вагон вместе с находящимися в нем заложниками; так же поступит он в случае попытки взять вагон штурмом или отцепить его от поезда.

В 23.10 на пограничной станции Монорт власти вступили в переговоры с преступником. На платформе,

окруженной полицией, против вагона стояли два капитана: один французской, другой испанской армии. Перед каждым стоял микрофон. Громкоговорители вокзала передали предложение властей по-французски, потом по-испански. Предлагалось немедленно сдаться. Террорист показал в окно спального вагона сперва круглую бомбу, потом две проволочки, которые он выразительно сближал, оставляя между контактами не более трех миллиметров.

Капитаны совещались. По платформе строем прошли снайперы, которые было засели на крышах, но которым начальник станции объяснил, что это вагон новейшей конструкции, с полной герметикой и пуленепробиваемыми стеклами, производства АФ-ТО Ганс Лямпер-конструктор, Дюссельдорф.

Капитаны от имени правительства предложили удовлетворение всех условий, кроме освобождения из тюрьмы преступников, за соответствующее немедленное освобождение заложников. Террорист выставил в окно плакат, где с грубыми грамматическими ошибками было написано требование — выдать продукты для кормления оркестрантов.

Узники внутри всех купе прикинули к герметическим, не открывающимся окнам и пытались по лицам стоящих вдали полицейских догадаться, что происходит с другой стороны, на платформе.

Переговоры длились пятьдесят минут. Французский капитан не принял предложение испанского капитана закидать вагон гранатами с воздуха — французский капитан любил симфоническую музыку. Испанский капитан принял предложение французского капитана о компромиссном решении.

В результате группами по четыре человека были выпущены все оркестранты. (Надо отдать им честь — каждая группа, выходя из вагона в момент, когда их фотографировала с магниевой вспышкой целая рота корреспондентов, кричала: «Свободу Арнольду!»)

Заложниками представителя «Группы действия» ЛД САФ остались: дирижер, пианистка и господин Пьер Ч.

Террорист обрезал провода электричества. В вагоне наступила тьма. Поезд тронулся. Впереди и сзади захваченного вагона шли теперь по три пустых товарных пульмана. Поезд проплыл мимо двух полицейских верто-

летов, стоявших прямо на платформе, мимо толпы махавших руками и шляпами оркестрантов, мимо привокзальной площади, где в связи с железнодорожным инцидентом местная левохристианская организация проводила демонстрацию против апартеида в Южной Африке. Поезд набрал скорость и углубился в ночь и в Испанию.

Начался рассвет. Трое пассажиров могли уже смутно разглядеть друг друга. Когда еще немного рассвело, они увидели, что дверь купе открыта и их мучитель, еще более обросший, чем накануне, сидит на откидном стуле против купе. На коленях у него автомат, а у ног лежит коричневый крокодиловый чехол, а в нем большой черный шар с отходящими от него проволочками.

Лица уточнялись, как в растворе проявителя. Четверо смотрели друг на друга.

— Почему вы не хотите взять деньги? — спросил господин Пьер Ч.

— Я работаю на организацию. Даже десять миллионов не могут меня застраховать от мести. У меня нет выбора.

— Как, вы сказали, называется ваша организация? — спросил господин Пьер Ч.

Террорист промолчал.

— Да какая разница! — раздраженно сказал господин Арнольд. — Как вас зовут?

— Халаф, — сказал террорист.

— Вы не итальянец? — спросил господин Арнольд.

Террорист подумал и тихо сказал:

— Нет.

Молчали. Совсем рассвело.

— Как вы думаете, они согласятся на ваши требования? — спросил господин Пьер Ч.

— Не знаю, — уныло сказал Халаф.

— За что сидят люди, которых вы освобождаете?

— Они взорвали электростанцию в Найроби.

— Почему же они сидят в испанской тюрьме?

— До этого они взорвали что-то в Испании, и их выдали испанским властям.

— Слушайте, Халаф, — сказал господин Арнольд, — в моем купе в саквояже лежит бутылка виски. Достаньте ее, и мы выпьем, это же мука вот так сидеть и рыть друг другу могилу.

Халаф подумал.

— Пойдите возьмите сами,— сказал он.

Заложники переглянулись. Господин Арнольд встал и медленно, немного деревянно переставляя ноги, двинулся мимо террориста по коридору. Халаф уже поднялся на ноги. Господин Арнольд остановился и обернулся. Пианистка тоже вышла из купе.

— Иди. Я открыл в том конце,— Халаф показал дулом автомата в противоположную сторону.— Не коснись чемодана, эта штука настоящая,— добавил он и тронулся дальше по коридору.

Господин Пьер Ч. сидел в купе один и смотрел на бомбу. «Наверное, можно было бы что-то сделать,— подумал он.— Все-таки жаль, что Айрин не поехала со мной»,— подумал он еще.

Солнце показалось над горами. Оно радостно просветило вагон насквозь. Разом блеснули десятки никелированных деталей, веселые теплые зайчики запрыгали по потолку. Колеса постукивали мягко и нежно. За окном, легко танцуя, пролетали ровные стриженные тополя полосы отчуждения. По крутому склону горы поднималось овечье стадо. Пастух и две большие собаки обернулись и смотрели на поезд. Пастух рукой прикрывал глаза от солнца. Левее, внизу, на ржаво-желтой скатерти равнины, роскошно обозначилась кружевная салфетка костела или католического монастыря.

Все четверо снова заняли свои позиции: господин Пьер Ч.— по ходу поезда, Арнольд и Елена — напротив, бандит с автоматом на коленях — в коридоре на откидном стуле. Бомба по-прежнему лежала на крокодиловом чемодане. Пять стаканов стояли на полу возле порога. В одном была вода до краев. В четыре других господин Арнольд налил понемногу виски. На каждом стакане спиралью шла надпись плотным приятным шрифтом: «ТРАНС-ЕУРОП-ЭКСПРЕСС». Мадам Туруханова взяла стакан с черной надписью. Господин Пьер Ч.— с зеленой. Господину Арнольду и Халафу достались стаканы с синей надписью.

— У меня есть тост,— сказал господин Арнольд,— но я его не скажу из суеверия.

Все отхлебнули из своих стаканов.

— Халаф! — сказала мадам Туруханова.— Вам уже случилось убивать людей из этого автомата?

— Из этого — нет,— сказал Халаф.— Он новый.

— Может быть, он не работает? — сказал господин Арнольд.

Халав обнажил в улыбке плитку очень белых квадратных зубов и розовые десны.

Господин Арнольд допил свой виски и сразу налил снова.

— В сорок четвертом немцы нас приговорили к расстрелу, за побег из лагеря, — сказал он. — Нас было девять человек. Это было в Эльзасе, возле Шале-Вотрэ. Четыре дня мы ждали и испытали все виды страха. Было очень противно. А потом открылась дверь, вошла старая француженка в очках и сказала: «Они ушли». Мы еще посидели. К вечеру вышли и разошлись в разные стороны. Мы не могли больше видеть друг друга. А ведь при побеге мы все рисковали жизнью и каждый был готов умереть за другого. Люди трудно выносят долгое сидение в тесном помещении.

Мадам Туруханова двумя руками взяла руку Арнольда и поцеловала ее.

— Я тоже сидел в тюрьме, — сказал Халаф. — Меня все время били. — Он там допил виски и добавил: — Все время.

— Как же вы выкрутились? — спросил Арнольд.

— Поступил к ним на службу.

— Это и была ваша «Группа действия»?

— Нет, — сказал Халаф, — в «Группу действия» я вошел, чтобы спрятаться от тех.

Господин Пьер Ч. встал и налил всем.

— А со мной в первый раз такое, — сказал он. — Неужели мы умрем?.. Я могу предложить вам триста пятьдесят тысяч долларов, которые вы требуете у испанцев. Хотите?

— Нет, не надо, — сказал Халаф, — нельзя... спасибо. — Он поднял руку и указал курносый коричневый палец с черным ногтем на господина Арнольда: — Вы важный человек?

— А?

— Знаменитый? Вы. Нужный? Согласятся — они? Вызовут командос?.. Если они вызовут командос, я убью вас первым. Напишите им письмо, что я вас убью первым.

— А если они согласятся, то как все это будет? — спросил господин Пьер Ч.

Террорист полез во внутренний карман своего потер-

того пиджака и достал сложенный вдвое лист дорогой плотной бумаги. Он протянул лист в пустоту перед собой. Некоторое время никто не брал бумагу, и властная коричневая рука с черными ногтями приобрела просительный вид. Потом лист взяла мадам Туруханова. Крупными печатными буквами на листе были выписаны десять пунктов.

Халаф говорил заученно, наизусть:

— Вы должны окружить меня очень тесно и идти вместе со мной. Касаясь меня. Должны все держаться друг за друга. Если кто нарушает, я соединяю контакт. Бомба у меня в руках. Бомба полностью поражает пространство в двадцать метров. Мы садимся в автобус. В автобусе кроме нас и шофера еще четверо из «Группы действия», которых выпустят из тюрьмы. Еще в автобусе чемодан с деньгами. Едем в аэропорт. Так же садимся в самолет. Летим.

— Тра-та-та-та-та-та... — сказали колеса поезда.

— Куда? — спросил господин Арнольд.

— Северная Африка. Алжир. Или другая страна. Об этом позаботятся.

Глядя в листок, пианистка сказала:

— Все правильно.

— Эти заключенные — ваши друзья? — спросил господин Арнольд.

— Они друзья моих друзей. Я их узнаю по паролю, — сказал Халаф.

Господин Арнольд снова налил всем. Халаф взял свой стакан, но вдруг резко поставил его, схватился руками за голову. Оскалился.

— Что с вами, мсье Халаф? — спросил господин Пьер Ч.

— Голова! — сказал Халаф. — Всегда болит голова. Сейчас сильно.

— Елена, у вас, кажется, что-то было от головной боли, — сказал господин Арнольд.

Мадам достала из сумочки синюю капсулу и протянула ее террористу.

— Спасибо, — сказал Халаф, проглотил капсулу и запил глотком виски... — Е л е н а ! — повторил он. — Вы русская?

— Я француженка, — сказала она. — Отец русский... Из Киева. Предатель. Во время войны перебежал к немцам и ушел с ними.

— Вы коммунистка? — спросил Халаф.

— Нет. Но предатель всегда предатель.

Поезд шел по долине. Солнце стояло уже высоко. Становилось жарко. Мужчины сняли пиджаки. Мадам Елена смело скинула свои кружева и осталась в белом бюстгальтере. Она выглядела очень естественно и трогательно: тонкое смуглое тело, пышная грудь, чуть прикрытая кусочками белой материи, и бедра, обернутые простой замшевой мини-юбкой, из тех, что были модой для девочек-подростков лет десять назад.

— Знаете, мадам, — сказал господин Арнольд, — я был счастлив с вами. Я много прожил и никогда не был так счастлив. Более счастливым я быть уже не могу.

Он, кажется, был пьян.

Елена притянула его к себе и положила его большую голову себе на грудь.

— Ты великий старик, Арнольд, — сказала Елена.

«Как я одинок! — подумал господин Пьер Ч. — Это хорошо или плохо?»

Поезд влетел в туннель. Долгая тьма. Потом снова яркий-яркий, огромный, как в детстве, мир... день!

Арнольд и Елена, закрыв глаза и покачиваясь, заперли. Визгливым мусульманским фальцетом подхватил Халаф. И только господин Пьер Ч., который не умел петь, просто улыбался и утвердительно ритмично качал головой.

«Ах!» — подумал господин Пьер Ч.

9

Александр Петрович впервые был за границей, если не считать трехнедельного отдыха в Варне. Но это было давно, еще с Таней.

Первые дни он был оглушен другой жизнью, комфортом, предупредительностью тех, кто их обслуживал. Барселона понравилась ему необыкновенно. В профессиональном смысле его больше поразили не новшества и даже не Гауди, как он ожидал, а старая архитектура, увиденная наяву. Удивительно сохраненная, а потому живая, дышащая покоем и подлинной любовью к человеку в каждой мелочи, эта старая архитектура переворачивала его душу. Ночные споры с Ярмаком, все их

умопомрачительные проекты показались Чернову чем-то домашним, игрушечным.

Иванов перед отъездом советовал ему показать себя как можно лучше. И он старался. Очень старался. Вполне искренне. Он сидел на всех заседаниях, слушал все доклады и выходил из зала, только когда объявляли перерыв, чем немало удивлял коллег, и иностранных, и даже своих, советских. Он ездил на все экскурсии, ходил на все мероприятия, запланированные программой. А программа была плотная. Конференция протекала мирно. Никто ничего особенно интересного или спорного не высказывал. Это была чисто престижная затея международного класса. Большинство участников постоянно находились в благодушном настроении и были склонны более к вечерним развлечениям, чем к утренним заседаниям. Чернов по неопытности ждал чего-то иного и был излишне серьезен и напряжен. Сам он сделал в меру скучное, но вполне серьезное сообщение, текст которого ему вручили перед отъездом. Народу во время его выступления было в зале немного. Впрочем, приняли его весьма тепло. Руководство делегации поздравляло. Видимо, он слишком готовился к выступлению и слишком волновался — когда все кончилось, он ощутил разочарование и пустоту. Он стал нервничать.

На четвертый-пятый день им начала овладевать тоска. Он не разглядывал больше архитектуру, сидя в зале конференции или за банкетным столом, не слышал, что говорят. Он думал о другом и ничего не мог с собой поделать.

Он думал о Петьке, с которым все стало еще тревожнее. Во всяком случае, врачи особо не обнадеживали. А может, не стало, а было, просто он, Чернов, раньше ничего не знал.

Он никак не мог выбросить из головы последний телефонный разговор с Ярмаком. На отчетной конференции в Союзе архитекторов Александр Петрович публично заявил о своем выходе из группы Ярмака и под аплодисменты части зала вдребезги разнес принцип, когда-то им самим сочиненный. Он говорил примерно то, что когда-то говорил Гольдман, но этого никто не вспоминал — была уже другая ситуация. Поездка группы института в Италию отпала сама собой. Блинова сняли. Кроманов вышел на пенсию.

Ярмак позвонил Чернову.

— Это Сева, — сказал он.

— Здравствуй! — сказал Александр Петрович. — Сева, ты обижен на меня, я понимаю... но все серьезнее, чем ты думаешь... гораздо...

Ярмак молчал.

— Что ты молчишь? — спросил Чернов. — А? Что? — Ему показалось, что Сева что-то сказал.

— Ничего, — ответил Сева и повесил трубку.

Александр Петрович думал о том, что надо начинать возню с покупкой машины, — Деян уже передал ему половину денег. Грустил о своей игрушечной железной дороге, хотя пока она по-прежнему стояла у него в комнате, — Деян перевезет ее в конце месяца. Конечно, не надо быть дураком — машину покупать надо, раз появились деньги... хотя тысячу Ирина уже отложила: они решили съехаться и поменять две жилплощади на одну, но обязательно трехкомнатную. Деньги, конечно, нужны и на ремонт, и на доплату. Обо всем этом он почему-то думал грустно, как о докучной обязанности. Вообще непонятно много грустил... Крапивин действительно оказался крепким мужиком. Даже слишком крепким. Активно готовясь занять директорский пост, Крапивин часто встречался с Черновым. Входил в дело. Говорил и расспрашивал толково, но, говоря с ним, Чернов почему-то все время потел от страха. «Мы с вами составим крепкий т а н д е м!» — сказал ему перед отъездом Крапивин, и Чернов весь покрылся потом. От этого тоже было грустно.

Чернов плохо спал в Барселоне. Каждый день он видел из окна своей гостиницы, как восходит солнце. Разглядывал вокзал, который был напротив. Смотрел на подходящие утренние поезда, на заспанных пассажиров, разбегавшихся по площади. С высоты десятого этажа люди казались маленькими и очень ловкими. Так ловко балансировали на двух палочках-ножках. Поезда сверху казались чистенькими, приятными, игрушечными...

...Он с удовольствием поставил бы этот вокзал со всем прилегающим куском города на свой стол и с удовольствием повозил бы эти паровозики...

В первый же день в Испании Чернов купил себе отличные ботинки. И сравнительно недорого. Вся делегация заходила к нему в номер поглядеть... Поздравляли. Даже немного завидовали... Но потом недорогая

цена сказалась. Правый ботинок сильно натер ногу. Еще день Александр Петрович крепился... мучился, а потом нога распухла.

Он впервые не пошел со всеми. Остался в номере. Вечерело.

Александр Петрович сидел у окна, смотрел на игрушечную площадь у игрушечного вокзала.

Он думал о своих делах и не сразу заметил, что площадь пуста и оцеплена полицией. А на вокзале ни души, кроме полицейских и военных.

Небольшой синий автобус в сопровождении четырех машин полиции со зловещими синими мигалками выехал на площадь. Автобус окружили автоматчики.

Громко и непонятно раздавались команды. Потом все замерло. Только военный мотоциклист в громадном шлеме носился, бешено тарахтя, между вокзалом и автобусом.

Чернов видел, как вдали, в контровом свете заходящего солнца, появился странный поезд. Один пассажирский вагон был вмонтировал в цепь товарных...

«Хорошие пульманы, — подумал Александр Петрович. — Надо купить таких здесь... ах да! Уже не надо...»

Чернов играл в прибытие этого поезда, как когда-то за своим столом. Он своей рукой перевел крошечную стрелочку, принял состав на первый путь и медленно подтащил его к платформе. Он фантазировал, что это совершенно особенный поезд — в нем везут заложников и захватившего их террориста. Среди заложников он сам... хотя немного другой, но все же он. Заложники смотрят в окно и видят Барселону, вокзал, этот отель... Александр Петрович играл в железную дорогу...

Здание вокзала перекрыло пассажирский вагон. Были видны только тепловоз и два последних товарных.

На площади все замерло.

Прошло несколько минут.

И раздался взрыв.

Над вокзалом взлетела туча огня, дыма и обломков. Завыли сирены. Все тронулось и завертелось на площади.

Александр Петрович смотрел на хорошенькую пожарную машину, на маленьких людей, бегущих во всех направлениях.

«Каким игрушечным кажется чужое горе», — подумал он и перегнулся через подоконник, чтобы видеть все.

Господин Пьер Ч. сидел за столиком на открытой террасе кафе отеля «Амбассадор». Море было совсем близко. Оно казалось нарисованным посредственным художником. Скорее, даже маляром. Ровный, без всяких оттенков синий колер и совершенно симметричные, одинаковой длины белые мазочки. Роскошная унылость. Господин Пьер Ч. жил здесь уже вторую неделю, но ни разу еще не спустился к морю. Море не привлекало его.

Пол террасы был выложен гладкими плитками пресованного мрамора. Столики маленькие, круглые, на трех кованых с завитушками ножках. Такие же завитушки повторяли металлические спинки стульев.

Господин Пьер Ч. сидел, положив ногу на ногу, и слегка покачивал носком правого ботинка, ритмично постукивал по кованой ножке стола. Господин Пьер Ч. смотрел в пол. Он видел великий караванный путь, который проложили муравьи по необозримой пустыне каменных плит террасы. Муравьи наладили непрерывное движение в обе стороны. Две живые нитки соединяли толстые лапы сосны, одиноко стоявшей возле террасы, с большой черной дырой в мраморной плите, ближе к правому краю кафе, возле двери в бильярдную. Там, в черной дыре, шло большое строительство. Бесконечно длинным путем туда доставляли сосновые иглы. Длинные, тяжелые.

На столе перед господином Пьером Ч. стояла почти полная бутылка виски, высокий стакан, медная миска со льдом и блюдце с соленым миндалем. Спиралью по стакану шла синяя надпись плотным приятным шрифтом: «Отель Амбассадор».

Раньше он пил крайне редко, и если заказывал двойную порцию, то считал, что он сильно разошелся. Пил обычно вермут. Теперь господин Пьер Ч. каждое утро покупал в баре бутылку виски и уже не расставался с ней до вечера. Часам к девяти бутылка бывала пуста, и тогда он шел в бар и еще несколько раз заказывал виски.

Он ни с кем не познакомился. За целый день он едва произносил несколько слов — приказы официантам или горничной. Но постепенно и эти слова стали не нужны. Он заказывал и просил всегда одно и то

же и весь персонал гостиницы уже знал его привычки.

Господин Пьер Ч. оторвал взгляд от великого муравьиного пути и налил немного виски в стакан. Бросил два куска льда и начал слегка покачивать стакан в пальцах. Лед бился о стекло, звенел.

Господин Пьер Ч. думал о том, что жизнь его неотвратимо переменилась — из нее ушли самые дорогие ему вещи... Да, конечно... ушли... и необратимо.

Никогда не будет больше стука колес и этого изумительного запаха идущего поезда, запаха, состоящего из смеси лесного кислорода, гари и теплого железа. Никогда он больше не сможет заставить себя сесть в поезд... Никогда больше не будет покоя... он так берег его... и не уберег... даже за деньги не купить покоя... какая банальность!.. а ведь не купишь... (Он начал пьянеть, мысли путались.) Не будет покоя, потому что... никогда не будет больше господина Арнольда...

...Сперва все шло по плану, написанному печатными буквами на листе плотной дорогой бумаги, вынутом из внутреннего кармана потертого пиджака.

Плотно прижимаясь к Халафу, они шли по пустой платформе под взглядами десятков полицейских. Халаф нес бомбу. Они шли по пустому залу ожидания, мимо закрытых киосков, лавочек, окошек, в которых обычно продают сладости, жевательную резинку, всякую туристскую дребедень... мимо шкафов камеры хранения. Потом шли по пустой оцепленной площади... к синему автобусу. Шагах в двадцати возле полицейских машин стояли автоматчики. Идти было неудобно. Они держались друг за друга руками, они были слишком близко и потому беспрестанно наступали друг другу на ноги.

В автобусе сидели четверо из «Группы действия». На них были одинаковые коричневые костюмы и одинаковые серые шляпы, видимо, выданные в тюрьме.

Один из них обменялся с Халафом паролем. Пароль был длинный и сложный — много фраз, вопросы и ответы с упоминанием Гибралтара, французских сигарет «Житан» и какого-то дяди Лодовико из Палермо.

Когда весь пароль был произнесен, Халаф положил бомбу на сиденье, и они с освобожденным обменялись рукопожатием.

Но дальше все шло не так, как должно было. Освобожденный в коричневом костюме и серой шляпе руки Халафа не хотел выпускать из своей. Мало того, второй рукой он схватил его за горло. Халаф выскользнул и сорвал с плеча автомат. Трое других в серых шляпах кинулись на него с боков.

Господин Пьер Ч. упал на пол и уже лежа услышал выстрелы. Выстрелов было три или четыре. Их вполне хватило, чтобы насовсем убить двоих человек: Халафа — по необходимости и господина Арнольда — совершенно случайно. Но тем не менее наповал.

Господин Пьер Ч. не мог забыть, каким лежал господин Арнольд в проходе автобуса. Спокойный и умиротворенный. Никакой гримасы боли. Может быть, ее и не было.

Его похоронили здесь же, в Барселоне. На панихиде изумительно играли два оркестра вместе — Шлиссельбургский и Вильегорский. Дирижировал Макс Горбах. Солировала Елена Туруханова. И он и она непрерывно плакали в течение всего концерта.

Господин Пьер Ч. встал из-за стола и прошел вдоль муравьиного пути к краю террасы. Открыл стеклянную дверь и вошел в бильярдную. Минут десять он смотрел, как двое людей с лицами наркоманов играли в карамболь. Потом он взял с широкого деревянного подоконника кипу газет и вернулся к своему столику на террасу.

Газеты оказались старыми, двухнедельной давности. Господин Пьер Ч. отхлебывал виски, кидал в рот соленые орешки и листал старые газеты.

Мелькали фотографии под крупными заголовками. Он снова видел господина Арнольда живого (за пультом во фраке), потом мертвого (в проходе автобуса)... видел Халафа, видел себя самого... их вагон... автобус со следами пуль.

Он перевернул еще несколько страниц. Сколько крови, сколько бед. Нет людям покоя... Вот еще... с десятого этажа гостиницы (там же, на вокзальной площади в Барселоне) выбросился из окна русский архитектор,

приехавший на конференцию... Ужас, ужас... Советы заявляют, что это провокация американской секретной службы и что имело место не самоубийство, а убийство... Врач заявляет — несчастный случай... правая печать намекает на какую-то травлю... Ах, чепуха все это! Главное, что он погиб — вот фото: распластан на мостовой.

Господин Пьер Ч. отодвинул от себя газеты и снова налил виски. Слишком много ужаса в мире.

В конце концов он так много пережил за последние дни, что мог себе позволить отвернуться от чужих несчастий и спокойно подумать о себе самом.

*Ленинград
1972—1978*

НА ДАЧАХ

(Разорванная повесть)

Летом 74 года мы с женой и дочкой жили на даче в Усть-Нарве, в Эстонии. Дочке еще год тогда не исполнился. Няни не было. И бабушек у нас нет. Жена круглые сутки занималась кухней и уборкой, а на мне лежала обязанность гулять — возить Дашу в коляске. Даша редко чему-нибудь сильно удивлялась. Она смотрела на мир серьезно, внимательно и понимающе. Но однажды она удивилась. Приподнялась в коляске, заволновалась, широко открыла глаза. Я повернулся. Метрах в двухстах от нас высился из-за кустов столб пламени. «Это огонь», — сказал я Даше. И мы поехали к огню. Жгли мусор. Несколько домов пошли на слом, и теперь расчищали место под новую стройку. Мы долго смотрели на близкое сильное пламя. Привезли большой бак с бумагами. Я еще удивился, что они жгут бумагу, а не сдают на макулатуру. Много бумаг разлетелось. Слипшиеся стопки, папки, тетрадки валялись. Я машинально поглядывал, полистывал. Забавно. Школьные уроки, любовные записки. Заявления. Отчеты. И вот наткнулся на обрывки дневников. В обрывках всегда все интересно. Стал искать начало и продолжение. Даша не плакала. Смотрела на огонь и на меня. Поощряла мое занятие. Я унес бумаги домой. Немного дописал, где дыры были. Но потом почти все дописанное выбросил. От моих логических «связок» получалась фальшь. Пусть лучше дыры. Ни имен, ни адресов там не было — только намеком — одной буквой, цифрой. Это как раз я вписал — просто выдумал. Я назвал эти записки — «На дачах», потому что все это произошло где-то тут рядом, на дачах. Интересно, что дочка, теперь

уже подросшая, помнит этот огонь и говорит, что мы мало взяли, там еще много сгорело. И правда, жаль, что не довелось покопаться еще в тех бумагах.

І. НИЧЕГО И НЕ БЫЛО...

Сейчас-то жарко, а вот прошлое лето здесь было холодное и ветренное. Ветер дул с моря и через устье выталкивал реку вспять, она переполнилась и затопила низкий берег, на котором стоит наша дача. Море штормило и мутным крупным прибоем намывало тяжелый песок. Пляжные скамейки по самые сиденья ушли в землю. Купались мало. Круглые сутки тревожно гудел штормовой бакен.

После пьяной ночи лучше встать рано. Уйти поскорее от храпа, от кислого запаха. Голова свежая, как будто и не было ничего, как будто снилось это, как будто убежал на цыпочках от самого себя. Потом, часа в два дня, все скажется, припомнится, но сейчас, утром, хорошо.

Я шел к морю. Моросил дождь. Я прошел через спящий поселок. У магазина разгружали машину с хлебом. Рабочие со смачным стуком задвигали пустые ящики. Море стало слышно только за сотню шагов, когда под ногами уже был песок. Еще маленькая полоска деревьев и пляж. Очень широкий. Пустой. Было часов восемь.

Толстый ветер уперся в меня, обволокнул, отгородил от всего. Я стоял наклонившись вперед, засунув руки в карманы, а он поддерживал меня упругой подушкой. Я услышал смех. Издалека ко мне бежали по пляжу две девушки в ярких купальниках. Одна догоняла другую. Шагах в двадцати от меня передняя упала в изнеможении. Вторая кинулась на нее с криком, и они хохоча покатались к морю, к черте прибоя. Потом они прыгали на волнах и о чем-то громко говорили, но слышно не было — ветер сносил.

Теперь я видел, что это мать и дочь. Обе стройные, длинноногие. Дочь чуть полнее. Я разделся и вошел в воду. Мне хотелось побыть с ними в одном море. Я плыл, ныряя под волны, в шипучую глухоту. Потом волна откатывалась — шум ветра и смех. Глухота — смех. Глухота — смех... В детстве... в холодную зиму эвакуации мы отогревались с мамой в бане. Вели-

чайшее было наслаждение сидеть в мокром тепле, закрыв глаза, открывая и закрывая уши. Шум — глухота... шум — глухота... Тепло... Полет, невесомость... детство...

...Смех — глухота... Я плыл с закрытыми глазами. На звук. К ним. Вот близко. Голубая и красная шапочки. Что-то кричат. Прыгают на волнах. Мель. Я прошел мимо. Они не обратили на меня внимания. Я спросил: «Не замерзли?» Но как-то вяло спросил, без посылы. При ветре так нельзя. Они не расслышали.

Я поплыл назад. Оделся. Сел на скамейку и закурил. Ветер сломал сигарету. Сидел просто так. Смотрел на них. Дождь перестал. Проглянуло солнце. И появился мужчина — красиво седеющий гигант. Разделся, уверенно вошел в воду, поплыл к ним. Они хорошо монтировались. У него была желтая шапочка. Забытая молодая ревность щекочущими колючками прошла у меня по спине.

Мужчина проплыл мимо них. Они не обратили на него внимания. У меня отлегло от сердца.

Потом мать вышла на берег, принесла с дальней скамейки их одежду и полотенца. Мне все-таки удалось закурить. Вместе с дымом изо рта начал выходить вчерашний хмель. Голову сдавило.

Мать звала дочь на берег.

— Ирина! — донеслось до меня. — Ирина! — Она размахивала полотенцем. — Простудишься, Ирина!

Ветер переменялся, и теперь мне было слышно хорошо, хотя они были далеко от меня.

— Мама! — закричала красная шапочка. — Не волнуйся, слышишь! Мне очень хорошо с тобой! И отец мне не нужен! Слышишь? Слышишь? Я тебя очень люблю и рада, что мы теперь вдвоем!

— Иди, иди сюда, Ирина! — крикнула мать.

Потом она заботливо обернула ее полотенцем, и они пошли навверх, к дюнам.

Вечером мы всей компанией затеяли шашлыки у Васильевых. Много выпили, но не хватило, да к тому же было холодно — на двух машинах поехали к доктору Волчеку одолжить две-три бутылки. Потом сидели у нас. Моя жена много пела на два голоса с Гольнским и много пила. Я злился и от злости опять напился. Засыпая, я помнил о том, что завтра рано встану и

пойду на море, но проспал, а когда проснулся, сразу же начался скандал с женой. Володька стал на сторону матери, и я, взбешенный, уехал на машине в город.

В конце августа наши отношения с женой дошли до серьезного разрыва. Я приехал на дачу один забрать кое-что из вещей. Одиночество было так приятно, что я решил остаться переночевать. Я с наслаждением бродил под дождем по поселку. Часов в пять зашел в буфет. Мать и дочь сидели за столиком у самой двери. Сердце у меня застучало так, что я испугался и вышел на улицу. Через стекло я видел, как дочь налила матери и себе белого вина из большой бутылки. Перед ними были салатнички с огурцом в сметане, а посредине стола стояла тарелка с горкой корявых сосисок. Мать была в плаще. Воротник плаща поднят. Пальто Ирины висело на спинке стула. Говорила Ирина. Мать, видимо, не слушала ее, она неподвижно смотрела в сторону. Теперь, когда я видел их крупным планом, они были еще прекраснее. И было... не знаю... благородство, что ли... а, черт, сентиментальное слово, но было... было в них что-то особенное. Независимость! Вот это, наверное.

Я снова вошел в буфет. Подсесть к ним я не решился, хотя в другом случае сделал бы это не задумываясь. Я купил у стойки сигарет, выпил пива и съел дрянной пирожок. Потом сел со второй кружкой за соседний с ними столик. Отвратительно взвизгнул подо мной стул железными ножками по бетонному полу. Мать обернулась. Я улыбнулся ей.

— А вы все еще не уехали? — спросил я.

— Не уехали. Простите, у меня плохая зрительная память. Мы знакомы?

— Мы вместе купались...

Лицо ее стало замкнутым. Я хотел еще что-нибудь сказать, но Ирина уже надевала пальто. Она ни разу не взглянула на меня. Теперь ее стул взвизгнул ножками о бетон. Мать поднялась:

— Всего хорошего.

Они вышли. Одиночество уже не доставляло мне удовольствия. Я вернулся к себе на дачу и лег в кровать, решив встать часа в четыре утра и на рассвете вернуться в город. Я взял старый журнал, валявшийся на кухонном столе. Открыл наугад и стал читать какую-

то нудную повесть о целине. Я проснулся в темноте. Когда взглянул на часы, оказалось, что еще только половина десятого. Я выкурил три сигареты подряд. В комнате было неуютно — во всех углах остатки безалаберно прожитого лета. Я погасил свет.

В четверть одиннадцатого я не выдержал и пошел к Васильеву. Там сидели: круглый год живущий в поселке художник Осипов, старший сын Голынского Илья и сильно пьяный дядя Леша — печник, который все лето складывал у Васильева камин, да так и не кончил. Кроме того, там были две девушки-переводчицы. Они рассказывали, как они работали на Московском кинофестивале, кого там видели, какие плохие были фильмы и сколько получают западные артисты. Потом Васильев и худая девушка куда-то исчезли, а Осипов танцевал с полненькой. Я варил кофе. Потом шел дурацкий разговор о том, что девушкам надо остаться ночевать здесь, что уже поздно. А они говорили, что ни за что не останутся и уедут ночным поездом. Им объяснили, что никакого ночного поезда нет, а они говорили, что возьмут такси. Илья, подмигивая обоими глазами, нашептывал, что такси отсюда потянет тугриков двадцать, а девушки говорили: «Ну и пусть!» Мне все это надоело, и я, не прощаясь, вышел. Дождя не было.

На углу Морской и Комсомольской я застыл, услышав знакомый... и забытый... и незабываемый... и черт знает как назвать, в общем, тот самый смех, их смех. Они шли по двум сторонам узкой улицы, то исчезая в темноте, то возникая в неопрятном свете деревенских фонарей. Они толкали друг к другу старый, проколотый детский мяч. Иногда мяч залетал в кусты, и его долго искали. Говорили что-то. Я не понимал что — я слушал голоса. Потом мяч находили и снова шли по улице и толкали мяч.

Я пошел сзади. На расстоянии. Ирина бегала с мячом вокруг матери, что-то рассказывала о женском футболе. Мать шла теперь посередине улицы. Она больше не играла. Потом скрипнула калитка, здесь было совсем темно. Я затаился. Голоса удалялись. В темном доме зажглось угловое окно. Я видел их тени на занавеске. Потом Ирина вышла.

— Барсик, Барсик, — звала она. — Мария Ивановна, вы нашего Барсика не видели?

Ответили что-то невнятное. Силуэт старшей женщины на занавеске был неподвижен. Она сидела в профиль к окну, и я не мог понять, что она делает — читает? пишет? спит?

— Барсинька! — радостно вскрикнула Ирина. — Иди сюда, маленький, иди ко мне, Барсинька!

Я стоял, держась руками за плохо оструганные колья заборчика.

«Ты дурак! — сказал я себе. — Ты сентиментальный старый дурак. Ты уже двадцать лет не стоял под чужими окнами, ну и не стой. Ничем ты никому не поможешь. И никого ты не согреешь. И никому ты не нужен. У тебя взрослый сын — пустой и чужой тебе человек, и у тебя жена, с которой придется разводиться, потому что жить так нельзя, нельзя, нельзя, нельзя... нельзя...»

Мне стало очень жаль себя, и глаза стали мокрыми. «Вот так номер! — подумал я, и тотчас мелькнула в мыслях привычная небогатая хохмочка в виде вопроса: — Возле какого же это номера со мной приключился этот номер?» Я посмотрел наверх. Это был дом 12 по Комсомольской улице, почти у самой почты. Я шел к себе и тихонько пел хриплым голосом на манер Высоцкого:

И нечего стоять,
И нечего стоять,
И нечего стоять
Па-а-ад чужими окнами!

А этот год у меня на удивление удачный. Работу нашей группы, которую всё оттесняли и оттесняли, вдруг приняли, да так приняли, что и ожидать было нельзя. Я был в двух длительных заграничных командировках. Работа была интересная и с результатами. На втором месяце разлуки я вдруг заметил, что вспоминаю о жене. Издалека стало казаться, что я сам во всем виноват. Когда я вернулся, сын был на очередных сборах со своей командой. У жены было спокойное виноватое лицо. Мне показалось, она была искренне рада мне. Мы не разошлись. Ходили вдвоем обедать в ресторан. Два раза были в театре. Я продал свой «Москвич», потому что на работе распределяли «Жигули» и неожиданно освободилось место в списке. Теперь у нас современная машина.

На даче я за лето был всего раза два — работы по горло. Жена уехала в Цхалтубо, у сына соревнования. На прошлой неделе я приехал кое-что поделывать на даче и в первый раз выбрался на пляж. Жара невероятная, и народу как на юге. Расписали пультку с Голыньским, в кустиках наверху. Обедать собрались к Осипову — он звал на грибы. Осипов жил на самом краю поселка — «на хуторе», как мы говорили. И я поехал на своем «Жигуле». Почти подъехал к хутору, и вдруг точно бес в бок толкнул — развернул машину и обратно, на Комсомольскую, 12.

Во дворе стояли две детские коляски. Висело белье. Много полуодетых людей бродило по двору, со вкусом делая-поделывая свои хозяйственные дела. На мою машину обернулись.

— А где хозяйка? — спросил я.

Вышла старая крепкая женщина со стеклянным взглядом.

— Мария Ивановна, как жется? — весело спросил я.

— Правильно, — сказала она.

— Жильцы-то, я смотрю, новые? Первый год снимают?

За период удач в моей жизни я обрел уверенность и с незнакомыми людьми заговаривал легко и с удовольствием.

— Кто первый, кто как, — ответила старуха, глядя на меня почтительно и неприветливо. — Если снять хотите, так поздно уже на этот год.

— Да нет, не снять... Мария Ивановна, тут у вас прошлым летом жили мать с дочерью... Ириной дочь зовут...

— Нету их.

Из сарайчика выскочила веснушчатая девушка, босая, в трусах и бюстгальтере.

— А вы им кто?

— Да никто... Просто узнать... Узнать кое-что надо... А где они? Не знаете?

— Оденься, Валька, — сказала старуха.

— Счас... Так вам Елену Сергеевну или Ирину?

— Да обеих, обеих мне... Как делато у них?

— Ой, хорошо! Они ведь обе сразу замуж вышли, бывает же.

— Как это? — спокойно-спокойно, на самых низких нотах моего голоса спросил я.

— Ира — за болгарина. Он в Москве учился, и теперь она то тут, то там, то тут, то там. А Елена Сергеевна в Новосибирске. Она за академика вышла... Еще не старый, толстый такой... Он здесь в прошлом году отдыхал, на колхозной... член-корреспондент...

— Оденся, Валька, кому сказала, — строго прошептала старуха.

— Счас... Я их адреса знаю... Надо вам их адреса?

— Да, хорошо бы...

— Счас...

В глубине двора молодой отец, по пояс голый, качал на руках маленького ребеночка и раздраженно кричал:

— Га-а-аля! Слышь, да выйди же, успокой ребенка, Га-аля!

— У меня котлеты горят, — отвечала невидимая Галя.

— Да выйди же, к чертовой матери, он тут пуп надорвет оравши... Га-а-аля!

Девушка, уже одетая, вынесла затрепанную записную книжку. Залистала, слюнявя пальцы...

— Вы московский-то их адрес знаете?

— Московский — знаю, — ответил я.

— Так пишите... Значит, Ира, она по мужу Кытева. Пловдив — это Болгария, Бояджиева, 7, дробь 4. Вот... Теперь Елена Сергеевна... Она по мужу Шенглер: Новосибирск, Академгородок, 6. Шенглер, и все...

— Что ж ты, старая зараза, ждать себя заставляешь! — кричал Осипов, стоя в воротах своего хутора. — Грибы тоскуют, водка слезится, пулька расписана, солнце садится, а ты...

А я... а я... а я выглядывал из своих «Жигулей» с широкой улыбкой, указывая оттопыренным большим

пальцем на заднее сиденье, где громоздились привезенные мной к обеду яства и напитки, и у меня было такое чувство, как будто только что... только что отняли у меня мою последнюю надежду.

1974

II. ЗАПИСКИ ОФИЦИАНТКИ

«...Стекляшка обычно открывается первого мая. В праздники тут полно народа. Завозят много пива, и продукты хорошие, свежие. А потом, числа с пятого, почти пусто до начала дачного сезона. Вот в это мертвое время он и появился. Лицо серое, усталое. Тяжелые мешки под глазами. Он пришел с приятелем — черным, носатым, с широченной грудью и сильными руками. Заказывал приятель:

— Лососина, говорите? — Он щурился, с шумом втягивал воздух волосатым носом. А лососина тогда еще была — осталась от праздников. — Лососина? Это отлично! Ты представляешь, Вава, куда мы попали! Здесь предлагают лососину!

Просидели они часа два. Ели много и подробно, пили умеренно, больше говорили о том, что хорошо бы выпить.

— А мы сейчас закажем шампанеи и попросим эту очаровательную девушку подсесть и выпить с нами, — басил приятель, — неужели она не примет во внимание, что мы единственные клиенты и потому должны быть обслужены на все 105,3 процента. А если она откажется, то мы закажем еще литр водки и напьемся до свинства. Не так ли, Вава?

Приятелю казалось, что он произвел на меня впечатление. Он был в ударе. Говорил он действительно остроумно. Я не подсела к ним, но остроумам его смеялась. Особенно смешно он рассказывал про то, с какой нерешительностью Вава снимал сегодня дачу, про его разговор с хозяйкой. Вава тоже смеялся, но как-то напряженно, не поднимая глаз от тарелки. Раза три-четыре всего он поднял голову и посмотрел на меня своими выпуклыми, подведенными болезненной синевой глазами. Мне этого хватило. Я знала, что он еще придет сюда и что я хочу этого.

Познакомились мы в июне, когда он переехал на дачу. Его звали Вадим Александрович Вангель. Вадим Вангель. Вава.

В первый раз он не решился слова со мной сказать, даже не поздоровался. Сел за Нелин столик. Я обиделась, и, когда он пришел во второй раз и сел ко мне за прежний их с приятелем столик, я попросила обслужить Нелю. Сама работала на ее столах. Ходила мимо него. Он расстроился и быстро ушел. В третий раз народу полно, мои столы все заняты. Он ходил по улице и через стекло следил — выжидал, когда освободится. Он мне сам потом это рассказал. Наконец перед самым перерывом втиснулся с семейством автотуристов — отец, мать, взрослая дочь и совсем маленький на коленях у матери. И Вава четвертым за столом. Он поздоровался со мной и все говорил «спасибо». Много раз. Прибор поставила — «спасибо», хлеб принесла — «спасибо», все — спасибо. Без четверти два Валя начала всех выгонять — обед. Он послушно расплатился за то, что успел взять, и успел-то одно холодное, — и пошел. Сказал только:

— Я смотрю, вы каждый день работаете... Когда же отдыхать?

Фраза заезженная, мне ее часто говорят. Для завязки разговора, а заодно, когда, мол, я свободна и вообще... то се... Я ему и ответила, как всем:

— А вы, я смотрю, каждый день отдыхаете. Пошли бы поработали — нам бы полегче...

А он ответ не как брехню принял, а всерьез.

— Да нет, — говорит, — я тоже работаю, но как вы выдерживаете, честное слово, не понимаю.

Я говорю:

— Зимой отдохнем!

Он ушел. В обед я вышла покурить возле кухонной двери. Смотрю — он стоит. Я подошла. Он говорит:

— Дойдемте до моря.

И пошли прогулялись.

Он очень боялся — соседей боялся, хозяев боялся. Что жена вдруг нагрянет или приятели, и еще чего-то боялся. Потом-то я узнала — чего. Глаза у него были тревожные и удивленные.

Как в сказке, ей-богу! Первые два раза я была у него днем. Осмелился — пригласил... кофе выпить в перерыв.

— Теперь, — говорит, — я хочу вас обслужить. Можно? Приходите, сварю кофе. Буду бегать за официанта...

Дал адрес. А обедать в этот день нарочно пораньше пришел. Еще до двенадцати. Это чтобы народу мало было — не встретить кого. И еще, чтобы до перерыва не досидеть — чтоб не вместе нам к нему домой идти, — боялся.

Я пришла. Попили кофе. От коньяку я отказалась. Полрюмочки только выпила. И он не стал. Все говорил, как я, наверно, устаю.

Он говорил:

— А поесть не хотите? Я яичницу могу сделать с колбасой. Сайру? Вы же голодная, наверное? Других кормите, а сами голодная. Да? Признавайтесь. Хотя, может быть, вам, как той буфетчице у О. Генри, отвратителен сам вид жующего человека. Осточертели мы вам? Признавайтесь! Хочется мне вас развлечь, да не знаю — чем. Вот завтра должен приехать мой приятель Сквирский на своей «Волге», и попробуем мы с ним вместе вас уговорить. И поедем мы с вами шикарно ужинать в какой-нибудь дальний ресторан с музыкой. Вы ведь в девять закрываетесь? Ну, минут тридцать на дорогу...

Я сказала:

— Это тот Сквирский, с которым вы в первый раз в стекляшку заходили? Нет, не поеду я с вами...

— Почему?

— Я завтра занята... И потом... не в восторге я от вашего приятеля. Девочки говорили, он в кино работает? Режиссер?

— Режиссер. И хороший режиссер. А что это вы так к нему строги?

— Я? Да что вы! Просто не в восторге. Вы сейчас вот говорили, как он, я и вспомнила. А он у вас жить будет?

— Дня два, может быть... А что?

— Да ничего. Смешной у нас разговор. При чем тут ваш Сквирский? Пусть живет. А когда уедет, вы пригласите меня еще раз на кофе.

Тревога у него из глаз ушла, перестали они бегать туда-сюда, и осталось одно большое-большое удивление. И стали они совсем светлые. И грустные. А потом

он боялся меня проводить и стеснялся этого. Да еще хозяйка стучала, вызывала его в коридор. Но все обошлось. Он снимал полдома, и выход был отдельный. Да и листва уже большая на деревьях — насквозь не видеть: июнь. Я вышла, и никто меня не заметил.

Через два дня он пришел и сказал, что Сквирский уехал. И опять мы пили у него кофе в обеденный перерыв. Много курили и молчали. А на третий раз (ей-богу, ну совершенно как в сказочке), на третий раз все и случилось.

Сидели у него. Без четверти три он стал говорить, что, дескать, как жаль, что мне уже пора идти, и как я устаю, и все такое... А я говорю:

— Я сегодня в вечер, освободилась, и никуда я не спешу.

Тут он всерьез испугался. Но потом отошел и прямо сказал:

— Огорошили вы меня. Я растерян и не знаю, что делать. Пойдемте купаться.

Купались. Везло ему — никого знакомых он не встретил. Правда, и купались на отшибе — в камнях. Вернулись около шести. Подходили к дому, и опять повезло — у ворот стоит машина, такси, возле такси люди топчутся. Я отстала песок из туфель выбить, а он пошел вперед. Поговорил там, и все на машине уехали, остался он один. Вошли в дом. Закурили. Он говорит:

— Ну вот мы и одни... Хозяйка с семьей в город уехала... — и смеется.

Потом опять стал тревожный. Говорит:

— Хотите, пойдём куда-нибудь?

Я говорю:

— Как вы хотите...

Он сказал:

— Тогда так: я схожу в магазин, принесу всякой еды и буду вас кормить. Ладно?

Я сказала:

— Давайте я схожу.

Он сказал:

— Нет, схожу я. А вы сидите... вот, глядите журналы, картинки... и, извините меня, я вас запроу. Не обидитесь?

Я говорю:

— Не обижусь. А что, должен прийти кто-то?

А он говорит:

— Нет. Просто я боюсь, что вернусь, а вас нет. И глаза у него при этом были совсем спокойные, такие, какие больше всего я любила.

Он пришел не скоро. Пришел взмыленный, волосы торчком, с двумя тяжелыми портфелями. Настоялся в очередях. В это время везде очереди. Запер дверь.

Сказал:

— Никого больше не пушу. Устали ждать?

Я сказала:

— Не устала. И не говорите больше про мою усталость. Я никогда не устаю. Это вы устали. Вон как вспотели. Отдохните. Я все приготовлю... А я читала вашу книгу. Мне понравилось. Две главы прочла. Дадите почитать?

Удивился и покраснел:

— Да ведь это литературоведение. Скука. Неужели не скучно было?

— Нет.

— Вот вы какая...

— Когда же ее напечатали? Недавно. А вы много книг написали?

Он сказал:

— Три. А издали ее только что. Мне Сквирский привез экземпляра.

— Что же вы мне не сказали,— сказала я и открыла портфели. Там было очень много всего, и сверху в обоих лежали смятые гвоздики.

Потом долго ужинали, и пили, и курили много, и медленно, медленно темнело. Света мы так и не зажгли. В соседнем доме за деревьями включили на полную телевизор, и все время раздавались выстрелы и злые голоса — показывали какой-то детектив, и он говорил, что ему кажется, что это по нас стреляют. Потом телевизор выключили, и он опять занервничал. Стоял у окна. Я подошла, и мы оба смотрели на деревья.

Я давно знала, что скажу это, и сказала:

— Какое это дерево? Вяз?

Он тихонько засмеялся:

— Вы и Чехова наизусть знаете? Господи, да что же это такое?

Я сказала:

— Я и не только Чехова наизусть знаю.

Он спросил:

— А что вы еще наизусть знаете?

— Я вас наизусть знаю, Вавочка.

Тогда он меня обнял. Я не пошевелилась. Он провел рукой от подбородка до ног. Рука у него была ласковая, не жадная.

— О Господи,— сказал он тихонько, и глаза у него были удивленные. Даже в темноте. Даже совсем близко».

Вот что записал Вадим Александрович Вангель на листках в клеточку, вложенных в папку с надписью «Тема войны в романе 50-х, 60-х годов»:

«Если бы я не чувствовал, не знал, что недолго уже этому быть, длиться, я был бы счастлив. Но я знаю, и счастья нет. Есть нежность и благодарность. И тревога за... Не судьбу благодарю, не верю я в нее, благодарю человека, женщину за то, что себя сохранила и мне дала надежду. Люблю? Да, конечно, люблю. Но больше, чем люблю — могу любить, не устаю любить, берегу... впервые в жизни не хочу бежать от нее обратно в себя. Теряю себя, и нахожу себя нового, и узнаю. Но недолго уже этому быть... Вот ее жизнь, которую она мне рассказала и которая мне дорога со всеми ее грехами Росла с матерью. Отец давно их оставил. Отец — человек яркий и увлекательный. Всегда был большим начальником. Сейчас директор завода на Урале. Деньги им присылал изредка, но крупными суммами. Не навещал никогда. Мать продолжала его любить до самой смерти.

Она приехала в наш город поступать в институт. Подготовлена была средне, но не хуже других. Ее не приняли. Помешала ее красота. Мужчины всегда стремились ей помочь, а чтобы помощь была заметнее, сами создавали ей трудности, ставили условия. Предлагали принять, если... Короче, не приняли. В родной город она не вернулась. Устроили лаборанткой в том же институте. Мыла химическую посуду. В нее влюбился заведующий кафедрой, сорокалетний доцент, делавший большую карьеру. Сделал ее своей любовницей, потом оставил семью и женился на ней. Устроил учиться в другой институт. Из-за всего этого карьера доцента дала трещину и характер сильно испортился.

В институте она полюбила студента старшего курса. Карен был родом из Еревана, был красавцем и сыном богатых и влиятельных родителей. Ухаживал он за ней страстно и красиво. Свадьба была в Ереване. Было двести гостей, и свадебное путешествие длилось три месяца — все каникулы и еще кусок сентября. Уже на свадьбе Карен начал ее ревновать. Поводов тогда не было. Во время свадебного путешествия было несколько безобразных сцен по этому поводу. Карен всячески приучал ее к спиртному, спаивал. Обожал, когда она плохо чувствовала себя по утрам после попойки, и тогда нежно ухаживал за ней, исполнял любые капризные желания. Вечером опять вел ее в компанию, и опять ревновал, и опять спаивал. Она оказалась крепче него — он стал пьяницей и не мог уже остановиться. Были угрозы, и побои, и инсценировки самоубийства. Бегства, погони, истерики. Была широкая угарная ресторанный жизнь среди ловкачей и паразитов. И никакого труда. Совсем никакого.

Потом он лечился в санатории. Она снимала квартиру около. Была тихая зима на Черном море. Два раза в день они гуляли с Кареном. Остальное время она лежала у себя в комнате и читала — прочла всего Достоевского и всего Чехова, том за томом.

Карен начал работать. Жизнь стала размеренной. От скуки она захотела окончить институт. Ее устроили. И снова Карен стал ревновать. Потребовал, чтобы она ушла из института. Она отказалась. Чтобы отомстить ей, он стал заводить романы на стороне и рассказывал ей об этом. Снова стал пить. Она ушла от него. Вернулась к матери в родной город. Мать была уже очень больна и вскоре умерла.

Однажды к ней явился отец Карена (специально прилетел на самолете) и умолял спасти сына — вернуться к нему. Уговорил: она была совсем одна и на распутье. И опять был период тихой жизни, и опять он кончился. Случилось, что они приехали сюда, в этот поселок, на день рождения к известному артисту. Артист вел себя грубо, и Карен устроил страшный скандал, а потом сам повел себя еще более омерзительно. Она сказала, что уходит от него. Тогда он попытался ее изнасиловать. Она убежала из дома, ночь ходила по поселку, а утром зашла в стекляшку. Нанялась на работу — люди были нужны.

Ее искали. Она видела, как Карен и артист колесили по поселку на машине, расспрашивали. В стекляшку зайти не догадались. Карен кинулся в город.

Она осталась. Сперва из упрямства, а потом... просто все стало устраиваться... и жилье нашлось... Все разъезжались — кончился сезон. Осенью она написала Карену. Он примчался, были слезы, были мольбы, клятвы, но уже зря. Зимой их развели. Заочно — отец Карена устроил.

Это было четыре года назад... Ее существование здесь странно...»

Дальше зачеркнуто примерно с полстраницы. Только отдельные слова понятны, но смысла в них никакого нет. В последней зачеркнутой строчке можно разобрать фамилию Карасев (не было такого человека, или он перепутал — может быть, Тареев, или это касалось его личной жизни) и начало слова «предуп...» — видимо, «предупредил». Самый низ листа оборван.

На следующей странице дата — 12 июля.

«Десятого июля было очень жарко. Я здорово набегалась за утро и в перерыв просто сидела в тени возле кухни. Курила. Но когда перерыв уже кончился, вдруг сорвалась и побежала к нему. У дома стояла «скорая помощь». Шофер, откинувшись на спинку сиденья, спал с широко открытым ртом. Значит, приехали уже давно. Врачей в комнате было трое. Они сгрудились у кровати, и его не было видно. Меня долго не замечали. Потом хозяйка вошла — принесла грелку со льдом. Посмотрела на меня неодобрительно, но ничего не сказала, прошла к нему. Врачи расступились, и он меня увидел. Стал садиться, но его опять положили, и все тогда обернулись и стали смотреть на меня.

Я не подошла, а издали спросила:

— Что случилось?

Он хотел ответить, но один врач сказал:

— Вам нельзя говорить.

Он сказал:

— Да подождите...

Тогда врач мне сказал:

— Ему нельзя говорить. Выйдите.

А он опять:

— Да подождите же. Подойдите, пожалуйста.—

Вид у него был плохой. Он говорил:— Это у меня бывает. Обойдется. Вы не волнуйтесь... Жара невозможная... Уже отпускает. Это уж не в первый раз у меня... Все в порядке. Жене уже позвонили, она сейчас придет... И врача привезет... уход тут организован. И вот Нина Степановна...

Хозяйка взяла таз, в котором валялись куски ваты и битые ампулы, и вышла.

Врач сказал:

— Ему нельзя говорить.

Мы все молчали.

Он сказал:

— Вы не волнуйтесь. Это бывает у меня. Спасибо. Вы идите. Сейчас придут, все будет нормально.

Я сказала:

— Поправляйтесь,— и вышла.

К вечеру ему, видимо, стало лучше, потому что перед самым закрытием пришла ужинать его жена и еще одна женщина. Их привез Сквирский на машине, но я бы и без этого догадалась, что это его жена. Интересная, нервная, очень хорошо одета, а волосы в беспорядке, и постарше его, сильно постарше, лет, может, на семь-восемь постарше. В больших темных очках. Глаз не видно. Сквирский сразу уехал, а они с докторшей сели за Нелин стол. Докторша ей тихонько говорила что-то, а она молчала.

На следующий день они не пришли. Работать я не могла. Подменилась. Сидела и ждала, когда они придут. Две пачки выкурила. Не выдержала, прошла мимо его дома — «скорой помощи» нет, все тихо. Вернулась. Опять ждала. Они так и не пришли.

А 12 июля пришли. Обедали. Я обслуживала. Говорили весело, спокойно. Я подавала и слушала обрывки разговоров. Докторша, видимо, собиралась уезжать. Давала наставления. А жена все отвечала: «Да сколько раз я ему говорила, но он же ни черта не хочет слушать»,— и все в этом роде.

Вечером я пошла купаться. И сидела до ночи у моря. Какая-то компания жарила шашлыки на берегу. Позвали меня к себе. Я пошла. Пели песни под две гитары».

«12 июля.

Ну вот все и кончается. И болезнь моя кончается, и все остальное тоже. Может, оно и к лучшему. Так-

то оно реальнее, поближе к земле. Но в том-то и штука, что поближе к земле не хочется — во всех смыслах. Ладно, подождем. Жизнь подскажет. Лариса ушла с Верой Петровной обедать в стекляшку... Похоже на водевиль».

Две строчки зачеркнуты.

«Мне казалось, что я могу последовательно и подробно рассказать ее жизнь. Но за последнюю неделю все так далеко отодвинулось, что вещи, которые были совсем ясными, теперь требуют объяснений и доказательств. А их недостает. И я уже не совсем понимаю и не совсем верю. Мой единственный источник информации казался мне всеобъемлющим, а теперь вроде требуется «выслушать и другую сторону». Но ведь другая сторона — это весь мир, и против него она одна. Кому верить?»

По ее словам, она сразу стала своей в разношерстной компании, обслуживавшей эту жалкую стекляшку. Работали там одни бабы. Однажды появился директор ресторана «Взморье», филиалом которого была стекляшка. Познакомился с ней и сразу же предложил перевести работать в банкетный зал ресторана — с повышением. Она отказалась. Тогда к ней стали придираться. Старшая стекляшки следила за каждым шагом. Посыпались выговоры. Встал вопрос об увольнении. Но тут вдруг все официантки и повар, все эти равнодушные, грубоватые бабы, сплотились и отстояли ее. Директору пришлось отступить. Он затаился. Но тут случилось одно событие, которое все перевернуло и заставило директора сменить гнев на безбрежную милость. Об этом после.

Ей нравилась тяжелая однообразная жизнь. Она испытала свои силы, и их оказалось много. Она с удовольствием носила подносы, с удовольствием сидела на тоскливых бабьих вечеринках, с удовольствием отпугивала притких посетителей своей образованностью. В конце октября стекляшка закрылась. Разбрелись — местные во «Взморье», кто как устроился, Неля уехала в райцентр буфетчицей на вокзал. Она устроилась в магазин, в бакалею, здесь же, в поселке, — постоянная продавщица ушла в декрет.

По ее словам, в ту зиму началась и кончилась ее молодость. Из-за сложных отношений, которые всегда ее окружали, из-за постоянного пребывания в сфере за-

претной, не возможной для других, обычных людей, она никогда не чувствовала себя молодой. А эта зима была беззаботная и веселая. Образовалась лыжная компания — три студента-физика, которые вместе сняли дачу на зиму и умудрялись бывать в поселке по два, а то и по три раза в неделю, и она. Иногда к ним присоединялись местные — Римма, кассирша из их магазина, Ася, библиотечка из Дома культуры, и еще Васёк, только что окончивший институт, преподаватель химии в поселковой школе.

Сперва ее смущала их молодость и детская наивность в отношении ко многим вещам, их резкие переходы от озорства и дурачества к обсуждению мировых проблем. Смущала их непоказная деликатность, неназойливая широкая образованность, короче, смущала их интеллигентность. Потом она втянулась. По ее словам, в душе ее ослабла какая-то вечно натянутая нить. Ей стало просто и интересно. Они научили ее профессионально ходить на лыжах, занимались с ней английским, начинили ее стихами поэтов, имен которых она никогда раньше не слыхала. И самое главное, они научили ее смеяться. Раньше она только улыбалась. Теперь умела хохотать над остротами, намеками, розыгрышами. И участвовала в них.

Все трое были в нее немного влюблены. Наверное, даже не немного, но делали вид, что немного, видимо, почувствовав, что так будет лучше для нее и для их дружбы, которой они еще дорожили. Кульминацией этой жизни была новогодняя ночь. И дивный стол, и умная веселая трепотня, и хмель, и мороз, и бег на лыжах по замерзшему морю. Она убежала далеко от берега. Ее окликали. Она не отвечала. Стояла, закинув голову, широко раскинутыми руками опираясь на палки, и выдыхала в черноту белый пар. Вздогнула, почувствовав рядом чье-то присутствие. Перед ней стоял младший из троих — Виктор. Молчал. Смотрел на нее. И увидела она в его взгляде, что сказочка кончается. Что скоро в их компании все усложнится и разрушится. Она обняла его, поцеловала в губы, за всех, за все, в благодарность за свою короткую молодость, и побежала от черноты к берегу.

В начале января в магазине появился мужчина в дорогой заграничной, похожей на женскую шубе и громадной меховой шапке, закрывавшей пол-лица. Поку-

пал сигареты, кажется, и вдруг назвал ее по имени. Это был тот самый известный актер, на даче которого произошел разрыв с Кареном,— Михаил Р. Он простоял с ней час, выпрашивая, выпытывая ее историю, и, когда узнал все про побег, хохотал так, что выскочили все девчонки со склада и даже замдиректорша. Артист тут же накупил шампанского и угощал всех в замдиректоршином кабинете. Только что в поселке прошел новый фильм с его участием, и девчонки закатывали глаза от счастья, когда он к ним обращался. Он был в ударе.

Вечером она встречалась с физиками, и он увязался за ней. Снова накупил коньяку и шампанского. Физики в его присутствии померкли. Он рассказывал о ночной жизни Стокгольма, где снимался в фильме и где купил свою шубу. Говорил о своем знакомстве с Софи Лорен. Пересказывал последние шоковые фильмы Запада. Потом вежливо простился, звал всех заходить, сказал, что проживет на даче неделю, и ей предложил проводить ее до дому. Она сказала, что еще посидит. Он не настаивал. На прощание прочел стихотворение «Быть знаменитым некрасиво...», но сбился на третьей строчке, и ушел, утонув у шубе. Физики едко острили и по поводу его рассказа, и по поводу игры его в фильме, но как-то запоздало. Смахивало на щенячье тьявканье (это ее слова). Она не смеялась. Возникло напряжение и...»

Дальше листы разорваны в клочья. Мною. Прочсть нельзя.

«Я знала от Нели, знала, что он поправился. Вчера вечером они гуляли у моря. Он не дал о себе знать. Наверное... наверное, у него не было возможности, я понимаю и тогда понимала. Но мне все равно — не дал он о себе знать. Ничем. А вчера вечером они гуляли у моря. А перед этим, днем, около четырех, его жена обедала у нас в стекляшке. Соседка ей сказала про меня или она сама почуяла, а может быть, он покаялся, а может, ничего этого не было и все это казалось мне,— не знаю, но только невыносимо все это было. Вошла, встала в дверях — смотрит на меня. А у меня рыбацкая компания, три стола сдвинули, орут, стакан в руку суют, гоняют туда-обратно, за юбку хватают. Она смотрит. Потом села. Я минут пятнадцать к ней не под-

ходила. Молчит. Смотрит. А может, не смотрит — под очками не видно, но нацелены окуляры вроде на меня. Потом я подошла.

— Слушаю вас...

Она смотрит, молчит. И вдруг сняла свои темные очки. В первый раз я ее глаза увидела — большие, плоские, в морщинках, и на правом весь белок в кровавых прожилочках. У меня сердце заглодело — показалось, что она мне сейчас что-то страшное скажет. А она заказала обед с пивом и снова очки надела. И как подойду, она все смотрит на меня, вот-вот что-то скажет. Так ничего и не сказала. А вечером они гуляли у моря.

Стекляшка стоит на маленькой горке, лысой, без деревьев. Если выйти из двери кухни и идти прямо, не сворачивая, через кустарник, то потом перейдешь дорогу, там тропа через рощицу, подъем небольшой и вниз — море. Семь минут ходу, если медленно. А из главных дверей если выйти, то вниз через двести шагов остановка дальних автобусов. В город ходят пять штук в день. В пятницу, в воскресенье вечером и в понедельник утром всегда битком. Поэтому записываются заранее. Прямо к столбу прикноплен листок — и пишут. Я иду мимо, всегда читаю — почерки такие разные и фамилии смешные попадают. В понедельник шла к девяти и прочла:

- «1. Ротова — 3 чел.
2. Поповцев
3. Розеноэр
4. Иванов — один
5. Бахрамов — 5 билет.
6. Вангель — 2 чел...»

Дальше я не читала. Список списком, а приходиться все равно заранее надо. Они пришли минут за сорок и сели на скамеечку. Без вещей. Только портфель и сумочка — и то и другое она принесла. Сидят рядом и молчат. Он подпер подбородок кулаками, локти на коленях, а она, наоборот, — откинулась, вроде загорает. Потом народу вокруг стало много — их не видать. Я спустилась от стекляшки, подошла поближе — сидят. И не говорят и не шевелятся. Я еще подумала: почувствует он, что я на него смотрю, или нет? Обернется или нет? Не обер-

нулся. Потом что-то сказал ей, встал и пошел в другую сторону. Я кинулась к стекляшке. Жду. Минут пять ждала. Нет. Потом смотрю — возвращается. Снова сел и кулаки в подбородок. И вдруг почувствовала, что перегорел во мне интерес, что сидят на скамейке двое чужих, непонятных пожилых людей. И пусть сидят. Ладно, черт с вами, живите. Я даже не поглядела, как они уехали. Услышала по звуку, что автобус тронулся,глянула в окно — он уж на Морскую заворачивает.

В первую субботу августа в общежитии рыбсовхоза случилась драка. Стекла били, орали, комендант свистел. Я вышла поглядеть — это рядом совсем. Наш дом 3, общежитие — 3-б, а 3-а так и не построили — фундамент и какие-то обломки железные, так что видно насквозь. Дома однотипные, трехэтажные, из белого кирпича. Подошла. Там уже потише. Милиция разбирается. Говорят, троих забрали, увезли, а теперь еще виноватых ищут. Стекла на первом этаже в трех окнах выбиты, и под одним окном много крови. И рама запачкана. Комендант стоит на табуретке, остатки стекла выдергивает и бросает на землю, прямо в кровавую лужу, даже брызги летят. А в другом разбитом окне, смотрю,— трое незнакомых, пьяных, двое знакомых, тоже выпивши, и милиционер Володя Гуцин в книжечку подробности пишет. Двое знакомых — культторг общежития, Эльмар Симман, возмущается чем-то, и Валька, подружка моя из бакалеи, накрашенная, у платья правый бок выдран, и плачет. Сходила в гости, дура. Я зашла, перекинулась с Гуциным парой шуточек и увела Вальку к себе. Подходим к нашему дому. У парадной на скамейке баба Надя сидит курит.

— Тебя,— говорит,— спрашивают.

— Кто?

— Незнакомый,— говорит,— с портфелями.

У меня сердце екнуло.

— Где он?

— Вон пошел,— и в темноту показывает.

Я дала Вальке ключ и побежала. На даче в его половине темно, заперто. До стекляшки дошла — никого, кошка на ступеньке лежит. К морю ходила, к нашему месту,— ни души. И дождь заморосил. Пошла домой. Прохожу мимо общежития, а там опять шумят.

Права качают. Карелин вернулся, один из трех забранных, отпустили его. Зря. Бандит из бандитов. Наверняка он все и начал. В моем окне свет, а идти неохота — копаться в дурацких Валькиных делах, утешать, советовать... Покурила... Да и тут стоять противно — больно уж матюгаются, и кажется, опять драка будет. Потопала домой. Звоню. Валька в моем халате, улылась уже, губы еще сильнее нарисовала и улыбается... Дура... Вошла в комнату — сидит на диване Вадим Александрович, а на столе бутылка, сверточки и гвоздики в пол-литровой банке. Ваза прямо перед носом на серванте стоит, Валька, идиотка, не догадалась.

Он сидит, ссутулился...

— Здравствуйте! — говорит.

Я тоже говорю:

— Здравствуйте! — и понесла свертки и гвоздики на кухню. Выкладываю на тарелки сыр, колбасу и спрашиваю себя: где же моя обида? А нету ее. Открываю банку скумбрии и смотрю в окно на общежитие — там под желтой лампочкой опять друг друга за грудки хватают. Слышу, Валька в кухню вошла. Смеется и шепчет в затылок:

— Мне уйти? А мне ж домой не попасть. Поздно... Они ж на крюк заперли...

— Так чего спрашиваешь? Оставайся.

— Ой, как я коньячку хочу... Он две бутылки «Юбилейного» привез... Вам все равно вдвоем не выпить...

Я не обернулась, режу колбасу.

— Посмотри, — говорю, — это не твоего там опять мутузят?

Валька говорит:

— А ну их к черту. Слушай, а это кто?

— Серое пальто, — говорю.

Она заржала в голос и вышла. Потом он вошел. Я не обернулась, а в темном стекле увидела его отражение — стоит в дверях.

Он говорит:

— Вы не сердитесь?

Я взяла четыре тарелки, по две в каждую руку, и пошла к дверям. Подошла близко и поцеловала его, в губы. Он не ответил. Стоит растерянный... смотрит. Красные жилочки в глазах. Давление, наверное, высокое. Дверь узкая. Я протиснулась, грудью его коснулась и пошла в комнату. А он в кухне остался.

Я поставила пластинку «Падает снег» Адамо. Вава прямо зашелся. Говорил, что в первый раз слышит, и опять ее поставил. На третий раз он разобрал кое-какие французские слова и передал нам. Валька, пьяная дура, стала приставать, чтобы он все дословно перевел, и мы крутили «Снег» без конца. Черт меня дернул к общежитию выйти и завести к себе Вальку. Но, с другой стороны, повезло, что соседей дома нет — уехали на неделю в Таллинн. Так что ночка была полосатая — что-то хорошо, а что-то плохо.

Вава разошелся и много говорил, но все с Валькой. На меня только поглядывал удивленными своими глазами. Валька, дура, кокетничала, хохотала, закидывая голову, и с жутким, ни на что не похожим акцентом рассказывала анекдоты про армянское радио:

— Может ли «Запорожец» развит скоруст сто километрув в час? Атвичаим: можит, если спустыт его с гары Арарат.

Вава от этих старых анекдотов смущался и только говорил:

— Сила... сила...

Я сказала:

— Валя у нас вообще сила — из-за нее сегодня двоих в тюрьму посадили.

Валька закричала:

— Брось! Я тут при чем? — К Ваве повернулась: — Понимаете...

И начала длинную историю, как пригласил ее Симман потанцевать в общежитие, потом зашли к его дружку Таамму в комнату выпить «сухого вина», а там сидели Зальц и Рубцов и играли в шахматы, а потом ввалился Карелин, а она с Карелиным прошлую субботу танцевала... Я так и знала, что все из-за Карелина, бандит, сволочь, зачем они его выпустили...

Вава стал подремывать, и уже светлело за окном. Я подняла рюмку и сказала ему:

— За ваше здоровье!

Чокнулись.

Я спросила:

— Как здоровье-то?

Он сделал гримасу, что, мол, «так себе», но сказал:

— Ничего.

Я говорю:

— Вам пить-то не надо, наверное...

Он говорит:

— Мало ли что... Мне и приезжать сюда не надо было, наверное.

Я говорю:

— Вот как?

И он:

— Вот как!

Я спрашиваю:

— У вас от дачи ключа, что ли, не было?

Он:

— Да не в этом дело. Видеть я никого не хочу. И меня чтоб никто не видел.

Я спросила... Я чувствовала, что не надо это спрашивать, и все-таки спросила:

— А в городе знают, что вы сюда уехали?

Он говорит:

— Поставь про снег еще раз.

Вдруг ни с того ни с сего в первый раз на «ты» меня назвал. И кажется, в последний.

А Валька в это время свое бормочет. Про то, что эстонцы, даже пьяные,— вежливые, но скучные, а Карелин — хам и похабник. Потом вспомнила про платье, достала его и стала рыдать над дыркой.

Я начала посуду убирать. Они мне не помогали. Несу тарелки по коридору мимо запертых соседских дверей — у них две комнаты, у меня одна,— и какие-то обидные мысли в голове: почему у меня своей квартиры нет? Почему детей нет? зачем я Вальку притащила... и Вава... Столько вечеров я одна просидела дома... Может, и ждала его... хотя я не думала, что ждала... Именно сегодня приехал... А у меня больные дни начались... Четыре рейса в кухню сделала. Каждый раз возвращаюсь — та же картина: Вава сидит поджав губы, глаза выпучив, Валька бормочет, а Адамо крутится... Достала раскладушку соседскую с антресолей, постелила в кухне. Вхожу в комнату — Вава дремлет. Я ему по голове рукой провела. Открыл глаза.

— Выгоняете? — спрашивает.

Я говорю:

— Идите в кухне ложитесь, а мы с Валькой на диване.

Встал. Я вперед пошла по коридору, а он сзади. Обнял со спины. Полтора раза всю меня обхватил ру-

чищами своими длинными. Голову мне на плечо положил. Постояли так. Я открыла дверь в кухню.

— Спите,— говорю. Он еще ждал... моргал нерешительно. А я опять:

— Спите!

В комнате Валька коньяк допивает и слезы утирает.

Я вдруг завелась, крикнула:

— Кончай ныть, растяпа, кровать постелить не можешь! Вон белье! Присосалась к коньяку. Куда в тебя лезет?

Валька губы облизнула. Молчит. А глаза моргают, закрываются. И вдруг язык мне показала. Ну до того по-идиотски, что я засмеялась.

— Иди ты в жопу,— говорю,— ложись, я скоро.

Вышла на улицу покурить. Моросит. Дошла до общежития. Лампочка еще горит, противная такая при дневном свете. Из разбитого окна храп, и лужа под окном стала серая. А в ней стекла.

О радостях не напишешь. Радость всю сама сжираешь. Ничего не остается. А дни у нас были хорошие. Даже не дни, почти целая неделя. Он был такой умный, такой сильный все эти дни и ночи, что мне удивительно было, как это я угадала — я не надеялась на такое. Он так все сказать и сделать умел, что мне стало казаться: поняла я жизнь и мир, и смерти нету».

Вот что написал Вадим Александрович Вангель на двух листках почтовой бумаги 13 августа:

«Во-первых, не пугайся, я не исчез. Я уехал и вернусь вечером. Если придешь раньше, чем я вернусь, прочтешь эту записку. Если позже — я порву ее и скажу тебе все сам. Скажу все, о чем ты так и не спросила.

Говорят, что любовь требовательна. Теперь я знаю — врут. Любовь — не взрыв, а смирение. Любовь — это поступиться своей свободой ради свободы того, кого любишь. Любовь — это не научить, а пойти в ученики. Восхититься и поверить. И воздастся тебе. И мне воздалось.

Ни одно твое слово, ни одно твое движение не показалось мне чужим. Я будто знал их заранее и ждал

их. Дождался. И снова было чего ждать и чему удивляться — удивляться, что так хорошо знаю незнакомое.

Ты ни о чем не спросила. Ты терпела. А я молчал, потому что все, что я должен тебе сказать... про себя, про свою жизнь, про жену, про будущее, про решения, — все это совсем другая жизнь, нам с тобой далекая, и я ничего не знаю про нее. Обязан знать. И не знаю. Я не обманываю тебя. Я учился у тебя всему заново — засыпать, просыпаться, думать, любить, быть. Прежнюю науку я забыл. Это слабость. Нельзя забывать прошлое. Я ведь старый, у меня длинное прошлое. В прошлом я умел мыслить, читать, писать, бороться, добиваться... «изучать»... Разучился. Это слабость. И может быть, слабость смертельная.

Я не раздваиваюсь. Больше не раздваиваюсь. Я не навестил тебя перед отъездом. Не попрощался. Ничего не сказал жене. Тогда я раздваивался. Уравновешивал моральный ущерб. Я знал, что люблю тебя, и считал (именно «считал», как на счетах), что мыслями о тебе оплатил твои тревоги. Жену не любил. Мучился. Но мне было стыдно, что я мучаюсь с женщиной, так долго бывшей рядом. Свою нелюбовь я оплачивал вниманием и послушанием. Я хотел отыскать прежнее русло жизни и жить в нем, тайно присвоив твою любовь и спрятав ее там, в привычном, чтобы веселее жилось.

Потом я решил заехать к тебе и украсть еще чуть, чтобы еще веселее потом жилось там, в моей прежней жизни. Но здесь, в твоём обшарпанном доме, я пошел к тебе в ученики. Я остаюсь. Только старый я — вот что скверно. И недолго мне учиться осталось. ~~А ты то как же тогда?~~ (Это зачеркнуто.)

Милая, я у тебя узнал все, чего не знал, — любовь, тюрьму и суму. Кому рассказать, как ты меня прячешь неделю, — смешно. Мне рассказывали об одном писателе, который узнал в тридцать пятом, что его собираются арестовать за бывшую причастность к меньшевизму. Он пришел к своей любовнице и прожил, не выходя из ее квартиры, двадцать лет. Я думал — врут. Теперь верю — можно.

Но узнал я и суму. Деньги кончились. Я поехал в город за деньгами. На ужин все куплю. Ты только возьми масла и яиц, а то трудно это из города тащить: масло растает, яйца побьются.

Кланяюсь вам.

Целую тебя. Жди меня. Не встречай. Приеду на 7.10 или, в крайнем случае, на 7.46.

Р. С. Я тебя заставляю это читать в наказание за то, что ты порвала мой дневник.

В.»

Запись, сделанная Вадимом Александровичем Вангелем в больнице имени Ленина и переданная 22 августа медсестре первой хирургии Люде Спивак:

«То, что было, счастьем не назовешь. Наверное, счастье — это в конечном счете то, чего хотелось. А здесь все было заново. Неожиданно все было каждую минуту. И фон слишком уж убогий, шалашный. Мне не по возрасту и не по характеру назвать эту неделю счастьем только потому, что дело было в шалаше. Не рай, не рай это был. Сильно опоздала моя первая любовь.

Я должен досказать все, что узнал об этой женщине.

...Ее послали обслуживать большой официальный банкет на уровне областного начальства. В ресторане «Взморье» два банкетных зала — большой, человек на шестьдесят, и малый — для послеобеденного отдыха. Там чай, сладкое, напитки... Ее поставили на малый зал. Женщин на банкете было мало, а в малом зале вообще сидели одни мужчины. На нее обратили внимание. Подшучивали, говорили грубоватые комплименты. Она не стеснялась — отвечала. Это нравилось и раззадоривало. Сыпались вежливые приказания — то одно, то другое. Она все исполняла. Улыбалась, бегала взад-вперед, сверкая своими красивыми, всегда высоко открытыми ногами, слепящей улыбкой и этой копной волос на голове, душистой, переливающейся, от которой действительно с ума сойдешь.

Один молодой спортивного вида блондин вышел за ней в буфет. Приблизился к лицу масляными глазами, пригласил пойти потанцевать в общий зал, где простой народ. Она сказала, что она на работе — нельзя.

Он улыбнулся: «А если через нельзя?»

Она сказала: «Запрещено!»

И пошла. Он ей вслед бросил: «Это мы устроим». И вроде отстал, ушел обратно. Через минуту она снова влетела в буфет (за спичками послали) — ее директор

ресторана ждет. «Можно, — говорит, — потанцуй с Валерием Ивановичем». Она: «А обслуживать кто будет?» Директор говорит: «Да не бойтесь, я все устрою, подменим. Надо уважить Валерия Ивановича». Она сказала: «Знаете что, вот вы пойдите и станцуйте с Валерием Ивановичем, так мы его еще больше уважим, на уровне дирекции, а я буду своим делом заниматься».

Директор зашипел, как масло на сковороде. А дальше — хуже. Входит в зал — Валерий Иванович шепотком, но все настойчивее: «Не надо со мной шутить, на моей службе шуток не любят». Идет в буфетную — директор: «Я вас от работы отстраняю...» В зал — Валерий Иванович: «Здесь не хотите, поедем в другое место потанцуем, я тебя в машине жду...» Она осмотрелась и подошла к самому лысому и на вид одному из главных. Говорит: «Извините, тут ваши подчиненные мне проходу не дают. Ничего страшного — чуть подвыпили. Вы не могли бы меня до дому подкинуть, когда уезжать будете? Мне страшновато одной». Тот улыбнулся... по-доброму... вроде даже польщен был.

«Это кто, — говорит, — себе позволяет?» — «Да неважно, просто боюсь одна...»

Краем глаза увидела — оскалился и потух в углу Валерий Иванович. Главный руку с часами к глазам вскинул: «В 22.00 отъезд. Жду».

Директор растерялся. В десять часов она, не спрашивая, ушла, а большой начальник доставил ее на черной «Волге» домой. На прощание крепко пожал руку: «Спасибо за угощение».

То ли начальник сказал кому надо пару слов, то ли самого его поступка было достаточно, но отношение к ней переменилось. Ее оставили в покое. Тогда же она, минуя все очереди, получила комнату... в которой я жил еще неделю назад...

Господи, неужели прошла только неделя? Восемь дней назад я лежал в этой комнате утром... один. От воды в вазе, стоявшей на серванте, метались солнечные зайчики по потолку и по стене. Стол был покрыт толстой зеленой клеенкой. На ней чередовались квадратики трех оттенков зеленого — темный густой еловый цвет, потом пожире — болотный, потом светлый капустный и опять густой. Клеенка была потная — неестественно крупные капли лежали и подрагивали на

ней. На дальнем от меня углу стола стояла запечатанная бутылка кефира и рядом с ней — толстостенная чашка светло-кофейного цвета. Бутылка тоже была в каплях. Я смотрел на эти предметы и думал о том, что их касалась моя любимая. Только что. Она вытирала клеенку жирноватой мокрой тряпкой, она только что достала кефир из холодильника и поставила на стол. Она достала чашку из серванта, и когда задвинула резко стекло, шаткий сервант мелко затрясся. И вот до сих пор не успокоились зайчики на стене. Я спал. А она только что была здесь. Сейчас тихо в квартире. Я дождусь ее. Я не пошевельюсь, пока она не вернется... моя любимая. Мне приятно писать это слово. Любимая... Любимая... Любимая... Любимая... Лю-би-ма-я. Очень далеко жужжит, а потом взвизгивает электрическая пила.

Вот что она рассказала мне, когда я лежал скорчившись и росла моя боль, а она сидела рядом и гладила меня по голове.

«Хотите скажу,— говорила она,— как я вас узнала? Сперва вам будет немножко неприятно, зато потом, ну сами увидите (она все время называла меня на «ВЫ»). Я не возражал, зачем играть в молодость?). Того лысого начальника звали Егор Константинович. В начале июня в прошлом году остановилась возле стекляшки черная «Волга». Егор Константинович зашел взять сигарет и боржоми. Шофер с авоськой стоял сзади. Мне кажется, он не притворялся и действительно просто зашел за сигаретами. Люба — буфетчица — отлучилась, и я их обслужила. Он узнал меня, поздоровался, пошутил насчет того приключения. А потом говорит: «А теперь можно я к вам с просьбой обращусь? Выполните?» Я говорю: «С удовольствием». Егор Константинович говорит: «Просьба странная, не удивляйтесь. Мне вас сам бог послал. Мы сегодня большого писателя принимаем. Будут люди искусства. Нам хозяйка нужна, что постороннего человека звать? Поедете?» Я говорю: «Я на работе». А он, как в тот раз: «В 22.00 за вами будет машина. Сюда. Продукты все на месте. И официант будет, но лучше, если женщина накроет и поставит. Поедете?» Я говорю: «Поеду».

Опять, как в тот раз, крепко руку потряс. «Спасибо,— говорит,— это по-нашему».

В десять часов стою у стекляшки. Одеюсь, нарядилась. Подъезжает «жигуленок», и вылезает из него... Валерий Иванович. Я похолодела. Но Валерий Иванович вежлив, корректен: «Добрый вечер! Не сердитесь на меня за тот случай. Перебрал я. Я от Егора Константиновича». Я спрашиваю: «Мы куда едем?» — «Да тут рядом. Тридцать километров, пятнадцать минут. Вы купальник взяли?» — «Зачем?» — «Да на всякий случай... Давайте садитесь, быстренько к вам, захватим купальник».

Едем ко мне. Я не знаю, ну секунд тридцать ехали. Машина у него прямо летит. Взяла купальник. Едем.

Я говорю: «Объясните все-таки, куда едем? Егор Константинович сказал, писатель какой-то приехал». Он говорит: «Ну да...» — и назвал фамилию. Фамилия известная — С. (не знаю, к кому попадут мои записки, и потому не пишу фамилию полностью). «А купальник зачем?» — «Так мы ж в баню едем». — «Как в баню?» Он: «В сауну, в сауну... — смеется. — Но там все как надо. Это только говорится — баня, а там комплекс целый. Это база олимпийская».

А машина летит. Даже на крутых поворотах Валера скорости не снижает. Занесет машину с визгом и точненько — на свою колею. Я вздрагиваю. Он говорит: «Не бойтесь, я профессионал, мастер спорта, не ушибу. Спешить надо, опаздываем. Машину соберетесь покупать — обратитесь, научу. Надо сразу с заносов начинать. Без заносов — это не езда...» А на спидометре — сто двадцать. Сперва я понимала направление, а потом сбилась — по каким-то проселкам поехали.

И вот три одноэтажных домика в лесу. В одном, самом большом, окна светятся, дым из трубы идет. Лягушки квакают. Идем по сырой траве к домику. Входим. Стены из хорошо отесанных бревен. Длинный стол, широкие тяжелые лавки, дверь, тоже тяжелая, добротная, в следующую комнату, на крючках много одежды висит. Под одеждой на лавке гитара в чехле. За пустым столом странная компания. Молодой бородастый в тертом джинсовом костюме, с безумными глазами, и две девицы — одетая, в очках, другая практически голая — бикини и лифчик типа «намек», с длинной сигаретой в руке. Обе — как картинки.

Валерий Иванович бегло назвал наши имена, открыл

дверь в предбанник. Оттуда пар и невнятные голоса. Он крикнул: «Боря, где продукты?»

Из пара выскочил парень в плавках и, не взглянув ни на кого, целеустремленно пробежал на улицу. Вернулся с двумя большими мешками с надписью «САБЕНА». Поставил на стол. Начал распаковывать. Валерий Иванович говорит: «Ты печкой займись, а тут хозяйка разберется», — и на меня кивает. А в это время сам уже расшнуровывает мешки и пошел тягать водку, бутылок десять. Я помогаю. А помогать-то нечего — все готово. Мясо жареное в целлофане, капуста в кастрюльке, ну и всякое там — хлеб, уже нарезанный, свежий, огурчики, помидорчики — в мешочках... Резиночками все мешочки прихвачены, и, как корона, литровая банка маринованных грибков, мелких. И крышка на банке притертая. На полке нашлись тарелочки, вилки, стаканчики граненые. Все впятером работаем, и слюнки текут. Ставим, готовим. Валерий Иванович покрякивает. «Надо бы раздеться, ребятки, — говорит, — для глубокого переодевания кабина налево».

Когда я вышла в купальнике из душевой, Валерий Иванович схватил меня за руку и потащил по коридорчику мимо печки, около которой колдовал на короточках Боря, мимо белой горячей двери в самую сауну — на другой конец домика. Мы вошли в сырой холодный тамбур — дверь на улицу распахнута. Маленькая лампочка над дверью скудно освещала троих полуголых мужчин, стоявших возле газовой плиты. На плите, во весь ее размер бак, и в нем кипело — все четыре конфорки горели. Приторно пахло ухой и газом. Три голые спины — немолодые, крепкие, жирноватые, и каждая по-особенному искалечена — страшные, хоть и давние, кривые глубокие шрамы, вмятины, рубцы. Прямо история Великой Отечественной. Я сразу почему-то о войне подумала. Это, наверное, потому еще, что двое были в длинных черных трусах до колен. Мне казалось, такие давно не носят. В войну носили и в футбол в них играли. Один из «футболистов» повернулся и оказался Егором Константиновичем. Сказал невнятно: «Опоздали! Мы уже сами тут... Ничего... сейчас уже все...»

Второй был сильно волосатый, в плавках. Повернулся, у него и грудь вся исполосована. Сказал: «Будем знакомы! Это хозяйка, да, Егор? Я Аркадий

Львович, но зовите меня Аркаша, мне так приятно. Пусть лучше я буду не гордый, чем я буду немолодой! А?»

Третий, тоже в футбольных трусах, не замечал меня, смотрел в свою кастрюлю и помешивал деревянной ложкой. Он и был писателем, как я поняла.

«Д-давай! — сказал писатель неожиданно высоким голосом и с легким заиканием. — Д-давай лук и специи!»

Аркадий кинулся в угол и притащил таз с нарезанным луком и какие-то маленькие пакетики.

«Специи-шмеции, безумное дело», — выкрикивал он. «С-сыпь!» — крикнул писатель.

«Это Сергей Васильевич», — шепнул мне на ухо Валерий. Он был не очень похож на себя, каким я его по телевизору не раз видела и на портретах.

Потом ели уху, и уха была вкусная. Очень много выпили. Аркадий сыпал анекдоты как из мешка. Хохотали. Парились, ныряли в пруд, в черную ледяную воду, в которой барахтались, касаясь наших тел, ондатры. Снова парились. Включили транзистор, и Аркадий до коллик смешно танцевал. Потом крикнул: «Ша! Тихо! Юра, для души!»

Бородатый Юра, который единственный из всех так и не разделся и безучастно сидел в углу, взял гитару и запел слабым голосом. Пел свои песни. Грустные и злые. Помню, были слова:

В темноту превращается свет,
В тишину превращается грохот,
Ничего, ничего, ничего, ничего уже нет,
С нами кончено! Все! Наступает другая эпоха.

И про черного человека. И про жлобов, которые командуют. При этом Юра ненавистно поглядывал на писателя.

Не вымораживают зимы,
Как вымораживает ложь...
По черной лестнице добрался
Ко мне мой чертов человек... — и т. д.

Егор Константинович кричал, что это упадничество, Аркадий восхищался. Писатель слушал внимательно и ругань Егора Константиновича останавливал. Говорил: «Постой, постой, это надо знать, все надо знать...»

Потом сам писатель пел казацкие песни, и одна из

девиц, Вера кажется, обнимала его за шею и целовала в щеку. Аркадий рванул очень смешные похабные частушки, а потом — «Сегодня праздник в доме дяди Зуя», и плясал фрейлехс, оттягивая кожу на груди как лацкан пиджака. Валерий Иванович всем подпевал. Он на удивление знал все песни — и казачьие, и частушки, и даже Юрины, собственного сочинения. Егор Константинович запьянел и уснул на лавке. Аркадий рассказывал, как Сергей Васильевич ловил сегодня эту рыбу для ухи — никто в речке давно ничего поймать не мог, а он вот двадцать крупных. Сергей Васильевич сказал странный, но сильный тост: «За породу!» Говорил, что любит людей, но что люди должны быть породистые, и мы все породистые. Аркашка еврей, но все равно он нашей породы, и так далее. Отдельно и как-то очень возбуждающе сказал о женской породе... и все такое.

Я глядела на всех нас, голых — на пышущих девиц со все понимающими глазами, на Валерия Ивановича, знающего слова во всех песнях, на искореженную спину спящего Егора Константиновича, на хохочущего Аркадия, — и думала: правда, есть в нас порода. Только Юра был без породы. Он сидел, бледный от выпитой водки, и бескровными губами мелко отхлебывал лимонад.

Ко мне писатель за все время ни разу не обратился. Но я чувствовала, что это маневр, что он видит меня, все время видит. Честно скажу, он мне понравился. В нем была сила и определенность.

...Потом туман. Кажется, бегали по холодной траве босиком друг за другом. В прятки играли. Потом опять сауна. Сто тридцать градусов. И мы, обливаясь потом на верхней полке. С Сергеем Васильевичем. Он вдруг взял за руку крепко: «Поедем со мной завтра в Москву, девочка!» Я ахнуть не успела, а он зашептал жалобно и заикаясь: «Надо, надо мне это... надо, пойми меня, м-милая... Н-н-не откажи... Надо мне тебя», — и бормочет, бормочет с закрытыми глазами. У меня голова кругом пошла. Охмурил. Влюбилась, кажется. И пошла карусель.

Я вам все рассказываю, не обижайтесь. Этот угар прошел навсегда, и, если бы его не было, я бы вас никогда не узнала. Слушайте дальше.

Ехали мы с ним в международном вагоне, в отдельном купе. В Москве поселил меня в гостинице. Приез-

жал каждый день. Ездили в загородные рестораны и к разным людям. Везде ждали, везде были рады, что мы приехали. Почти всегда третьим — Аркадий. Он и за рулем, он и достать, он и организовать. Потом опять поезд, опять отдельное купе — командировка в Ленинград. Гостиница «Астория», и номера рядом. И снова Москва. Говорил, что поедем вместе с Болгарией. Он нравился мне. Кроме одного — в компании, а иногда и наедине он все чаще читал мне свои стихи. Про разные страны, где бывал, про родную деревню, которую не забыть никогда, про то, что к пятидесяти начинаешь понимать истинную цену вещам и людям, и про породу. Про рабочую породу, про крестьянскую породу, про шахтерскую породу, про всякую породу. Стихи были не то что плохие, средние, но чем-то до того похожие одно на другое (может, просто в размере дело — он всегда одним размером писал), что через некоторое время, как он только первую строчку начнет, — на меня зевота нападает. Ну ничего не могу с собой поделать. Он не злится, а страдает. И еще читает, и в глаза смотрит жалобно, как собака. Я и книги его почитала — военные дневники, путевые заметки, пьесу — это совсем скучно. А ведь он знаменитый. И в компаниях другие писатели хвалят, находят, что образно, сильно и точно. Похвал у него по горло, а он все на меня жалобно смотрит. Патология какая-то! Постепенно вся моя влюбленность в жалость превратилась. Жалость к здоровому, богатому, знаменитому, чуть ли не самому главному мужику. Ну просто патология!

Раз он прочел стихи. Я молчу. Он сам стал их ругать, но, чувствуя, ждет, чтобы я возразила. А я говорю: «Бедный мой!» — и обняла его. Он оттолкнул и так рассвирипел, что я испугалась. А вообще он щедрый. Ко многим щедрый. Помогал. Хлопотал по чужим делам. Связи у него мощные — почти всегда добивался. Аркадий мне рассказал: в сорок девятом его, Аркадия, арестовали (ни за что, разумеется, ошибочно). А Сергей Васильевич его вырвал, спас. «С тех пор я его раб на всю жизнь», — это Аркадий так говорит. И правда, раб. Иногда жутковато становилось от его любви и преданности. Казалось, он за Сергея и убить и предать может.

И все, с кем он меня знакомил, были его друзья, и такие друзья — в огонь и в воду! Все были ему чем-то обязаны, серьезным, жизненно важным. Может, не

как Аркадий, но вроде. И он в них нуждался — все связи использовал, чтобы помочь человеку, и любил, когда благодарили. И эти спасенные становились его новыми друзьями и новыми связями. Он очень умел любить тех, кто его любил.

Врагов я не видела. Но были и враги. О них говорили. Зло и неистово, в один голос. И часто говорили о каком-то критике, которого особенно ненавидели. Называли его Рильке. Я думала, фамилия такая. И вот однажды сидели большой компанией на даче. По телевизору что-то объявили, и вдруг все всполошились: «Ну-ка, ну-ка, послушаем Рильке!» Появляется на экране усталое лицо, умные глаза, удивленные, открытые. Говорит человек хорошо, интересно говорит. А они от каждой фразы прямо вскрикивают и обзывают его, и даже матом. А он говорит, прямо им — он-то не слышит этого. Кошмар какой-то! Потом внизу титр — «Литературовед В. А. Вангель». Я спрашиваю: «Почему же он Рильке?» Загоготали! Оказывается, этот Вангель написал когда-то статью о Рильке, а им почему-то сама фамилия Рильке звучанием ненавистна. Вот и прозвали. Человек на экране говорит им, а они клокочат. И тогда поняла я простую вещь. Он говорит о хороших поэтах — это и по цитатам понятно, — а мой Сережа — не хороший поэт. И простая тут зависть, а не какая не порода. Но ведь одно дело в душе завидовать, а другое — вслух и целой компанией. Да еще власть иметь и тут же решать, как ему глотку заткнуть, книжку закрыть, жизнь испортить. (И все вслух, без обиняков — они прямо этими словами говорили...) А на столе икра, и машины с шоферами ждут каждого. И любовницы, наверное, у каждого шикарные, вроде меня... Ладно, подробности той ночи вспоминать не хочется. Но дошло у нас и до пощечин в гостинице «Украина». Он просил, умолял, плакал... бить пытался. А у меня рвота началась. От отвращения. Рвало меня всей этой икрой, ухой, запахами двухместных купе. Уехала. Затаилась. И вдруг вы в стекляшку являетесь...»

Вот что она мне рассказала. Вот откуда все странности нашего знакомства. И смутно у меня на душе. Всю неделю нашей любви и совместной жизни я чувствовал ее отношение как дар божий. Я черпал силу в беспричинности ее любви — просто полюбила меня молодая женщина, потому что я вот такой. Ни малейшей корысти

нет в этой любви и никакого рассудочного оправдания. И вот нашлись причины, истоки...

Нет-нет, я не сомневаюсь. Теперь уж никогда не буду в ней сомневаться... Но... все-таки... «Она, видно, меня за муки полюбила». Это хорошо, это прекрасно, благородно... А так бы хотелось, чтоб совсем ни за что. Не зная раньше... как Маргарита Мастера. Она ведь потом узнала, что он Мастер, а полюбила так, вдруг и целиком. Одной догадкой.

Теперь я рассказал все. А все-таки лучшая минута в моей жизни, когда я утром ждал ее. Зеленая клеенка, белая бутылка, зайчики на стене. И за окном слышен звук пилы. И целый день впереди до того момента, как она досказала мне свою историю».

«Мне ни разу, ни секунды не было скучно с ним. А в тот день мы вообще просмеялись с утра до вечера. Он фантазировал, как наша история выглядит со стороны — с точки зрения Сквирского, с точки зрения Вальки, с точки зрения моего начальства. И до того это было смешно и точно. Хохочем оба, не остановиться. Он говорит: «Много смеемся, много смеемся! Не к добру!» — и мы стучали под низ стола, чтобы напасть отогнать, чтобы не зачлось нам наше счастье.

Часов в десять вечера звонок. Открываю — Карелин, бандюга, в дверях. Глазки узкие. Перегаром несет. Мерзкая рожа. А волосы прилизаны, галстук хорошо завязан, часы дорогие на руке. И от всего этого рожа еще более мерзкая.

— Ты что про меня, паскуда, Вальке наплела? Чего она от меня морду воротит? Она у тебя тогда ночевала?

Я говорю:

— Иди проспись.

А Карелин ровным голосом:

— Ты, блядища, меня не трожь! Чего Вальке наболтала? — и трехэтажным.

Выскочил из комнаты Вадим Александрович:

— Что тут происходит?

Карелин ровно говорит:

— Ах вот кто у нас баб баламутит! Ясно-ясенько! — И ржет.

Вадим Александрович говорит:

— В чем дело? Кто вы такой?
А Карелин смеется:
— Ясненько! Вон откуда все! Знакомая харя. Я вашу породу знаю!
Вадим Александрович:
— Уйдите!
А Карелин:
— Заткни хавальник!
Тогда Вадим Александрович рванулся:
— Вон отсюда! — и толкнул его рукой в грудь.
А Карелин боксерским ударом, снизу — крюк он, что ли, называется, — в солнечное сплетение. Вадим отлетел к стене и сполз по ней. И сип какой-то страшный. Не из горла, а прямо из легких. Я к нему кинулась, а Карелин медленно подходит, — я еще запомнила: сверкают ботинки — красное с зеленым на толстой подошве. Вскочила и на него с кулаками. Бью. А он не защищается. Смеется:
— Счас я кончу твоего старика...
Я говорю:
— Уйди! Уйди, умоляю! Уйди, гад! Что хочешь отдам, только уйди, умоляю, гад!
Он смеется и ровно говорит:
— Дай десятку.
Я кинулась к пальто — оно тут же на вешалке висело. Шарю по карманам и нашла. Держу десятку в руке, смотрю в эти узкие глазки — и со всей силы открытой ладонью с этой десяткой ему в рожу. Только руку ушибла — как о бревно ударилась. А он зубами десятку ухватил, оскалился, носом пошмыгал и, не выпуская десятку, «пока!» — говорит. И ушел.
Перетащила я Вадима в комнату. Немного пришел в себя. Хотела «скорую» вызвать — он ни в какую:
— Мне лучше, мне лучше.
Вроде и вправду лучше стало — дыхание нормальное, двигается. Но лицо серое-серое.
Потом даже совсем ничего. Даже ужинали за столом. Он опять шутить пытался, но уже не смешно было. Легли. Обнял он меня, налег, а я чувствую — его озноб колотит. Выскользнула.
Говорю:
— Врача надо, — и одеваюсь.
А он:

— Утром, утром! Иди сюда. Дай же мне с тобой последнюю ночь побыть.

Я заплакала. Сели рядом.

— Больно? — спрашиваю.

Он говорит:

— Иди ко мне.

А я:

— Лежи, лежи, я тут, я с тобой... (Или я его на «ВЫ» называла? Нет, тогда на «ТЫ».) — И глажу по голове и целую. Он сдался. Утих.

Потом говорит:

— Я тебе целый день рассказывал, веселил тебя, а у тебя вон, оказывается, какие знакомые. За это ты мне теперь рассказывай. (Господи, что ж я, уже забываю, что ли? Значит, и он меня на «ТЫ» звал? или нет?)

Я говорю:

— Лежи, лежи.

И стала рассказывать, как впервые узнала про него. Он молчал. Говорила я долго. Он так ни слова и не сказал. Я и не знала тогда, дослушал он до конца или нет. Убаюкала.

Утром лучше не стало. Он дал мне телефон, и я позвонила с почты в больницу Ленина доктору Раскину. Раскин сказал: «Привозите». Ехали на такси — Володя Гушин через милицию вызвал. Про Карелина я Гушину не сказала. В такси мы сидели обнявшись. Он шутил, пел, как акын, — что вижу, про то пою: «Вот ма-а-ашина быстро едет, вот тридцатый ки-и-илометр, ой, везет ма-а-ашина пылкого любовника, ой-ой-ой, да в бе-е-лую больницу».

Мы простились в приемном покое. Чувствовал он себя прилично. Обнял меня и говорит:

— Иди, иди.

Я говорю:

— Я буду ждать.

А он говорит:

— Чего ждать-то? — Потом Раскину: — Вот, Максим Семенович, это моя любимая женщина.

Я заплакала и убежала.

К нему меня не пускали. Я познакомилась с медсестрой Людой, Раскину звонила, записки ему писала — все равно не пускали. А жена ходила — два раза я ее

видела. Не знаю, заметила меня или нет, — смотрела она прямо перед собой и вниз, и темные очки на глазах.

Один раз Люда передала мне от него записку:

«Не надо тебе сейчас меня видеть. Не надо. Я все помню. Твой В.»

Я добилась приема у Раскина. Мне показалось, что он смотрит на меня с любопытством и осуждением. И тоже сказал мягко:

— Не надо вам сейчас его видеть. Он нервничает.

Я спросила, рассказал ли ему Вадим Александрович про удар, про Карелина.

Он сказал:

— Да.

Я спросила:

— Это из-за этого все?

Он отвел глаза:

— Видите ли, организм вообще расшатан... нарушено равновесие... И потом... мы будем оперировать. После операции я пушу вас. А сейчас не надо. Поверьте! Извините, меня ждут.

Я решила убить Карелина. Всерьез. Я не знала, как я это сделаю, но уверена была, что придумаю. Пошла на базу тралового флота, чтобы сказать ему, что я его убью. Зашла к диспетчеру. Спросила. Он странно посмотрел на меня:

— Зачем вам Карелин?

Я говорю:

— По делу.

Диспетчер сказал, что Карелина забрали в милицию, и назвал тот самый день, когда он к нам приходил. Сказал, что на этот раз сядет крепко — натворил что-то серьезное. Мне стало обидно, и почувствовала я себя совсем ненужной.

Двадцать второго была операция. Я работала. Звоню в больницу, а там все занято и занято. Как назло. Дозвонилась только около часу, а операция в десять началась.

Спрашиваю:

— Как состояние Вангеля?

Отвечают:

— У нас такого нет.

Я кричу:

— Как нет! Вы посмотрите, он на операции.

Говорят:

— Нет такого, звоните в справочное.

Оказалось, телефонистка на коммутаторе соединила со второй хирургией, а он-то лежит в первой. Дозвонилась в первую. Прошу Людю.

Она говорит:

— Кто это?

Я говорю.

— Я.

А она плачет в трубку.

Примчалась в больницу, к Раскину.

Он говорит:

— Нельзя было ничего сделать. Оперировала Холодова. Я присутствовал. Ничего нельзя было. — Курит, и рука сильно дрожит.

Я говорю:

— Где он? Скажите мне, где он? Покажите мне его, я не уйду без этого.

Он говорит:

— Пойдемте.

Пришли в морг. Стоим смотрим. Курим.

Раскин говорит:

— Я очень любил его.

Я спрашиваю:

— Да? — А потом закричала: — Не надо было мне его видеть? Не надо было? А это мне надо видеть? Надо мне видеть это? Надо? — И остановиться не могу.

Раскин увел меня к себе в кабинет. Отпоил. Я полежала и пошла. Зашла в кино. Отсидела какой-то фильм. Ничего не помню — ни что показывали, ни в каком кинотеатре была. Потом иду по улице и вспомнила: Люда Спивак что-то сунула мне в сумку, когда я из больницы уходила. Достала и прочла его листки. Сидела, помню, около Пушкина и читала раз десять подряд. Ничего не понимала.

Панихида была в Доме писателей. Народу пришло очень много. Были и знакомые лица, знакомые по прошлой моей жизни. Здоровались. Наверное, считали меня своей, особо не задумываясь, мол, я здесь с кем-нибудь. К гробу я не подошла. Там неподвижно сидела жена, зажав руки между колен. Около нее — седой человек с большим добрым лицом. Все время наклонялся к ней, что-то говорил и обнимал за плечи. Кто-то играл на рояле. Очень хорошо. Речи говорили.

Потом вдруг седой оказался около меня и заботливо спросил:

— Как вы себя чувствуете?

Я говорю:

— Нормально.

Он мягко взял меня за руку и вывел на мраморную лестницу:

— Могу я вам чем-нибудь помочь?

Я удивилась:

— Нет,— говорю,— все нормально.

Он говорит:

— Вам лучше уйти сейчас. Вы извините, но не надо вам сейчас здесь быть... Понимаете... его жена...

Я говорю:

— Понимаю.

Вдруг выходит на лестницу молодой, в очках, с большими залысинами. Он тоже близко к гробу стоял. Говорит:

— Не надо, дядя Коля, не надо.— Потом мне:— Если хотите, вы можете поехать на кладбище. Во втором автобусе. Там будут места,— и ушел.

Седой сказал:

— Извините меня. Если хотите, поезжайте.

Я сказала:

— Да что уж теперь... А этот, в очках, кто был?

Седой помолчал, уставившись на меня. Потом сказал:

— Андрей Вадимович.

Все. Все я рассказала. Говорят, у писателей ценят каждую строчку архива. Вот у меня много его строчек. Жалко, я дневник порвала. Я сразу пожалела и потом разглаживала страницы. Но несколько последних — совсем в клочки. Это я на него единственный раз тогда сердилась за то, что он обо мне в третьем лице и так наблюдательно-холодно пишет.

А последняя его запись — неверная. Не понял он. Я его так и полюбила, как он хотел. Как Маргарита Мастера. Точь-в-точь. А он не поверил.

Что же делать с этими страницами его? Куда их деть? И куда мне от них деться? Господи, не у кого спросить. Только он мог мне ответить. А теперь уж никто никогда ничего не скажет.

Сегодня 4 февраля. С утра идет снег. Все засыпано. Фундамент дома 3-а со всеми железками и начатыми да брошенными стенками исчез под снегом. Ровное высокое место. Сейчас половина двенадцатого. Ладно, подождем до весны».

Лена

1974—75 гг.

III. В БЕЗВРЕМЬЕ

1

По пятницам на даче у Лисянских обычно собирались очень интеллигентные люди. Много говорили о беге. Сам Николай Владимирович три года назад буквально убежал от инфаркта. Врачи говорили «ПОКОЙ», а он бегал, врачи говорили «НА ГРАНИ», а он трусцой до соседнего поселка и обратно. И выиграл. Убежал. Правда, через полгода, уже зимой, когда не бегал, а плавал в бассейне, трахнул такой инфаркт, какого врачи даже и не ожидали. Теперь Николай Владимирович сам не бегал, но другим советовал и поговорить о беге любил.

Бегали — зять Николая Владимировича (тоже Николай Владимирович), его (зятя) мать Марина Иосифовна, сводный брат Артем. Все еще бегала сестра старшего Николая Владимировича Вера Владимировна, но меньше, чем прежде. Бегали многие соседи и сослуживцы. Худо-бедно, но бегали почти все из сегодняшних гостей, в том числе я.

— Не знаю,— сказал доктор Клейман, лечивший Николая Владимировича от того самого инфаркта,— не знаю почему, но бегущая женщина вызывает у меня жалость и насмешку. Я могу понять мужчину. Тут самоутверждение, укрепление мышц, надежда на усиление потенции, короче, дань древнему культу силы. Но женщина! Не понимаю. Если бы мне нравилась женщина и вдруг однажды я увидел бы, как она на рассвете в этом неэстетичном трикотаже, в тапочках или этих кроссовках трясет своими формами, думаю, все было бы кончено. У женщины от природы укороченные ноги. И то, что женщины ходят на каблуках,— величайшее

достижение цивилизации. Надо ценить это. Женщина не должна опускаться на землю...

— Бывают женщины с длинными ногами,— проговорил физик Шальнов, наливая себе в рюмку коньяк.

— Относительно длинными! — воскликнул Клейман.— И все равно — каблук украшает любую женщину. Не серьги, не кольца, которые вообще, по-моему, мерзость, а каблук.

— На пляже вам, значит, женщины тоже не нравятся? — пронзительно спросила Нина Шальнова, глядя на Клеймана сквозь сильные очки и густой дым от дурно горевшей сигареты.

— Терпеть не могу.— Толстые губы Клеймана сложились в презрительную улыбку.

— Ну а вообще раздетая женщина? — Нина загасила сигарету и сильно дунула в воздух, разгоняя дым.— Или для вас все надо снимать, а каблук оставлять?

— Ну-ка, налейте там Драгомиру и Риммочке.— Николай Владимирович встал и протянул бутылку через стол, разделяя спорящих.

Но Нина продолжала пронзительно скрипеть:

— Не слишком ли много условий, чтобы вам понравиться? Что-то тут не в порядке.

— Ну хватит, тут дети,— сказал Николай Владимирович.

— Ничего, ничего, нам интересно,— прозвучал грудной голос семнадцатилетней Вики, дочери полковника инженерной службы Андрея Андреевича Спелова, минут десять назад побежавшего на станцию встречать жену.— Правда, нам интересно, Вадик?

Вадик Шальнов снял очки, стиснул зубы и побледнел. Нина Владимировна внесла кастрюлю с вареной картошкой. У Лисянских кормили просто и добротню.

— Человек должен бегать. Бег запрограммирован в нем, как во всяком живом существе. Это одно из естественных состояний,— говорила она, шмякая на тарелки желтые дымящиеся бомбочки.— Тот, кто только лежит, сидит и ходит, перестает быть природным существом. Отсюда и болезни, и хандра, и все прочее. И это, Марк Семенович, одинаково относится и к самцам, и к самкам.

— Да надо просто форму держать,— мелодично пропела красавица Римма и подвела раскрытые ладони под собственный бюст, показывая, как надо держать

форму.— Чтобы живот не висел, чтобы жиры не тряслись как студень.

— Как врач и как мужчина, я тебе скажу, Риммочка, с полной ответственностью: всякий орган от упражнения растет, а не уменьшается. Никто еще не худел от бега. От бега только потели. А чтобы похудеть, надо, миленькая, хлеба не есть, от этой картошечки, которую ты пожираешь, отказаться.

— За всеобщее похудение! — поднялся с рюмкой в руке коротенький стокилограммовый Драгомир Пенальтич, поэт сербского происхождения.

Все засмеялись и выпили.

Под картошку со шпротами хорошо пошел разговор о голодании. Одни отстаивали полуторасуточное голодание еженедельно. Другие держались недельного голодания раз в три месяца. Коля (Николай Владимирович — младший) в принципе не возражал против длительного голодания, но при соблюдении твердых правил.

— Клизма! — кричал он.— Ежедневно двухразовая клизма. А иначе это все самодеятельность.

— Это правильно! — низким басом пророкотал Пенальтич.— Голодающий без клизмы — какая-то насмешка над голодом. Голодающий с клизмой — уже профессионал. А с двумя клизмами — мастер!

Все снова засмеялись и выпили.

Жена Шальнова зачитала какую-то сложную американскую диету для кинозвезд. Но сбилась, потому что диета была записана в ресторане на бумажной салфетке. Салфетка еще долго належалась в сумочке, натерлась среди дамского хлама, и буквы стали разрушаться.

— В девять утра — пол-апельсина,— с трудом читала она,— в одиннадцать сорок пять — стакан молока... без масла и... шесть слив...

(Шальнов резко наклонился над столом и затрясся от злого хохота.)

— ...До пяти вечера — ничего, даже воды... А в пять — стакан гранатового сока с медом и лимонной кислотой...

Потом пошла совсем ерунда, и когда Нина Шальнова, вплотную прижав салфетку с бледным текстом к толстым стеклам очков, произнесла «на третий день...

ночью — два стакана бульона...», стали смеяться все, а Николай Владимирович утирал пухлыми кулаками слезы и кричал сквозь смех:

— Хватит, Нина! Второй инфаркт сейчас будет. Хватит!

— Надо о беге думать! — говорил Шальнов за чаем с тортом. — Нельзя бежать и одновременно думать: достать новую резину — металлокорд или ехать наваривать на Сиреневый бульвар? Бежать и думать о беге! Не о том, что еще пять — десять минут, и бег кончится, и можно будет блаженно ступить на полную ступню. Нет! Само мучение бега должно превратиться в удовольствие. Бегу и еще хочу. Уже не могу, но хочу. Хочу и начинаю мочь. И тогда уже трудно остановиться.

Чай отхлебывали. Коньяк пили. Заплетались разговоры. Озарялись мысли и перемешивались языком в невнятицу. Ползли обиды изнутри. Но давили их — зачем? кому нужно?

— Нет, про это не надо... я про то, что вам всем интересно... Понимаешь? Понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю. Я-то понимаю.

— Врешь ты. Как ты можешь понять, если я сам не понимаю, к чему я клоню. Молча все вижу. Объемно и ярко. А попробуй выговорить — мутнеет. И тогда начинаешь к чему-то клонить. И клонишь, и клонишь... до того, что самому скучно продолжать. И к чему клонил — забывается. Все в тупик... О чем мы? А, да! Мы о беге... едином и вездесущем...

— ...

Коля говорил:

— Мой шеф бегаёт утром пять километров и на ночь два! И теннис в обеденный перерыв. Жена молодая. Книжки пишет. На концерты ходит, по-немецки разговаривает. Шестьдесят четыре года. Седина красивая, лысины нет! Любовница есть, и не одна... Ну где мне взять силы, чтобы его догнать? Нет у меня сил!.. Денег не хватает. Я же много зарабатываю — тут, там, то се... а все равно не догнать!

— Да уж, убежать и догонять хуже нет. У кого заварено, у того заварено!

— Вот это верно! Из яблока ананас не сделаешь! Никому не нравится быть толстым. И так и сяк, и до

пота, и до кондрашки... Но не могут же все стать худыми...

— Почему не могут, собственно?

— А вот не получается же! Сам видишь.

— Да не вижу... Вроде как раз получается.

— Да пошло оно все к такой-то матери! И бег, и каратэ это подлое, извини, Вадик, это не про тебя... и вся наша ежеминутная забота о здоровье, об удобствах.— Это говорил я. Звали меня Борисом Бобровым, и я тоже сидел за этим столом. Зло вдруг взяло на себя и на всю нашу пожилую компанию.

— Нет, дядя Боря, это вы н-н-н-не то, н-н-н-не так.— Вадик Шальнов был бледен, даже бел... как мороженое, которое он в это время поедал... — Ка-ка-каратэ — это н-н-н-не только мышечная тренировка и даже н-н-н-не только п-п-психологическая. Эт-э-то способ жизни!

— Выживания! Способ выживания! — закричал я и со злости налил себе еще коньяку.— Чертовщина. Чертовщина! Это же все со страху. «Голая рука!» «Синяя нога!» «Самозащита без оружия!» Боимся друг друга, вот и тренируемся... до инфаркта... Ты прости, Николай Владимирович, это не про тебя...— Я налил коньяк, хотел заесть ореховой верхушкой торта, но вместо этого, уже держа корку торта в ложке наизготове, опять заговорил в повышенном тоне:— Все тренируем — руки, ноги, шеи, кишки. Все, кроме мозгов. Кроме собственного дела, профессии. Строитель должен в строительстве тренироваться. И только. Аптекарь — в лекарствах. Инженер — в инженерном деле. Вот как музыканты. Или как халтурщики, которые двери обивают. Потому у них и качество... (Я уже чувствовал, что тупик близко, и у самого возникали возражения всем моим выкрикам, но остановиться не мог.) А вот нет! Все бегают. Все курить бросают. Спичку на улице не допросишься. «Я бросил!», «Я бросил и вам советую!» Жуть! Всеобщее соревнование, кто дольше проживет. Зачем? Можете себе представить Чехова, каждый день играющего в теннис? В пенсне, с бородой. А он же молодой был. Мы-то постарше. А уж Колин шеф ему в отцы годится. Или Гоголь три раза в неделю в бассейн ходит. И брассом, брассом! В шапочке резиновой! Или Крылов бегаёт возле решетки Летнего сада, чтобы похудеть...

Уже смеялись, а я все еще злился.

— Так они, дядя Боря, верхом ездили, фехтовали, гири поднимали...

— Кто, Гоголь фехтовал? С кем? Чехов, что ли, верхом ездил? Он писал и лечил людей. И все.

— И что? — крикнул Коля. — И умер. В сорок лет. И нет Чехова.

— А твой шеф еще шестьдесят проживет, еще трех жен сменил. Зубы новые из фарфора вставит — и пошел целоваться по новой! И еще пара сотен таких, как ты, будут за ним гнаться и завидовать. Вот я тебя тоже спрошу — и что?

— А Пушкин? — спросил Николай Владимирович. Он снова плакал от смеха и тер глаза кулаками.

— О-о! Пушкин, да! Тот и верхом, и бегом, и вплавь. И в пинг-понг и в бадминтон. (Я вдруг действительно очень ясно представил Пушкина с легкой бадминтовой ракеткой в руке. И это было убедительно и опровергало все предыдущее.)

— Так что отсюда следует? — спросил Шальнов.

— Отсюда следует, что Россия — родина проблем. Это я давно понял. — Пенальтич стал неуклюже выбираться из-за стола. — Симпатичные вы люди, но тяжелые. Не для меня. Мне-то вы как раз нравитесь. Для самих себя тяжелые. Тридцать лет тут живу, а вот никак не привыкну. Иногда думаю, как все у нас, в Европе, о вас думаю, — вы особо глубокие, вы страдаете, вы открытые, а иногда вдруг кажется — нет в вас простоты. Другим не доверяете и себе не доверяете. Не живете, а обсуждаете жизнь. И критикуете, потому что у вас это признак ума. Ругаю — значит умный. Соглашаться совсем не умеете. Японцы соглашаются по традиции, из почтения. Немцы подчиняются. Англичане не соглашаются, но помалкивают. Французы возражают. А вы вроде и не возражаете, а втихаря ругаетесь. Э! Я сейчас подумал: может, у вас потому так много матерятся, чтобы умным выглядеть? — Серб засмеялся.

Но мы не поддержали его. Как-то обидно он сказал: «У нас, в Европе!» А у нас где?

— Ты что это тут? — раздался голос Пенальтича из кухни. — Дай сюда.

Через раскрытую дверь я видел Вику Спелову, забившуюся в угол драного, сосланного на дачную кухню диванчика. Драгомир вырвал у нее изо рта сига-

рету и брезгливо разглядывал, слегка покачиваясь на слоновых своих ногах.

— Не подражай, глупая! Не смотри на них. Я тебе покажу — курить! Вон какая у тебя грудь. Большая и красивая. Как у матери. Тебе скоро рожать. Не кури. А где отец? Где Андрей? Ушел? Когда?

— Маму побежал встречать.

2

Полковник Спелов бежал лесом. Особенно тяжело дался кусок от последнего дома поселка до трансформаторной будки. Скучный кусок. Улица здесь сжимается в тропу, и по обеим сторонам припахивающее болотце. От будки он круто взял влево. Здесь узкая тропа, вымощенная хорошо пригнанными друг к другу сухими выступами корней, легким уклоном катилась извивами к просеке электроопор. Эти четыреста — пятьсот метров всегда были самыми приятными. И сегодня — тоже. Но тоскливые восемьсот шагов (двойных) до трансформатора что-то слишком измочалили. Вспотел и даже на тропе не отрегулировал дыхание. Ни рюмки нельзя. И накурено у них. Как будто сам полпачки посадил. От просеки опять пошло вверх. Но тут круто, да коротко, а от школы уже видны два ряда огней на платформе. Андрей Андреевич сосредоточился и попробовал мысленно «вынуть пробки». Открылась широкая круглая дыра в диафрагме. Почему-то она всегда представлялась с сеткой-фильтром. Взял вдох вечернего пахучего июньского настоя. На сетке осели соринки и мелкие крошечки гари. Воздух омыл сердце, поднялся вверх и, слегка испачканный желтой внутренней копотью, вылетел через узкую воображаемую дыру правого глаза. Полковник слегка припадал на левую ногу. В подушечке правой уже два месяца как поселилось какое-то неудобство. Какое-то неудобство от присутствия Риммы у Лисянских. Галя опять будет смотреть мимо, демонстративно курить и по праву старой дружбы сидеть в обнимку то с Борей, то с Клейманом. А у него будет нить висок, будет жутко хотеться курить. Вике надо купить горные лыжи. Сейчас. Зимой опять будет поздно. Неужели отпущу ее одну в зимние каникулы? В ноябре восемнадцать. Вадик Шальнов славный, но он ее не интересуется. Она дразнит его. Резко выбросить желто-

черную струю из дыры правого глаза! Думать о выдохе. Выбросить... Выбросить весь прошлый год из жизни. Необходимый откровенный разговор с Риммой. Летнее холостяцкое житье. Галя с Викою уехали в Феодосию. Галя снималась в этом сопливом фильме по Грину. Римма позвонила прямо при нем. И явилась Алла. Зачем я был ей нужен? Ведь она роскошь... действительно роскошь. Не моя, не для меня. Но ведь говорила же, что... да и не только говорила. Это же нельзя сыграть. Это физиология... Или можно? Но зачем? Смешно, что я полковник. У полковника должен быть полк. А у меня отдел и двадцать конструкторов-интеллигентов. И жир нарастает. Сколько ни бегай. И бег тогда же начался. И бег и Алла — как упражнение. Сперва было так приятно. И легко. Так поверилось этому шепелявому еврей-доктору. Вы увядаете. Не пугайтесь слова, но климакс приходит к каждому. К вам еще не пришел, но... Вам надо жить более мужской жизнью. Побольше нагрузок и посмелее. Вы ржавеете от отсутствия новизны. Я люблю Галю, я для нее хотел остаться мужчиной. Алла не моя роскошь, с самого начала это знал... Она всегда... Но почему она так плакала, когда... Ее день рождения восьмого августа. Стареть стыдно. Сам виноват, испортил жизнь. Выдох через сердце. Как раз к поезду.

Но поезда не было.

Подкатил встречный из Кирилловской. Остановился на секунду, мяукнул и тронулся, заныл, застучал, оставив на платформе девицу с чемоданом, который она тащила обеими руками. Андрей Андреевич шагал по своей платформе и все утирал пот — и рукой, и платком, и рукавом тренировочной куртки.

Двое сидели на платформе под фонарем, под столбом света и мошкары. Играли в шахматы. Не играли, а смотрели на доску. Фигуры стояли неподвижно, и игроки сидели неподвижно. На той платформе за двумя путями пьяноватый парень с велосипедом перегородил дорогу девице и что-то бормотал, пытался взять ее чемодан. Подвезти, что ли, хотел? Девица отталкивала его руку.

— Уже на десять минут опаздывает,— вслух раздраженно сказал полковник.

Один из шахматистов поднял припухшее лицо с узкими припухшими глазами:

— Если вы двадцать три семнадцать ждете, то его отменили.

— Когда?

— Вчера еще. Теперь двадцать три сорок одна. Глаза шахматиста смотрели с любопытством. Цепко. А белые подушечки под глазами еще подчеркивали это особое внимание. Второй, толсторукий в бобочке, с металлическими зубами и в металлических очках, не поднимал головы и не шевелился.

— Задачку хотите решить? — сказали подушечки.— По пять рубликов, а? За белых выигрываю, за черных делаю ничью. Вот позиция стоит. Любыми, а? Думать сколько хочешь.

— Нет, я в этом не понимаю.

Андрей Андреевич прошагал к расписанию. Лампочка внутри павильона не горела. Он зажег спичку и поводил огоньком внизу длинной доски. Против «23.17» была наклеена белая бумажка, и жирными буквами — «ОТМЕНЕН». Спичка погасла.

На противоположной платформе опять показалась девица с чемоданом. И велосипедист. Видимо, она вернулась под свет вокзальных фонарей из боязни остаться с ним наедине. Они опять ругались. Девица стала кричать шахматистам через рельсы:

— Мужчины, ну скажите, чтобы он отстал!

Полковника в тренировочном костюме она не видела. Он сидел в темноте павильончика и, невидимый, смотрел на них.

Девица оказалась прижатой к ограде платформы. Парень одной рукой все еще держал велосипед, а другой, правой, слепо водил по ее телу и бормотал неразборчивое.

— Подонок прыщавый! — крикнула девица и толкнула его.

Тогда он ударил ее по лицу. Раз и другой.

Андрей Андреевич соскочил с платформы, перебежал рельсы и легко влез на противоположную. Поступки рождались сами. Без предварительного замысла. Он схватил парня за шиворот тонкой фирмовой куртки и рванул... От неожиданности парень повалился на него вместе с велосипедом. Полковник устоял. На вытянутой руке провел прыщавого по кругу, с удовольствием ощущая физическое превосходство, оттолкнул. Схватил велосипед, поднял и перебросил через ограду

в кусты. Парень пошел на него, пытаясь расстегнуть ремень с тяжелой фирменной пряжкой. И опять как-то удачно полковник ухватил его за куртку, развернул, побежал по платформе, толкая его впереди себя, и наконец спустил с невысокой лестницы. Уже в свете приближающегося поезда. Вывалилась большая компания, и девица с чемоданом растворилась в ней.

Сейчас и Галин поезд должен подойти. По лестнице поднялся на свою платформу. Возбужденный и чуть встревоженный.

Когда стихли шумы электрички, стало слышно, как парень, матерясь, выдирает из кустов свой велосипед.

— Не. Не знаю,— сказал шахматист в очках.

— Ладно, Вова! Гони рублики — покажу. Из пешечки не ферзя, а коня надо делать. Так?! Теперь так — шах! Ты — сюда. И конь встал на место. А теперь пешка вперед. И неизбежно. Так?!

— Ну? Как же неизбежно? А если за черных? Как же ничья?

— Налей. (Звякнул стакан.) За черных! По троячку?!

Андрей Андреевич прошел мимо. А разговор продолжился.

— Может, наказать? — спросил очкастый.

— За черных я играю на «а-4»,— говорил припухший,— и потом...

— Может, наказать? — снова спросил очкастый, скрестив огромные руки на коленях.

— Кого? — рассеянно проговорил узкоглазый.

— Да этого, который Алешу обидел. Слава, ты спроси Алешу, захочет он?

— Можно...— процедил узкоглазый.

— Червончик, и при нем все сделаем. Ты спроси Алешу, может, захочет?

— Теперь играю «h-8», и все. Ничья.

— Пойдем сходим... Спроси его...

Безмолвно показался дальний сноп света. Шла электричка. Полковник стоял на ближнем к поезду конце платформы.

Белые подушечки поднялись, подошли к краю и негромко крикнули в матерящиеся кусты:

— Алеша!

Я думал о том, что исчезли странные люди. Раньше на пляже обязательно было хоть одно сверхпузо. Оно не скрывалось, не пряталось. Оно себя показывало. Владелец обыкновенно был полон остроумия. Не щадил себя, но и других не щадил. Вокруг пуза всегда компания самых хорошеньких девушек. И всем было хорошо. Обе стороны оттеняли друг друга, и каждый ощущал себя кем-то. Определенность была. Раньше бывали хилые люди, карлики, кривобокие, толстозадые, грушевидные, с асимметричными лицами, те, кого дразнили скелетами... Разные бывали. Теперь как-то уравнились. То ли питание лучше, то ли время появилось собой заниматься. Кто очки в пол-лица наденет, кто прическу соорудит... Кто массажем, кто бегом — и подравнялись... И продолжают себя улучшать... сводить к середине. Даже клоуны в цирке стали не особенные — смешные, — а нормальные молодые люди с неизвестно зачем приклеенным тоже нормальным носом, с нормальным голосом. Обыкновенный средний сверхчеловек. И внутри? Ну я-то нет. У меня внутри все разлажено. Может, и у других? Но ведь мы все молчим об этом. Слава Богу! Слава Богу! Что-то буквы пугаются. Не те выскакивают. Я не помню, говорил я тогда об этом или только думал. Кажется, частично говорил. Я вспомнил дядю Кучу — сапожника в полуподвале на углу Свердлова и Трудовой. Это было перед войной. Он был огромной грушей. Он всегда сидел у своего окошка, через которое брал и отдавал обувь. Лицо-груша сидело на теле-груше. Он сопел и смачно дырявил подошву шилом. Смачно заколачивал в дырку деревянные гвоздочки. Он всегда чинил обувь, никогда не делал ничего другого. И угол улицы был живой. Дяде Куче несли туфли, деньги, шкалики водки, куски пирога, бутерброды. Дети любили сидеть около его окна, и каждый занимался своим делом. Потом он умер, и окно заколотили.

Угол стал мертвым, и уже никто не сидел на удобной скамейке. А потом и скамейку украли. И если произносят слово «сапожник», у меня перед глазами давний дядя Куча, а вовсе не тот молодой парень, который за пару рублей сверх берет вне очереди мои ботинки в нашей мастерской и занимается водными лы-

жами. Он не сапожник, хотя чинит неплохо. Он воднолыжник. Обыкновенный средний воднолыжник... и картингист.

Низко над тарелкой, поедая арбуз и выплевывая косточки, Шальнов говорил:

— У меня примерно сорок болезней, как у всякого. Окулист сказал: вам нужно по пять минут утром и вечером заниматься глазами, и дал набор упражнений. Десять минут в день всего! И за зубами надо следить — что подлаешь, пародонтозик. Пять минут массаж. Так! Пятнадцать минут дыхательная гимнастика. От плоскостопия надо бутылку ногой катать. От гастрита — льняное семя заваривать — десять минут мешать ложкой. Шесть упражнений от радикулита. Шею надо разминать. И общая гимнастика. И бег. Бег надо все время удлинять. Все время ушло на поддержание жизни. А жизнь где? Где время, когда хоть какие-нибудь мысли приходят?

— А ты брось все это,— сказал Пенальтич.— Встань утром, закури и мысли.

— Нет, не брошу.

— Почему?

— А не поймут. Это выпад против общества. А я не хочу ни в обидчиках, ни в обиженных ходить. Вот и буду поддерживать жизнь. Попробую тебя пережить.

— Попробуй. Марк, а ты бегаешь?

— Я все делаю,— Клейман катал орешек в твердых губах,— только без расписания. И так вся жизнь по сетке. Надо рушить сетку, а не дополнительную создавать.

Хозяйка, Ольга Сергеевна, молчавшая весь вечер, вдруг рассмеялась:

— Какие мы все старые. И разговоры старческие.

— Но, но! — угрожающе крикнул Пенальтич.

— Разговоры — не возражаю: дурацкие разговоры. А насчет «старые»... Да вроде еще ничего.

— Это вы про что, Марк? — спросила Ольга Сергеевна.

— А вы про что?

— Не про это.

Николай Владимирович поднялся:

— Без четверти двенадцать. Что же Андрей-то?

— Галя после спектакля.

— Ну, после. На десять тридцать две должна выехать. Пора бы уж. Может, они домой пошли.

— Нет. Папа сказал — сюда.— Вика появилась в дверях. За ней — черным жуком со сверкающими линзами очков — Вадим.

— П-п-пойдем встретим,— тихонько заикнулся Вадим.

— Чего встречать? Мамуля не успела, мамуля застряла. На следующей, значит, приедет.

Вот тут я и предложил:

— А правда, встретим их. Пробежимся легонечко. За утро зачтется. Завтра ведь не захочется после перекура.

— Пошли! — резко поднялся Шальнов.— На улицу! На воздух.

Нина погасила сигарету.

— Я бы тоже пробежалась — но спор! Жаль, что на каблуках.

Ольга Сергеевна сказала снисходительно и насмешливо:

— Да кеды у нас на всех найдутся. Этого добра в доме больше, чем другого.

Выволокли груды топтаной обуви. Надевали весело, одновременно, как в музее тапочки. Николай Владимирович тоже стал натягивать.

— С ума сошел?

— Да я легонечко. Что вы меня списываете?

— Ладно. Я рядом побегу. Со мной можно,— сказал доктор Клейман.

Вика взяла гитару и села в углу. Вадим топтался в дверях.

— Бежишь? — спросил Шальнов-старший.

— Да н-н-н-неохота. Б-б-бегите уж сами.

Пенальтич налил себе коньяку и молча поднял рюмку, прощаясь с нами. Мы весело построились, заняв всю ширину Лесной улицы. Нину заметно пошатывало.

— Останься, не надо тебе,— сказал Шальнов.

— Оставь меня в покое.

— Вперед не рваться! Потихоньку. А то мне вас, старички, всех не откачать. Ну, поглядим... Так, двадцать три пятьдесят одна... Сорок секунд... пятьдесят... пошли!

— Салют ненормальным,— крикнул Пенальтич из окна и хлопнул пробкой шампанской бутылки.

На ходу говорить было неудобно. Андрей говорил. За эти пятнадцать минут на платформе в нем снова поднялись к горлу и любовь, и страх разлуки, и ревность. Если бы она не приехала этим поездом, он рванул бы в город. Как был, без денег, в тренировочных штанах. Побежал бы.

— Между нами стена. Я не могу так. Не могу за стеной жить. Ничего не говори, ничего не вспоминай, я люблю тебя. Понимаешь ты это, чувствуешь? Я же старый, Галенька, зачем бы мне впустую такое слово говорить?

Галя молчала. Но не враждебно. Он знал это. По дыханию. По руке, которой он изредка касался на ходу.

Дошли до развилки возле школы. В школе светилось одно окно. Тут их обогнал велосипед с двумя пассажирами. Полковнику померещилось, что на багажнике, растопырив ноги, сидит прыщавый, но велосипед уже проехал и свернул на тропу. Хрипло брякнул звоночек — тряхнуло, на корень наехали. И исчезли в темноте. Полковник остановился и почему-то подумал, что надо бы идти по шоссе. Но Галя не остановилась, шла дальше по привычной тропе.

— Галя!

Она шла и уже растворялась в черноте. Он догнал ее. Он еще говорил и держал ее за руку. Рука была теплая. Просека электроопор серебряно освещена луной. Потом, как в пещеру, вошли в лесок. Молча зашагали, нащупывая ногой корни. Где-то впереди хрипло брякнул звоночек. За поворотом открылся кусок прямой, чуть освещенной луной дороги. И шагах в тридцати что-то темнело. Сердце несколько раз сильно стукнуло. Он сжал Галину руку и шепнул быстро:

— Ничего не спрашивай, беги назад по шоссе к Ли-сянским, зови ребят.

— Андрюша!

Он больно сжал ей руку у плеча:

— Слушайся меня! Ну! — и подтолкнул ее.

Услышал ее шаги. И стихло. И фигуры на дороге растаяли. Он стоял, скрытый густой тенью. Неподвижно. Только в ушах накатывал морской прилив. Все тихо. По-

мерещилось. Прилив кончился. Пот и жар стыда за свой страх полыхнули по лицу. Стал потихоньку отступать, не спуская глаз с дороги. Шагов двадцать сделал. Тихо. Тогда сжал зубы, стиснул кулаки и пошел вперед. Вышел из полной тьмы на чуть серебристый участок. И сразу понял, что не померещилось. Нехорошо зашуршало впереди справа. И выскочили двое... Сверкнули очки и металлические зубы.

— Папаша, зачем Алешу обидел?

— Какого Алешу?

— Стой, папаша, поговорим!

Рука протянулась. Оттолкнул. Но рука была из мягкого железа. Дернулся. Второе шупальце ухватило левую, завернуло. Андрей Андреевич молча рвался, но все больше увязал в плотных кольцах удава.

— Алеша, погляди,— этот?

Подходил прыщавый с уже снятым фирмовым ремнем. Очень серебряной в лунном свете была пряжка.

5

Галия Хасановна Янбаева (заслуженная артистка Татарской АССР, по мужу Спелова, по сцене Галина Спелова) в этот день решила на разговор. Но с первого мгновения встречи на вокзале муж начал говорить сам и говорил не умолкая. Это раздражало. Все раздражало. Безнадежно-дурацкая пьеса, которую играли сегодня. Искреннее виноватый тон мужа. Предстоящее сидение у Лисянских с вечными разговорами о пользе бега. Она тоже заметно старела и боролась со старением как могла. Но тайно. Говорить обо всех этих ухищрениях, как говорить вслух о женских недомоганиях. Андрей так часто говорил о своем старении, что через эти разговоры она догадывалась о своем собственном увядании. И почему-то именно ему не могла этого простить. Жизнь кончалась. Она чувствовала это и злилась. Когда она заметила перемену в муже и буквально вычислила его роман с Аллой — только удивилась. Она спросила его напрямик — с насмешкой и любопытством. Но когда он в ответ сразу все разболтал и начал плакать и каяться, в ней разыгралась почти ненависть. Она терпеть не могла мягкости, податливос-

ти. Ее предки — мужчины — никогда не стали бы извиняться перед женщиной. Полковник отступал. А в ней росло брезгливое чувство, и она мстила за мягкость жестокостью. Он подозревал ее в изменах, и не без оснований. На гастролях, на съемках случались всякие мимолетности. Но главной мстью был К. Н. Ее муж не мог предположить даже, что она знакома с ним. Великий К. Н., знаменитый дирижер, три четверти года проводящий в заграничных гастролях. Только раз они с Андреем были на его концерте, и Андрей плакал от восхищения... Как он мог предположить, что уже шесть... нет, почти семь лет в каждый приезд К. Н. в Москву они встречаются все в том же «люксе» гостиницы «Ленинградская» в темных высоких покоех. Этой зимой умерла жена К. Н., и их связь, кроме прелести тайны и привычки, вдруг обрела перспективу. Ей померещилась другая жизнь. С заграничным паспортом. С однодневным выездом из Триеста в Венецию... Со счастливой, улыбающейся Викой, идущей рядом с ней по зимнему Мадриду. К. Н. тоже был мягок. Таков уж ее удел. Она командовала и в назначении встреч, и в конспирации, и в постели. Но К. Н. был гений, он был победитель. Ему мягкость прощалась. Она решилась. И это определяло жизнь всех троих. С К. Н. разговора не было еще. Сперва надо было резко объясниться с Андреем. И вот он шел рядом, и клялся, и извинялся. Ее решение крепло с каждым новым его признанием — неважно в чем — в любви, в измене.

Когда полковник схватил ее за руку и приказал бежать, когда потом толкнул и она почувствовала его напряжение и страх, она только еще больше раздражилась. Но потом, идя одна в темноте, невольно стараясь ступать тише и все-таки пронзая тишину стуком своих шагов, она почувствовала, как тревога охватывает ее. До этого все было чужим, не касающимся, как в плохом фильме, и вдруг, рывком, она оказалась внутри событий. Здесь! Рывком переменялся ход мыслей. Как будто по ошибке выдрали здоровый зуб и там, где был покой и уверенность, вдруг открылась боль. Галия вдруг очутилась над неожиданной бездной предчувствия. Просеку она перешла быстрым шагом. Несколько раз оборачивалась. Раз даже пошла было назад. В гору уже побежала... Задохнулась, захлебнулась с непривыч-

ки. Возле развилки у школы увидела приближающегося прохожего.

— Товарищ! — крикнула она.

Человек приближался, глухо постукивая какими-то деревяшками.

— Товарищ!

Человек нес под мышкой шахматы. Внутри коробки погрохатывали фигуры.

— Товарищ!

Свет из окошка школы упал на него, и она интуитивно почувствовала: «Ошиблась, не товарищ».

Узкие одутловатые глаза. Белые вспухшие полосы. Начес на низкий лоб.

Испугалась. Замерла. Вплотную с тоже замершим шахматистом. И тут полыхнуло по ним обоим фарами. Машина сворачивала на шоссе. Уходила. Она вскинула руку, что-то крикнула. Машина уже прошла. Но с визгом затормозила. Взревев, подалась назад. Распахнулась дверь.

— Подвезу, Галя Хасановна.

(Сосед по Цветочной улице, дом 11, имя забыла, полковник, желтый «жигуленок», большая скучная семья, растит цветы, носит ей букеты: «С Международным днем ребенка, Галя Хасановна!»)

Кинулась на сиденье. Прочь от белых глаз. Захлопнулась дверь.

— Скорее, пожалуйста!

6

Сперва мы бежали шеренгой. Переговаривались, перешучивались. Потом замолчали. Только топот и дыхание. Стали перестраиваться «гуськом».

— Не гнать! Договорились! — кричал сзади Клейман.

Самый трудный участок от последнего дома до трансформаторной будки. Скучная дорога. Но ночью — ничего. Топочем. И все больше растягиваемся. Я шел первым. Коля прямо за мной. Чуть поотстала Нина. Она все покрикивала сквозь задыхание:

— Что, Шальнов, слабó? Слабó, Шальнов?

Остальные где-то сзади. Издалека Клейман:

— Все! Мы встали! Лисянскому хватит!

Вот и будка.

— Подождите! — Это Римма крикнула. — Подождите, мне страшно.

У будки встали. Ф-фу-у-у. Нельзя все-таки бегать после коньяка. Я расстегнул молнию на куртке. Теплый вечер какой. Даже душный. По одному подбегали.

— Николай Владимирович! Хоп-хоп! Идете?

— Идем, идем, не падаем! Надо бы Спеловым засаду в лесочке устроить.

— Ах, черт, шампанского не взяли! А то бы бабах! Из-за кустов!

— Ага, и в психушку обоих! Здорово придумал.

Наконец все подошли. Тут из лесочка выехали двое на велосипеде. Второй сидел на багажнике и болтал ногами. Хрипло побрякивал звоночек. По корням, по корням. И проехали мимо.

— Ну что, бежим?

— Хватит в молодость играть. Пойдем мерным прогулочным. За мной!

— Ой, как темно!

— А-а-а! Попалась!

— Отпусти! Упаду я.

— Не трогай меня. Я сама.

— Осторожно, тут ветка торчит. Давай руку.

— Да это уж не рука, котик.

— Как дышится, Коля?

— Нормально. Все нормально. Надо бегать. Обязательно надо бегать.

— «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья! — ну-ну, — чтоб не пропа-ась поодиночке». «Возьмемся, — Коля, замолчи, фальшивишь! — за руки, друзья!»

— Нет, это не под ногу. «Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой».

— Ну вспомнил. Как с того света песенка.

— «Глобус крутится, вертится, словно шар голубой».

— Ой, что это?

— Это веточка, моя девочка.

— Да нет, вон, вон!

— Тихо, ребята! Да подождите!

— Вон как народ гуляет. Это я понимаю.

— Да подождите. Тихо, ребята!

Лежал человек под деревом в неудобной позе.

— Чего ты все время улыбаешься? — спросила Вика Спелова. — Злишься на меня, а улыбаешься.

Вадик побледнел и еще шире раздвинул губы в улыбке.

— Эт-т-то входит в систему обучения каратэ. Европейцы думают, что это улыбка, а это м-м-мимика внимания и ат-т-таки.

Вика рассмеялась и легко провела по струнам гитары. Сидели на крыльце. На ступеньках. Теперь уже в полной темноте. Повеяло прохладой.

«Облака плывут над морем, с ветром никогда не споря», — напевала Вика.

Вадик сидел на ступеньку ниже, опираясь локтями о широко расставленные колени, плотно сцепив длинные пальцы. Рубашка на нем была черная, как его колючая шевелюра. Бескровные кисти рук неприятно белели в темноте. Белое лицо с редкими толстыми пружинками волосков.

— «Облака плывут над морем...»

— Ты д-д-д-до утра вчера сидела у них? — не оборачиваясь, спросил Вадик.

— Почти. — Вика перестала играть. — Вбей себе в башку: я не хочу терять год. Я должна поступить. Александр Федорович меня готовит. А он это умеет.

— Вы что же, ночью реп-п-петируете?

— Вчера мы в карты играли. С ним и его женой.

— Его жена с собакой взад-вперед по улице ходила.

— Походила — потом вернулась. Слушай, не дави на меня. Я не люблю этого. Мне с ним интересно. И домой идти не хочется. Я так жалею отца, что начинаю злиться на него. И тебя еще за забором увидела. Ты что, до часу маячил там?

— Попозже.

— Вот и не маячь. А то вообще не выйду в другой раз.

Вадик захрустел суставами пальцев.

— Не смей! Ненавижу!

— Чай будете еще? — спросила из окна Нина Владимировна.

— Потом, — сказала Вика, — когда наши вернутся.

Через окно веранда выглядела уютной. Старомодный натюрморт с абажуром, чайной посудой, остатками торта, четвертинкой несезонного арбуза и ярким ковриком пасьянса, который выложила Ольга Сергеевна.

Пенальтич в углу под лампой пыхтел, курил, листал книжку. Впустую беззвучно мелькал телевизор. Нескольким известным артистам с перемазанными лицами ползли среди взрывов по тщательно искореженной земле.

Вика спросила:

— Ну а практические результаты есть? Ты что, с любым можешь справиться?

— Если с одним и не в-в-в-владеющим техникой, то с любым.

— А с двумя?

— Это по об-б-б-становке.

Пенальтич швырнул книжку и подошел к окну

— Молодые, вы про что хотели бы прочесть? Заказывайте. Ну, про что?

— Не знаю,— сказал Вадик,— подумаю.

— И мы не знаем, про что писать. А все равно пишем и пишем. А вы читаете и читаете. Или не читаете?

— «Облака плывут над морем, с ветром никогда не споря».

Засигналила машина. Резко и тревожно. И сразу появилась из-за поворота — вывернула с шоссе на Лесную. Во всю длину полыхнуло фарами дальнего света. Галина выпрыгнула из машины. Не крикнула, а сказала звучно и хрипло:

— Где все? Вика! Папу убивают.

— Что? Боже мой, что? — рванулась к окну Ольга Сергеевна.

Но уже бежали. Вадим впереди.

— Где? Где? — кричал он, оборачиваясь.

«Жигуль» крутился, пытаясь развернуться в узкой улице. Но не ждали. Бежали.

— На тропе! За трансформаторной будкой!

8

— Андрей! Андрей! Что случилось? Кто тебя? Андрей, ответь. Ты же слышишь меня, Андрей! Да уведите ее куда-нибудь. Перестань визжать! Андрей, кто тебя?

— Ну что вы стоите!!! — надрывалась Римма.— Бегите же. Зовите! Не стойте, не стойте, не стойте!

— Римка, кончай истерику! — Шальнов обхватил ее и поволок в сторону, с трудом справляясь.

— Андрей, кто тебя? — Клейман сорвал с себя ру-

башку и обтирал кровь с лица.— Что? Что? Да заткнитесь же! Тихо!

Распухшими кривыми губами прошамкал:

— Часы... Касио...

— Что часы?

— Часы японские... Касио... снял... с шахматами. К школе пошел. Белые волосы... глаза белые...

Как мы бежали! Шальнов отстал, но то, что его шаги стучали сзади, придавало уверенности. Мы были едины — Коля, я и Шальнов. Добежали до школы. Никого. И ни одно окно не горит. К станции! Дальше, уже на открытом месте, на шоссе, увидели освещенного луной человека со свертком под мышкой. Нас было слышно. Он обернулся. Побежал к станции. Он был далеко. И тогда мы сделали рывок.

9

Вадим миновал последний дом поселка — мертвый, заколоченный — и сбавил темп. Он слишком оторвался и почувствовал себя неуютно. Хрипло звякнул звоночек, и мимо него проехали двое на велосипеде. Вадим перешел на шаг. Сзади вывернулась машина и длинным прожекторным светом проявила двух приближающихся женщин и двоих удаляющихся на велосипеде. Разминулись. Вика бежала. Что-то крикнула мать Вики. И задний ездок соскочил с багажника. Машина встала возле заколоченного дома — тут дорога кончалась, начиналась тропа, но фары светили. Мать Вики снова что-то крикнула, и Вадим понял. Резко рванул обратно, на дальние фары. А Вика уже вцепилась в того, что соскочил и метался от болотца к болотцу. Клубок. Визг. И развалился клубок. И полетела Вика на землю. Прямо под ноги бешено мчавшемуся Вадику. Перескочил и в том же прыжке — с лету — ногой! И попал! Четко, как на тренировке, но не сдерживая мах! Есть! Покатился гад к краю дороги. Кинулся Вадим к Вике, и вдруг «звяк» рядом — и больно повалился на ногу велосипед. И мягкая рука, как щупальце, как хобот слоновый, с чудовищной силой надавила на лицо, ухватила в ладонь подбородок и нос. Потянула.

И вот тут налетел Пенальтич. Набежал и, короткий, стокилограммовый, пустил себя! Вошел головой в под-

дых! Ххххх-а-ак! Брызнули очки о камень. Распались кольца удава. И заверещал истошно тот, первый, подымаясь с земли:

— Да вы что?! Да вы что?!

А к нему уже снова бежал Вадик. И шофер давил и давил на сигнал.

10

Как мы неслись! Какая обжигающая радость была, когда поняли, почувствовали — догоняем! Сперва коробка упала и посыпались шахматы. А потом он сам споткнулся и, уже без скорости, запрыгал, заземляясь. Зашарил по карманам суетливо. Но нас же трое! И... все вместе. Выпал ножик. Ах, гад! В первый раз в жизни я ударил человека. Так вышло... в первый раз только. И как это оказалось здорово! Как смачно вошел кулак между носом и выступом подбородка. По губам! Хллюм! И более опытный Коля — ыыых! Обмяк.

— Где часы?

— Какие часы? (Глаза врут! врут! Он!)

Хллюм!

— Там валяются.

— Сволочь вонючая!

И Шальнов кинулся.

11

Ах, ночь! Лучше не бывало. Жутко хотелось есть. И опять варили картошку, шпроты открывали. Водка была вкусная и не пьянила. Смеялись неостановимо. Все было смешно. И даже Андрей, он, полулежа на диване, улыбался кривыми губами. Пили за всех и за каждого. Все молодцы. Всё сами! Справились. Без милиции, без жалоб. Со своим врачом. Свезли Андрея в соседний дом отдыха. Разбудили сестру, открыли кабинет, и Клейман сам все обработал. Уверенно, быстро, с шуточками.

Светало. Спать не хотелось. Галя держала голову Андрея на коленях, гладила его нежно, шелково. И он улыбался распухшим ртом.

Вика в открытую целовалась с Вадиком.

Пенальтич прикладывал к голове утюг.

Владимир Николаевич утирал кулаками слезы и хо-

хотал. Вспоминались все детали, все миги. И все было смешно. Даже Нина Шальнова улыбалась снисходительно и с одобрением смотрела на мужа.

У меня была ссадина через все пальцы — от зубов. Болело. Но как-то приятно. И тоже весело.

— Нет, но Андрей, Андрей! А? Грудь в грудь, и женщин долой с поля боя.

— А человек без паспорта! А Драгомир-то? Он же говорил, что мы тело тренируем, а он голову. Вот голова и сработала.

— Ну, Вадик, не зря, недаром...

— Вика, отпусти его.

— ...Но когда Галя подлетела...

— ...А я сперва подумал...

— ...А вдруг мы их...

— Да бросьте вы! Еще пойдите спросите, не надо ли им чего! Выпить сюда позовите!

— ...А ведь они нас запомнят. Ведь могут...

— ...Не могут. Не смогут! Только так! Больше не сунутся.

— ...Но когда Андрей...

— ...А знаешь, такой азарт возникает... такой...

— Утюг согрелся! Давай другой! — Это Пенальтич с синяком. (Хохот.)

Какие мы! Как мы восхищались друг другом! Какая красивая наша татарочка! А Вадик! А Вика? Наша молодежь! Сила в нас! Первый раз это чувство. Общее дело! Дело? Да, дело! Самое главное, человеческое. Защитить себя и своих! Как мы их! А? Все вместе!

Совсем рассвело. Какая ночь. Ведь успели. Слава бегу!

Новый год я встречал в новой компании. Какие-то дизайнеры — экстрасенсы, почти незнакомые. Говорили о медитации. Было нудновато. Даже не пилось. Я сидел в стороне и в ритме музыки стучал ножичком по столу. Вспоминал нашу летнюю ночь у Лисянских. Тогда точно договорились — Новый год вместе. Но вот не вышло. Все повалилось. И как-то сразу. Будто мы тогда до конца выложились. И ничего не осталось. В ноябре мы похоронили Андрея Спелова. Андрюша погиб. Глу-

по, случайно, на обычных военных испытаниях в Кубинке. Галя через месяц вышла замуж за дирижера. По-моему, поторопилась, даже если... Но, с другой стороны, надо было оформляться в поездку в Швецию и тянуть было нельзя. Неделю назад они уехали. Вадима взяли в армию. Вика поступила. У Лисянских внук родился — Игорь. Им не до встреч. И Николай Владимирович опять стал прихварывать. Пенальтич выпустил новую книжку стихов. В хорошей обложке и в хороших, как он говорил, переводах. Неделю ходил в Дом книги и наблюдал — покупают или нет. Не купили ни одной. Он запил. Римма моталась с какими-то иностранцами переводчицей и в Москве почти не бывала. Шальновы ссорились, мирились, опять ссорились, рассказывали про свои ссоры. С ними было скучно.

У меня что-то с ногой. Встану утром — ничего. А часа два походишь — немеет. Прямо не ступить. И как иголками. Надо стоящему врачу показаться. Клейман говорит — ерунда. А мне кажется, что нет. Но, конечно, надо преодолевать. Понимаю, что все это мелочи. Но если нет крупного ничего. Надо держаться. Распускать себя нельзя. Хороший лыжный костюм купил. Финский. Надо опять начать бегать.

*Ялта,
август 1983 г.*

РАССКАЗЫ

БОЛЬНИЧНЫЕ ИСТОРИИ

(С натуры)

В канун нового 1976 года я угодил в больницу с тяжелым переломом плеча. Сделали операцию. Наложили аппарат по методу Илизарова — проткнули правое плечо толстой иглой и к ней привесили тяжелую металлическую подкову. Боль была сносная, но рука двигалась очень плохо. Нелепо все получилось. Я сломал плечо на сцене, во время репетиции. Десятки раз уже я совершал это падение на правый бок, и все было нормально, а тут... Дело было, конечно, в том состоянии психологической разлаженности, которое охватило меня в последнее время. Ленинградские власти невзлюбили меня. Начались запреты, отказы. Глухая и все более высокая стенка росла вокруг. Планы рушились, любые начинания не имели продолжений, любая инициатива уходила в песок. Я оказался в черном списке, возник страх. Я казался себе очень несчастным, а тут еще это дурацкое падение... перелом... больница.

Когда-то, лет восемьдесят назад, при строительстве здания эта палата была предназначена для одного больного. Теперь нас в ней лежало шестеро. Нас оперировали, нас кололи, за нами ухаживали, как могли. Мы и сами старались помочь друг другу. И помогали! Больше всего — разговорами. Одним необходимо было выговориться. Они раскрывали душу с той откровенностью, которую можно себе позволить только с совершенно случайными, незнакомыми людьми. Другие слушали и сравнивали свою судьбу с чужими. Я принадлежал ко вторым. Рядом с тем, что я услышал, мои собственные беды начали казаться мне гораздо менее значительными. Я стал выздоравливать, страх исчезал. Навсегда за-

помнились мне человек двадцать из больных. Когда-нибудь я расскажу о них. Но две истории особенно поразили меня. Я решил их записать тут же, на месте. Рука почти не шевелилась, пальцы не держали перо, но я заставил себя коряво, медленно, но в тот же день зафиксировать на бумаге эти монологи со всеми их тогда еще свежими подробностями и особенностями речи. Я помню их фамилии и имена-отчества. Имена и отчества оставляю, а фамилии опущу — кто знает, как отнесутся мои герои к публикации слишком внимательного слушателя?

Вот эти истории.

первая

1. Гу...в СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. 26 лет. Палата № 11.

Его привезли в 3 часа ночи из другой больницы — осложнение. Большой аппарат Илизарова на ноге. Нога болела. К этому времени он лежал уже четыре месяца. У него длинные баки. Большая щербина в середине верхнего ряда крепких зубов. Когда санитар, неловко перекладывая его с каталки на кровать, причинил ему боль, он коротко застонал и крикнул: «А не пошел бы ты, добрый молодец, да кобыле в.....!»

Потом он много рассказывал:

— Друзей у меня много, до кия. Я всех этих «приятелей», «товарищей» не признаю — у меня друзей полно. Нас во дворе было тридцать два человека с одного года. Балдели, на гитарах давали. Один, глядь, полковник нам жизни не давал. Чуть что — милицию вызывает, глядь! Сам здоровый шкаф... замучил. Мы все думали, глядь, как отомстить? Раз ночью придумали. У него в парадной лестница широкая, как во дворце. Мы ввосьмером закатали его «Запорожец» к нему на третий этаж и поставили под дверь. Тяжело было дуракам — яйца до колен, — но втащили и поставили. Утром сидим на площадке наверху, на четвертом, и ждем. Смотрим — вышел! Шары на лоб, и уши отвисли. Е! И милицию. Те туда-сюда. А скуй его знает, кто? Меня во дворе увидели — ты, глядь? Я говорю — извините, не видал, не слыхал! Он повертелся и заныл: ребята, спустите вниз. Мы говорим: полсотни, спустим. Он говорит: спустите, дам. А мы — полсотни, тогда спустим. Выложил. Только — говорит — не поцарапайте!

А Марик ему — ну что вы, товарищ полковник, наверх несли — не поцарапали и вниз не поцарапаем. С тех пор замолк.

Вообще мне везло... Я к одной бабе лазал по трубе на четвертый этаж. Она в проходной комнате, а слева и справа родственники, — понял? Особо не разгуляешься, но по-тихому можно. Лазал, лазал... Один раз лезу — труба, глядь, за вторым этажом — хряк! — и оторвалась. От стены отошла. Вишу покачиваюсь. До утра висел, думал, писец. Этажи высокие. На рассвете прыгнул — ни кия! Ушиб ногу. Похромал домой.

Отец от нас мотанул давно. Старшие братья, сестры пережились. А я с матерью. Когда мне за двадцать уже было, папаня объявился — прислал письмецо: «Хочу повидать тебя, сынок!» Я тоже ему пару слов чиркнул: «Иди ты на.....!» Мать спрашивает — чего же это отец одно письмо прислал и больше не пишет? Что ты ему, сынок, написал? Я говорю: что думал, то и написал.

Я с двенадцати лет на Кировском заводе. В горячем цеху. Сперва печи разжигал — газовщиком. Теперь кузнец. Бригадир комсомольско-молодежной. Раз в цеху одному парню — хряк! — палец отрубило. Чистый случай. А стали выяснять... И понеслась... езда по кочкам. Комиссия за комиссией. И этот, глядь, — техника безопасности! — больше всех выlobывается. За один день четвертая комиссия. Я обозлился, к горлу подкатило. Схватил ломик и на них. Они от меня. Три раза весь цех обежали, а цех вокруг — километр! Вызвали милицию. Идут. Я говорю: глядите, я сейчас вот по этой кнопке залубяню, меня не будет, и вас всех не будет. А тут как раз красная болванка ползет. Ну, они — шаг назад и потекли к выходу. Ничего, говорят, мы тебя у проходной подождем. А я, говорю, не выйду! Как? А так! Смена кончилась, я сменщику говорю — Саша, все! Я остался, гуляй домой. Вторая смена кончилась. Мастер идет — ты что, и третью отстоишь? Я говорю, и третью отстою. В восемь вечера ребята свистнули — можно, ушли. И пошел я домой.

Два моих хороших друга вышли из тюрьги — хулиганы, дураки! Ну, надо отметить... Говорят — давай к восьми к ресторану «Москва». Я пришел — никого. Сел. Выпил сто пятьдесят и домой. Где дружки-то? А дело получилось так: они пришли занять столик, швей-

цар, — знаешь, в «Москве» был, борода? — показывает через стекло, что, мол, мест нет. Они ему рубль показывают. Он — нет! Три! Нет! Они пятерку. Он дверь и приоткрыл. Они его бороду на руку намотали и на середину Невского вывели. Милиция — хегс! Ну ничего, отбrehались. А посадили их все равно. Через пару дней. Они за водкой пришли в магазинчик возле Фрунзенского. А продавщица — время вышло. Они ее за руки, за ноги — и выкинули. Стали за прилавок и стали раздавать водку, кто хочет. Ну... по пять лет.

Пили мы на Первое мая. Начали поздно. Время срать, а мы не жрамши. Наскоро взяли водки ящик. Закуски и баб. Посидели... и вырубился я. Просыпаюсь — еду в поезде. Глядь! Куда? Е! Смотрю — рядом баба. Харя вроде знакомая, а вроде нет. Я говорю: я вас где-то видел. Она: и я. Я говорю: а куда это я еду? А она говорит: ко мне в гости, в деревню Палкино Псковской области. Е! Пошел в сортир. Сполоснулся. Гляжу в зеркало — я зеленый, как три рубля. Ну, думаю — хренс! — как же эту бабу зовут? И какое, ко всем сырам, еще Палкино? А потом думаю — все равно праздники, чего делать? Поехали в Палкино! Ну, приехали. Она говорит: зайдем в милицию... Я говорю: это еще зачем? Я этого не люблю. Это ты, как тебя там, не затевай. Да нет, говорит, мы к дяде едем, у меня дядя начальник милиции. Вылезает дядя. Бухой в сиську. К столу! — орет. А там, в Палкино, водки не достать, с прошлой пятилетки не завозили. Самогон дуют. И у начальника самый чистый — спиртометр выскакивает. Набухались. Пельмени там, то-се... Старуха какая-то выползает. Вам, говорит, с Ларисой (Лариса она оказалась), вам, говорит, с Ларисой вместе стелить или отдельно? Я говорю: вместе, не пост. Утром опять дядя. Голова как дизель. А он с самогоном лезет. Пили, пили... Я говорю — всё! Надо ехать. Дядя в слезы и целоваться лезет, — приезжайте еще. Я говорю: непременно, а сам думаю: нет, глядь, еще такой денек с дядей, и писец. Сели с Ларисой в поезд. Дядя плачет и сует мне трехлитровую бутылку с самогоном. Я тоже слезу пускаю. Всю ночь с какими-то ребятами (вроде геологов) пили. А я вот все думаю: на кой скуй эта Лариса туда ездила? Дядя ее, по-моему, даже и не заметил...

На пятнадцатый день нашего лежания Сергею стало

плохо с сердцем. Его отпаивали. Когда мы остались вдвоем, он сказал:

— Сегодня 11 февраля. Ровно полгода, как жена погибла. На автомобиле, глядь! Раскис я. Держался, держался и размяк. Ослаб. Любовь у нас была трудная. Со школы еще дружили. Потом поссорились, и я в армию ушел. В десантные войска. В Чехословакии «воевал» в 1968-м. Комвзвода нашего убили, и я встал вместо. В шестьдесят девятом вернулся. А она замужем. Спрашиваю — как они с Юркой живут? Керзово, говорят, лупит он ее. Я походил, подумал. Пару дней попили с ребятами. Потом взял здоровый чемодан, пришел к ней. Собирай вещи, говорю. Она — как, что? Я говорю: пошли. И увел. А у Юрки три брата — татары они и все мясники. Поймали меня в парадной ночью, с работы шел, измолотили, где глаз, где нос... Утром опять пришли. В комнату. Только она на работу ушла, они и пришли... На следующее утро опять. Ну, я тоже своих ребят позвал. У нас лозунг такой — мы не бьем, нас бьют. Ну, уползли они, кровищу мы два часа подмывали... Потом как ни иду,— парадная темная,— в каждый угол гляжу. Через раз стоят... Пусть, мол, она вернется.

Раз прихватили все четверо, а я один. И окружают. Я к стене жмусь. Подошел, а чувствую, там шило торчит — один мясник, братец, подставил к стенке руку с шилом. Я говорю: давай один на один, с кем хочешь, чего ж вы вчетвером? А они сужают. Ну, думаю, писец! И вдруг — друг Саша идет, говорит: что за теплая компания, а? Я говорю: да вот, разговариваем... Ну и понеслось... А друг Саша тоже и тяжелоатлет, и сидел два раза...

Потом меня во дворе они поймали. Изметелили всласть. Друзья пришли, посмотрели и спрашивать ничего не стали — к ним! На квартиру. И звонить не стали — один у нас там спец по дверям вскрыл отмычкой. А братики все за столом сидят, выпивают. Тут их били, пока они все под стол не полезли и не кричали хором: простите, мы больше не будем!

Но зато любовь у нас была. Ё! Вот совпадали интересы! Я на рыбалку зимой, и она со мной. Наденет теплые штаны, ватник... Дам ей удочку... Сидит. Красивая она была до скуя. Оперетту очень любила — плохую, хорошую, ей все равно. А я — джаз. И на орган ходи-

ли... По абонементу... А детей не было. Надежду потеряли. И вдруг через два года забеременела. Я как с ума сошел. Купил два ящика коньяку, всех позвал. Пили, пили, поддавали, она говорит: Сережке спать надо (мы его решили Сережкой назвать, не в мою честь, конечно, а в дядю Сережу, отличный человек был, горный инженер, его в шахте завалило), она — все! Сереже спать пора! А мы... до утра... Понеслись.

Раз идем с ней из Кировского театра, она на четвертом месяце была, стоит Юрка с братом. Обычно у нас сперва разговоры, а потом драка, а тут сразу кинулись. И они, и я — боялся, что ее заденут. Кричу ей — уйди! Ну, тут Юрка и понял. Потом пошли, выпили с ним. Я говорю: ты пойми, она с тобой не будет. Убьете меня, а она все равно с тобой не будет. И он понял. Разошлись.

Ну и вот! Отправил я ее в Лугу, к родным. Каждый день ходил счастливый. Работал по две смены. Ей же свежие продукты нужны, а я как? — раннюю клубнику не килограмм беру, а сразу десять — и в Лугу! А рынок дорогой. Ничего для нее не жалел. ...И вот одиннадцатое августа... На последнем месяце она была. Едем из Луги в город. Я на поезде, а она говорит: я с Валеркой быстрее доеду на машине. Валерка — ее подруга, глядь, гонщица... Сколько раз ей говорил: не гоняй! Сам я ничего не боюсь, но когда с женой... Ехали раз в Валеркиной машине, она дает сто двадцать. Я говорю — а ну притормози! Остановилась. Я говорю жене: выходи. Пока, Валера, автобусом доедем.

И как я ее отпустил в этот раз! Сказал еще Валерке: ты потихоньку. Приехал в город. Звоню сестре — они к ней должны были заехать, — приехали? Нет, говорит. Я к матери — нет. Ночь — нет. Утром на работу пошел. После смены в милицию. То се... Тут мне и сказали. Вылетел справа говнюк на мопеде, а Валерия 100 шла. Она влево — и под «МАЗ», лоб в лоб. Я пришел в морг. Говорю старухе: где она? Старуха говорит: мы родных не пускаем. Я говорю: я хочу. Я посмотреть хочу, что там есть? Старуха говорит: ничего там не осталось, иди домой. Я все равно посмотрел. Страшно. Как страшно... Ничего страшнее не бывает.

Все думали, я запью. А я удержался. Она не любила, когда я пил. Не запил. Но и работать не мог. Приду в цех, сяду и сижу всю смену, а ребята за меня вкалы-

вают. Так целый месяц. Друзья не оставили. Работяги, они не бросят. И дома каждый день у меня кто-нибудь дежурил. Через месяц начал работать, и... бац! Болванка лопнула. Я кнопки переключил, успел,— всех бы поубивало, а так на меня отскочило — вот ногу перебило. Это все говно... пройдет... мне бы только до двора добраться... хоть с аппаратом, хоть как... Ребята помогут. Только интересно, как я теперь без нее жить буду?

вторая

2.....ский АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ, 72 года. Профессор-экономист. Разрыв связок на обеих ногах в результате наезда машины. Лежит в четвертой палате. Он говорил мне:

— Вы заходите к нам. Мы тут по вечерам беседуем на разные темы. У нас, знаете, в палате ни одного ходячего. Вы бы очень украсили нашу жизнь, если бы заходили. Я знаю, что здесь в больнице все рассказывают свои истории. Вам, наверное, надоело слушать. Но невольно вспоминаешь всю свою жизнь, когда она ближе к краю. Ведь готовые новеллы были у меня в жизни.

Воевал я на Кавказском фронте, был переводчиком в разведке. Дослужился до чина майора, а начал солдатом. Вот помню от моря ощущение. Когда после боев, и бомб, и смертей вышли мы к морю. Стояли мы с моим другом посреди курортного черноморского пейзажа. Море тихое, а позади далекий грохот. И холодно. И знаете, тоже, вот как здесь, почувствовал я край жизни. И так захотелось покоя. Сказал я другу: «А представляешь, очутиться бы сейчас где-нибудь в Аргентине». Потом, через год, когда меня арестовали, среди других обвинений была «попытка побега в Аргентину».

Немецкий язык я и до войны знал хорошо, а там... и сам много занимался, и допросы. Сколько их было, сколько через мои руки прошло! В сорок третьем после активного броска мы разгромили крупное немецкое соединение. Пленных была масса, и среди них очень крупный военный — генерал Х. Ну, мелочь всякую допрашивал я. Допрашивал дни и ночи, больше для порядка, чем для дела, а генерала было приказано везти в Москву и допрашивать там. Я к начальнику разведки:

«Умоляю,— говорю,— в первый раз с просьбой обращаюсь, разрешите мне его сопровождать». А мне полагалось десять дней отпуска, и, доведя генерала до Москвы, я мог успеть съездить в Казань к семье. Разрешили. Доставил я генерала, передал командованию, все как положено. Хотел откланяться, да не тут-то было. Генерал молчит, на любой вопрос отвечать отказывается. Меня не отпускают, выясняют его поведение при пленении и по дороге в Москву. Иду я с группой офицеров к нему в тюрьму в качестве переводчика. Сидит в камере. Его спрашивают, а он сразу в крик и обращается ко мне: «Я не преступник, я пленный, требую нормальных условий и соблюдения Женевской конвенции о пленных». Я объясняю нашим — не слушают. Ушли мы ни с чем. Проходит неделя — я все еще в Москве. Потом говорю: «Позвольте мне повидаться с ним один на один, может быть, мне удастся его разговорить. Только,— говорю,— переведите его на квартиру, создайте уют». Сделали. Провели мы с ним вечер за хорошо накрытым столом и с шампанским... И разговорился мой генерал. Все. Дело сделано. Можно ехать в Казань? «Нет»,— говорят. Вызывает меня один очень высокий начальник. «Как,— спрашивает,— смотрите на то, чтобы работать здесь, в Москве?» Я замялся. Объясняю, что в глазах моих коллег по армейской разведке все это может выглядеть так, как будто я воспользовался случаем и выпросил перевод в Москву. Начальник улыбается: «Это интеллигентские рассуждения. Вы нам нужны, и все берем на себя».— «А семья?»— «Семью можете забрать сюда. Вы получите квартиру. Езжайте на Кавказ и сдавайте дела!»— «Есть!» Телеграфирую жене в Казань, чтобы снимались с дочкой с места и немедленно ехали в Москву. Сам выезжаю в часть. Прибыл. И на второй день был арестован. Приказ об аресте был подготовлен, пока я был в Москве.

Следствие было недолгое. Обвинили меня во всем, что только можно придумать, вплоть до подготовки вооруженного мятежа. Ну, и Аргентину вспомнили. Трибунал дал десять лет тюрьмы. Потом, позже, смягчили — пять тюрьмы и пять ссылки. Одно было счастье — в Казани пришли за женой и дочкой, как за ЧС («членами семьи»), а их нет. Уже в Москву струнулись. Так про них и забыли — нет и нет.

— А почему же вас Москва не защитила?— спросил я Александра Артуровича.

— Не их компетенция. И потом, время такое было: взяли — значит, так надо. Мне так и следователь (мой же коллега, с которым я на «ты») сказал: «Видимо, Саша, так надо». Подписывать я что бы то ни было отказался, но для трибунала это никакой роли не играло.

— А все же какая причина? Какая-то была?

— Вины не было, а причина... причина была, конечно. Наивность! Вот причина. Я на партсобрании выступил с тем, что мы, дзержинцы, должны быть кристально чисты, и сказал кое-что конкретное про корысть некоторых наших штабных разведчиков, про присвоение трофеев и т. д. Ну вот, не буду я вам рассказывать обо всех безобразиях, на которые я только намекнул в том своем выступлении, их было предостаточно. И про тюремные годы не буду рассказывать. А вот расскажу отдельную историю, которую можно даже озаглавить.

Ее название:

Костя-Зеркало

Прекрасного агента имела наша контрразведка в Пруссии. Ему удалось занять довольно высокий пост в руководстве немецкими спецшколами по подготовке диверсантов и шпионов. Он поставлял неоценимые по значению сведения нашему командованию. И вот пришла от него шифровка. У нас в штабе армии приказ — в ночь на такое-то число, квадрат такой-то, в лесном массиве будет сброшена группа диверсантов. Захватить! В операции участвовало двести человек, весь лесок был окружен при соблюдении полной секретности. Шифровка оказалась точной, и часам к трем утра был зафиксирован одиночный самолет на большой высоте. Десант был выброшен. Мы начали сужать кольцо окружения. Их было двенадцать (это мы потом узнали), и двенадцать человек вступили в бой. Семеро были убиты, четыре покончили с собой — отравились ядом. Один сдался в плен. Мне предложили тут же на месте допросить его, но мой немецкий не понадобился. Диверсант был русским.

Он рассказывал все с удивлявшей меня откровенностью: уголовник-рецидивист, кличка Костя-Зеркало. К моменту начала войны сидел в тюрьме в Архангель-

ской области. В конце лета группа заключенных, и он в том числе, устроила побег. Он шел к линии фронта. По дороге познакомился с одним человеком, убил его и присвоил документы. С этими документами вступил в нашу армию и в первом же бою перешел к немцам. Учился в спецшколе под Кенигсбергом. Несколько раз был заброшен в Советский Союз и, выполнив диверсионные задания, благополучно возвращался. Был награжден. В этот раз группа была заброшена с целью взрыва мостов на стратегической Кавказской дороге. Все были снабжены ампулами с ядом на случай провала. Немецкое командование было уверено в группе — она вся состояла из предателей Родины и рассчитывать на снисхождение никто из них не мог. Взорвут, или погибнут, или покончат с собой. Так все и поступили. Кроме Кости. Он сдался в плен.

И вот теперь он сидел передо мной и подробно спокойно рассказывал. На что рассчитывал? Я тогда понять не мог. Вообще говоря, Костя был не мой, я занимался только немцами, и после первого допроса я отправил его в высшие органы и выбросил из головы эту бандитскую судьбу.

В сорок седьмом году я был уже бесконвойным, но полный конец моего наказания был еще далек. Приговор мне смягчили, и скоро-скоро я должен был перестать быть заключенным, а стать ссылкой. Это значило — минус сорок восемь городов. Ехать мне было все равно куда, потому что без этих сорока восьми городов, именно без них, и не могла вернуться моя прежняя жизнь. И семью я пока не хотел разыскивать и тем ставить ее под удар. Я работал в лагере на ткацком производстве. Как-никак я до войны был уже профессором-экономистом, и я выдвинулся. Стал бригадиром-нормировщиком, потом старшим нормировщиком. Дело я вел умеючи. Заключенные на меня не особо жаловались — работали там в основном женщины. Начальство было очень довольное — за много лет у них впервые сходились балансы. И вот я пришел к начальнику лагеря с просьбой — кончится мой срок, прошу оставить меня на той же должности вольнонаемным на все время ссылки, пять лет, я тут прижился. Начальник мне вот как ответил: «Да я б тебя с удовольствием оставил, мне с руки. Но — не разрешат! Ты пойми, профессор, пока ты заключенный, все нормально — у меня старший нор-

мировщик заключенный с высшим образованием. Никто не возразит. А как только ты вольный, за зарплату — анкетка нужна. А в анкетке у тебя что? Ссылный, бывший ЗК, и 58-я статья. Не разрешат мне такого старшим нормировщиком держать».

Я сильно расстроился и стал вести переговоры с одним постоянным покупателем нашей продукции из какого-то глухого города. Они брали нашу мешковину в невероятных количествах и все время присылали одного и того же представителя. Поехал я к нему на встречу в большой соседний лагерь. Вела туда железная дорога. Сами мы ее строили и сами по ней ездили. Там либо ЗК, либо охрана, либо бесконвойные, как я. Обычных людей там не было. Приехал. Перед встречей зашел в парикмахерскую. Бреет меня ЗК. Водит бритвой под подбородком. И вдруг остановил бритовку и говорит: «Ну как жизнь, товарищ майор?» И смотрит на меня через зеркало. Я глянул. Ахнул. Он. Костя-Зеркало. Видно, я все же испугался. Он говорит: «Мне расчета нет резать вас, товарищ майор. Выхожу через три месяца. А вам сколько еще?» Я говорю: год и потом еще пять. Он смеется: «Обошел я вас!» И ведь правда, обошел. Убийца, грабитель, предатель и диверсант, а нашел же какие-то крючочки, зацепился, заслужил смягчение вторым своим предательством и вот — выходит. Выходит! А я, разведчик, остаюсь.

Но дождался и я. Вызвали в город паспорт получить. Деревянный барак с длиннейшим коридором. И вплотную, по три в ряд, очередь. Во всю длину — на много часов очередь. Стою терпеливо — ведь за паспортом! Вдруг какой-то молодой человек с бойкими глазами: «Можно вас на минуточку, есть дело». Я говорю: «У меня очередь, я за паспортом». Он: «Никуда ваш паспорт не уйдет, я предупрежу, вот впереди него вы стоите, запомните нас, мы с товарищем на минутку отойдем». Отошли. И показал он мне бумагу — продление моей ссылки навечно. Это был знаменитый указ о задержании на местах и повторном заключении всей 58-й. Боялся отец наш чего-то.

Хорошо, что из суеверия не успел с семьей списаться, их снова не тронули.

«Живые и мертвые» Симонова мне очень нравятся. Там правда про войну. Но все же кое-где он смягчает. Там у него есть капитан Львов. Я знал этого человека. Того, с кого он написан. Фамилия его была Мехлис. И был он комиссаром фронта. Должность генеральская, но он был больше чем генерал. Боялись его как огня.

Моя встреча с ним произошла в Керчи. Страшные были там бои. Кровавое месиво, очень много жертв. И вот в это тяжелое время прибыл Мехлис. Однажды ночью меня будят — к командующему!

Прибыл. Докладываюсь. Сидит наш командующий, начальник разведки и Мехлис. Мехлис весь в коже. Глаза черные и бешеные. Молчит. Потом:

«Кадровый офицер?»

«Нет», — отвечаю.

«Кем на гражданке были?»

«Экономист».

«Интеллигенция? Ладно. Будете переводить. Введите».

Вводят немецкого летчика — сбили два часа назад. Молодой красивый парень. Белокурая бестия. Фамилия фон... из самых аристократических фамилий.

Мехлис: «Зачем вы пришли на нашу землю?»

Вопрос, конечно, странный, но я перевожу.

Пленный: «Скажите генералу, что я пришел с ним в куклы играть».

Дрогнуло у меня внутри, но перевожу точно — а вдруг Мехлис немецкий знает, ведь еврей.

Мехлис: «Как вы относитесь к Гитлеру?»

Перевожу. Тот руку вперед и давай вопить: «Хайль!»

Мехлис говорит: «Майор, приказываю вам, выведите его во двор и собственноручно расстреляйте. Вы всё теорией занимались, займитесь практикой».

Я вывел его. Он сказал — не стреляйте в спину. Я его поставил к стене, ограда такая южная, невысокая, и сделал что приказали. Возвращаюсь.

Мехлис: «Выполнили приказание?»

Я: «Так точно».

Мехлис: «Дайте ваш пистолет».

Протягиваю. Он проверил, что одного патрона нет. Отдал пистолет. «Можете идти».

На другой день начальник разведки говорит: «Твое счастье, Саша. Только ты его вывел, Мехлис сказал: «Этот интеллигент сейчас кого-нибудь попросит за него

замараться. Я его за это самого шлепну». Твое счастье, Саша!»

Вечером мы пили с одним казачьим капитаном. Я ему все рассказал. Он на меня глаза выпучил: «И ты расстрелял?» Я киваю. Он: «Я бы не стал. Отказался бы. Я кадровый офицер, а не палач». Я говорю: «Так я же понимал, что моя жизнь подвешена у него. Как же быть? А ты как бы поступил?» Капитан сказал: «А х... с ней, с жизнью... Все равно бы не стал».

В больничном коридоре гремели судками. Сестры разносили обед. В палату вошла жена Александра Артуровича — очень маленькая и очень интеллигентная старушка, которая прождала его десять лет, ничего о нем не зная. Ее гнула к земле тяжесть стеклянной банки, которую она держала обеими руками. Она принесла мужу бульон.

ИНТЕРВЬЮ

(Диалог)

Комната. Входят Первый и Второй.

Первый. Я устал, я не в форме. Мне завтра вставать в семь утра.

Второй. Это ужасно, понимаю. Но что делать? Мы же с вами сговорились...

Первый. Ни о чем мы не договаривались. Я вам сказал по телефону, что сегодня я не могу.

Второй. Но потом вы сказали, что завтра будет еще хуже. Так когда же?

Первый. Я не знаю.

Второй. Ну, извините, я пойду...

Первый. Куда же вы теперь пойдете? Давайте кончим с этим делом. Мне всегда будет некогда...

Второй. Но если вы сейчас не можете...

Первый. Садитесь.

Второй. Вы в таком состоянии...

Первый. Ну ладно, садитесь!

Второй. Это, наверное, ваше кресло? Садитесь вы сюда, а я сяду на стул.

Первый. Какое это имеет значение...

Второй. Но обычно вы сидите в этом кресле?

Первый. Обычно в этом.

Второй. Ну и садитесь.

Первый. Господи, не все ли равно?

Второй. Да нет, что вы! Я у вас время отнимаю, еще и место буду отнимать. Садитесь, пожалуйста.

Первый. Я не хочу сидеть.

Второй. А что же вам стоять? Вы устали, вам вставать рано.

Первый. Пусть вас это не беспокоит. Давайте начнем. Садитесь.

Второй. Куда?

Первый. Да куда хотите.

Второй. Я бы хотел сесть на стул.

Первый. Ну и садитесь на стул.

Второй. А вы в кресло.

Первый. Ну хорошо, хорошо. Садитесь!

Второй. Спасибо.

Садятся.

Нельзя ли у вас попросить стакан воды? Где у вас кухня?

Первый. Я вам принесу. *(Встает.)*

Второй. Не беспокойтесь, я сам. Вы мне только дайте стакан...

Первый. Я принесу. *(Выходит.)*

Второй пересаживается в кресло и закрывает глаза.

Первый *(входит со стаканом воды)*. Вот, пожалуйста.

Второй. Спасибо большое. *(Пьет, смотрит на Первого.)* Совсем теплая. *(Пьет.)* Это из-под крана?

Первый. Нет, я вам дал кипяченую.

Второй. А-а! Я думал, из-под крана такая. *(Пьет.)* Я опять ваше место занял? Вы не сердитесь?

Первый. Нет-нет. Ну, так в чем же дело?

Второй. Ужасно, что я так поздно. Мы, наверное, вашу жену разбудили?

Первый. Жена в отъезде.

Второй. Так вы совсем один?

Первый. Совсем.

Второй. В такой громадной квартире один человек. Детей нет?

Первый. Нет. Вы курите? *(Протягивает пачку.)*

Второй *(задумчиво)*. Курю, курю. И очень много. Что поделаешь?

Первый. Ну, давайте начнем.

Второй. Где вы учились?

Первый. Я окончил Литературный институт, потом Высшие режиссерские курсы.

Второй. А в армии...

Первый. Не был. Военная кафедра в институте.

Второй. В Ленинграде?

Первый. Нет, в Москве.

Второй. А до этого?

Первый. До этого — школа.

Второй. В Москве?

Первый. Нет, в Ленинграде.

Второй. Номер не помните?

Первый. 186. Зачем это вам?

Второй. 176?

Первый. 186. (Пауза.) Это все, что вы меня хотели спросить?

Второй. Не волнуйтесь, через полчаса все закончится. Вот вы, счастливый человек, думаете ли вы о других людях, которым не повезло в жизни?

Первый. Почему вы решили, что я счастливый?

Второй. А вы что — несчастный?

Первый. Я не несчастный, но я и не счастливый. Я просто человек.

Второй. Не-е-ет! Вы не просто! Вам повезло. А везет не всем. Везет редко кому. Те, кому не везет, спрашивают тех, кому повезло, как это у них получилось. Поэтому я задаю вопросы, а вам придется ответить. Невезучие любопытны, а везучие скрытны. Ведь мы с вами догадываемся, что существует совершенно определенное количество благ. Значит, если кому-то больше, то остальным меньше. Если кому-то все, то остальным ничего. И тогда остальные присылают ин-тер-вью-е-ра, не для того чтобы отобрать блага, а чтобы хоть узнать, что именно и каким образом он у них украл.

Первый. Что же я у вас украл?

Второй. Известность, знаменитых женщин, с которыми вы общаетесь, а я не общаюсь, заграничные поездки, талант.

Первый. Талант тоже?

Второй. Конечно. Если бы вы не занимали это место, его бы занял другой и тоже был бы талантом. И может быть, это был бы я. Если вы сегодня умрете, завтра кто-то станет талантом, ему повезет — он займет ваше место. А сегодня вы занимаете его место, вы его грабите. А этот другой, может быть, как раз я.

Первый. Вы что, пьяный?

Второй. Нет, я голодный.

Первый. Я вас спрашиваю, вы пьяный?

Второй. Я вам отвечаю, я голодный. А вы сытый и не хотите меня понять.

Первый. Уходите. Я не хочу с вами говорить.

Второй. Я не могу уйти, мне нехорошо. Правда, нехорошо. Целый день ничего не ел. Дела, дела, а потом вас ловил с трех часов и не успел поесть. У вас не найдется хоть бутерброда? *(Пауза.)* Мне правда нехорошо. Меня тошнит...

Первый приносит кефир и бутерброд.

Второй *(жуя)*. Не надо было курить. Это от папиросы...

Первый. Вы из какой газеты?

Второй. Я сегодня, наверное, две пачки выкурил... а ел только в восемь утра... *(Жует.)* А потом ни крошки...

Первый. Вы из какой газеты?

Второй *(прикрыв глаза)*. Ох, легче, легче, легче... Я не из газеты. *(Жует.)*

Первый. Кто вы такой?

Второй жует, молчит.

Почему вы не отвечаете?

Второй *(жует)*. Испугался? *(Пауза.)* Ты трус. Ты хоть раз в жизни дрался?

Первый. Не надо пугать меня.

Второй. А не надо ключ в кармане сжимать. Я же тебя не бью. Вынь руку из кармана!

Первый. Почему вы говорите со мной на «ты»?

Второй. А почему ты меня не узнаешь? Говори мне тоже «ты». Почему ты меня не узнаешь? Я же тебя узнал, почему ты меня не узнаешь?

Первый. КТО ТЫ ТАКОЙ?

Второй. Вот, кто я такой? Почему ты меня не узнаешь? А если не узнаешь, чего ты мне тыкаешь? Узнаешь? ТЫ МЕНЯ ЗНАЕШЬ?

Первый. Да, я тебя знаю.

Второй. Кто я?

Первый. Ты — Коля.

Второй. Я — Коля. *(Кричит.)* Я — КОЛЯ. И я бил тебе морду в пятом классе.

Первый. Ты — Коля Овчинников.

Второй. Почему ты меня не узнал?

Первый *(ударяет кулаком по столу)*. Дурак! Кре-

тин! Сволочь! Ты испугал меня! *(Плачет.)* Сволочь! *(Идет к одиноко стоящему портфелю, который он поставил на пол войдя, и достает оттуда бутылку водки.)* Ты понимаешь, что такое, когда человек не в форме? Все время напряжение. Никак не отпускает. И вдруг вот такой является... *(Уходит и возвращается со вторым стаканом. Наливает.)* Ну, здорово!

Второй встает, молча раскидывает руки, обнялись.

А закуска — вот всё — бутерброд. Пустой дом.

Выпили. Второй достает нож и сосредоточенно режет бутерброд на четыре части, потом одну четвертинку еще пополам.

Живу с каким-то дурным предчувствием. Вот-вот что-то случится. И вдруг ты являешься.

Второй. Кошмар.

Первый. Конечно, кошмар. Жуткая рожа. Я ведь тебя совсем не узнал.

Второй. А сейчас узнаешь?

Первый. С трудом.

Второй. А помнишь, как я тебя в пятом классе бил?

Первый. Да, помню.

Второй. А ты все время к Клавдии Григорьевне бегал...

Первый. К кому?

Второй. Ну, классная наша, по русскому — литературе...

Первый. А-а-а...

Второй. Забыл, что ли?

Первый. Помню. Вспомнил.

Второй. Ленку помнишь?

Первый. Помню.

Второй. Какую Ленку?

Первый. Что какую?

Второй. Какую Ленку помнишь?

Первый. Ну... нашу Ленку.

Второй. Нашу, вашу... Ни хрена ты не помнишь.

Первый *(наливает)*. Старые мы уже. Сколько лет прошло.

Второй. Володяеву помнишь?

Первый. Нет.

Второй. А говоришь, помнишь. Это Ленка Володяева.

Первый. Ах, Ленка! Ты ее не встречал?
Второй. После той истории — нет.
Первый. Какой истории? *(Вздыхает.)* Ну, за встречу.

Пьют.

Второй. Жуткая была история. Вот тебе сюжет для кино. Это тебе не сказочка-эпопеечка. Жизнь, сила. Какая девка была, и как ее скрутило... Но на лицо она и сейчас еще в порядке.

Первый. Так ты ее видишь, что ли?

Второй. Ну, на фотографиях...

Пауза.

Первый. Бред какой-то... *(Допивает.)*

Второй. Громова помнишь?

Первый. Нет!

Второй. Громов! За тобой сидел в восьмом, девятом, десятом.

Первый. Не помню я. Забыл. Отстань! Громова не помню.

Второй. Он спился.

Первый. Ну и хрен с ним.

Пауза.

Второй. Слушай, что я тебе покажу! *(Роется в бумажнике, достает фотографию.)* А-а?

Первый. Это около школы?

Второй. Ага. Второго слева узнал?

Первый. Второго слева? Нет.

Второй. Это ты.

Первый. Я? Нет. Неужели я?

Второй. Ты. А третий Оська Павелецкий. Он уехал в Израиль.

Первый. Это не я.

Второй. Ты. Хотя черт его знает. Стоишь почти спиной. Подарить?

Первый. Не надо. Давай договоримся — не вспоминать. Будем считать, что я забыл все. Вот тебя вспомнил, а остальное был. Отрезано. Все равно. Я столько забыл. Теперь уже не вспомнить. Еще десять лет проживу, наверное, собственное имя забуду. Коля! Как живешь?

В т о р о й. Ничего, очень интересно. У меня в жизни все было.

П е р в ы й. А у меня ничего не было. Одна работа.

В т о р о й. Хорошо было. Какие бабы были... У тебя много было баб?

П е р в ы й. Немного.

В т о р о й. Я знаю. Я с одной твоей бабой знаком. Она мне про тебя рассказывала.

П е р в ы й. Кто это?

В т о р о й. Неважно.

П е р в ы й. Я тебя спрашиваю.

В т о р о й. Да ты ее, наверное, тоже забыл.

П е р в ы й. Ну кто, кто? Ну говори, кто? Ну кто? Ну кто?

В т о р о й. Крашан.

П е р в ы й. Откуда ты ее знаешь?

В т о р о й. Я многих знаю...

П е р в ы й. А что рассказывала? Плохое?

В т о р о й. Слушай, а ты правда такой занудный или со мной притворяешься?

П е р в ы й. Я устал. Знаешь, я все время усталый и никак не могу отдохнуть... Пустая, пустая жизнь.

В т о р о й. Ну, у тебя ИМЯ.

П е р в ы й. Я ничего вспомнить не могу. Что было в жизни? Ничего не было. Как будто снимают про меня кино, а я его только смотрю, а сам ничего не делаю. Смотрю, смотрю, и надоело оно мне, и уйти нельзя... Вот была Крашан... Я ее помню, и себя с ней помню, но как-то не по-живому. Не телом, не сердцем, а как картинку. Киноэпизод. В Париже я месяц жил. Хожу там и думаю: вот событие в жизни — я в Париже. А не ощущаю: опять как кино. Стою ночью на набережной и ногами стучу в землю, мол, вот я стою в Париже. Это сейчас происходит, я тут. Ногам больно, а в голове все равно кино, кино, плоская картинка: стоит человек ночью на набережной и бьет ногами в землю. Вот ты, по-моему, умеешь наслаждаться.

В т о р о й. Я умею.

П е р в ы й. А я не умею.

В т о р о й. А я умею.

П е р в ы й. А я не умею. И не хочу.

В т о р о й. Хочешь. Только боишься. Ты от жизни ничего не откусил. Зубы боялся ломать, а они у тебя сгнили.

Первый. А у тебя?

Второй. Я все переломал. Но вку-усно пожил.

Первый. Скажи откровенно, чего ты вдруг ко мне пришел?

Второй (*смеется*). Повидаться! Я все свое сожрал, но у меня мало было. А у тебя много и все равно пропадает. Отдай мне.

Первый (*пьяно*). Ерунда. У меня ничего нет. Бери! А что ты, собственно, хочешь?

Второй. Возьми меня к себе.

Первый. Что ты мелешь! Куда к себе?

Второй. С тобой работать. Я буду что хочешь делать...

Первый. Тебе это не надо. Нет! А ты кто?

Второй. А кто хочешь. Всем был. Журналист, фотограф, администратор, шофер, тренер по боксу, за-тейник, старший лейтенант. Возьми, я хочу с тобой.

Первый. Не понимаю. Все от меня чего-то хотят, а у меня ничего нет. А они чего-то ждут, ждут... а потом обижаются. Я же от тебя ничего не хочу.

Второй. Мне бы хоть кусочек твоих возможностей, что бы я сделал!..

Первый (*не слушая*). Ничего я не хочу.

Второй. Когда я в первый раз сказал в компании, что мы с тобой однокашники, меня обожрали. Ладно! Я припомнил некоторые подробности, некоторые фактики, детальки нашего отрочества — тогда ржать стало труднее и меня стали слушать. А потом уже просили рассказать о тебе. А я кобенился и не всегда соглашался. Я ничего не врал. Я действительно тобой заинтересовался. Я все про тебя читал, я смотрел все, что ты делаешь, я следил за всеми твоими передвижениями. Потом я стал подбирать за тобой женщин — ты оставишь, я возьму. Одну я даже отбил у тебя. Она ушла, но ты не знал, к кому. Она ко мне ушла. Я твоим именем с ними и знакомился. Как бывший друг. Я от твоего имени заказывал такси, и мне давали в пять минут. Я устраивался в дома отдыха, ходил на просмотры. Последний год я читал лекции о тебе и зарабатывал приличные деньги. Я знаю тебя как облупленного, и твои вскрики, что тебе, дескать, плохо, на меня не действуют. Ты в порядке. То, что тебе надо, ты рано или поздно получаешь. И при этом тебе как-то удается не замараться. Ты не подлец — это правда, подлец,

скорее, я, но ты и не человек и все человеческое тебе чуждо. Ты слизняк, слабак и головастик. Но у тебя есть имя. И его жуют и жуют, год за годом. И я им живу как паразит. Что это такое? Обман? Ты обманщик.

Первый. Я чувствую, что ты меня хочешь обидеть, но это неважно. Важно, что ты прав. Я служу своему имени, и страх не оправдать его отделяет меня от людей. Оно не мое, оно надуту какой-то посторонней силой. Я ненавижу его.

Второй. Ладно, не хнычь! Давай запишем твое интервью. *(Достает из сумки портативный магнитофон.)*

Первый. Я не хочу, я не буду.

Второй. Будешь. Мне нужно для лекций. Только не ной, говори что положено. Ты же удачник, вот и рассказывай. *(Включает.)* Скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем детстве. Где вы учились?

Первый. Иди к чертовой матери.

Второй. Это мы сотрем. *(В микрофон.)* В каком городе, в какой школе вы учились? Поддерживаете ли вы сейчас связь с вашими бывшими соучениками?

Первый. Иди к чертовой матери.

Второй. Это мы сотрем. *(В микрофон.)* В вашей работе, наверное, бывает много забавных случаев, расскажите один из них.

Первый. Я не буду говорить, выключи машину.

Второй. Почему это ты не будешь? Почему ты не хочешь помочь старому товарищу?

Первый. Потому что я не могу. Мне самому нужна помощь. Я в беде. Один.

Второй. Врешь, ты в порядке. У тебя имя.

Первый. Заткнись. Ладно, включай! *(В микрофон.)* У меня давно ничего не получается. Вы идиоты, если этого не замечаете. Впрочем, вы это замечаете, и вы не идиоты. Но вот что я хочу вам сказать: когда у меня получалось,— а у меня получалось, в этом я уверен,— так вот, когда у меня получалось, я ни разу не сумел потребовать за это награды. Я испытывал не гордость собой, а благодарность к тем, кто при этом присутствовал...

Второй. Хорошо.

Первый. Подожди, я вспомнил. Когда приходило так называемое вдохновение, я чувствовал, что исполняю не свой замысел, а другой, несравнимо больший и

значительный. На мгновение все, абсолютно все становилось понятным и стройным, и мне казалось, что я в силах объяснить это всем. Поэтому в глубине души я никогда не мог связать вдохновение со своим именем. Это было не из меня, а откуда-то, через меня. И только в эти моменты я искренне любил людей и чувствовал оправдание нашего общего существования. Только после этого я мог по-настоящему любить женщину. Я исполнял свой долг и получал короткий блаженный отдых. И я был легок, весел и неутомим. А потом снова из глубины, изнутри приходил беззвучный приказ и возникал напев. А потом все подменилось. Потому что меня научили связывать это со своим именем и с людьми. Теперь много-много приказов от разных людей, а напева нет и не будет.

В т о р о й (выключает). Пошла мистика, поповщина...

П е р в ы й. Это искусство, и я согрешил, забыв о нем. И я расплачиваюсь.

В т о р о й. Ты эгоист. Зажравшийся эгоист! Тебя бы в мою шкуру. Я много нахватал. Я много могу. У меня все есть. Но чего мне это стоило! И стоит. Каждый день! Все, что я сделал, я сделал сам, без помощи высших и низших сил. Я разбивался в лепешку для людей, чтобы люди сделали хоть что-нибудь для меня. Почему же они не шепчут мое имя? Почему ты с трудом вспомнил — Овчинников? Почему ты мне ни разу не позвонил за столько лет? Ведь мы с тобой встречались, и я тебе дал телефон, но ты забыл и встречу, и телефон.

П е р в ы й. Забыл, извини...

В т о р о й. Не извиняю. Позвони мне!

П е р в ы й. Ладно.

В т о р о й. Сейчас! Позвони, пожалуйста. Я прошу!

П е р в ы й. Куда?

В т о р о й. Мне позвони. Овчинникову. Возьми трубку, позвони!

П е р в ы й. Не надо истерик.

В т о р о й. Я серьезно. Без истерик — позвони! 71-81-14. Попроси Овчинникова.

П е р в ы й. Ну и что дальше?

В т о р о й. Маме будет приятно. Позвони и назовись. Для старой мамы будет праздник, что ее сына спра-

шивает такой человек. Я тебя умоляю! Хочешь, на колени встану?

Первый. Ну тебя к черту.

Второй. 71-81-14!

Первый набирает номер.

(Подсказывая.) Светлана Антоновна...

Первый. Как тебя по отчеству?

Второй. Коля, Коля, просто Коля.

Первый (в трубку). Колю можно попросить?.. Овчинникова... Светлана Антоновна? Здравствуйте... Это его школьный товарищ говорит... Нет, нет... Коли, наверное, нет дома?.. ДОМА?

Второй сидит в кресле с закрытыми глазами.

Кто это говорит? Овчинников? Коля? Подождите одну минуту... Какой... Да, это я... Как ты меня узнал? Ну, странно... То по радио... Да какой известный... Коля! Я просто так... Надо же когда-то повидаться... Слушай, я тебе завтра перезвоню... Хорошо? С утра... Хорошо... До завтра... (Вешает трубку. С ужасом смотрит на Второго.) Кто ты такой?

Второй молчит.

Ты не спишь. Я вижу, что ты притворяешься. Кто ты такой? Зачем ты пришел? Молчишь? Чего ты хочешь? Ты меня испугал дальше некуда. Мне страшно. Тебе кажется, что ты знаешь про меня все, и ты действительно много знаешь про меня, а я не знаю, кто ты такой. Ты какая-то бесформенная безымянная отвратительная масса. Ты мой дурной сон, мне снились такие кошмары. Вот ты сидишь ночью в моей комнате и бесконечно неталантливо изображаешь спящего. У тебя напряженное лицо, и это выдает тебя. У тебя подергиваются веки. Видимо, в твоём мозгу пробегают какие-то хитрые мыслишки. Может быть, там, внутри, ты хохочешь, изо всех сил напрягая рот, чтобы он не растянулся в улыбку. А может быть, тебе страшно так же, как страшно мне. Капельки пота выползают из-под волос на лоб. Чего же боишься ты, безымянный? Ты не Коля Овчинников, но ты его знаешь, ты знаешь Крашан, ты знаешь меня, ты знаешь какую-то Лену, с которой была страшная история. Ты всех знаешь и от всех чего-то хочешь. Ты — масса! Тебе скучно. И ты

завистливо озираешься — а вдруг кому-нибудь интересно. Твой приход встряхнул меня, и я понял, что я богат, у меня есть мой мир. Он внутри меня, он мне дарован. И ты пришел отнять его. Но ты не в силах, ты не доберешься до того, что ты ищешь. (*Треплет его по щеке.*) Ах, какой ты плохой актер... Ну попробуй, расслабь мышцы. Начни со рта... Не сжимай губ. Расслабься! Освободи руки. Плохо. Ну, еще разок. Давай, давай, безымянный!

Второй. Я Коля Громов.

Первый. Я тебе не верю, безымянный.

Второй. Я КОЛЯ ГРОМОВ, я могу паспорт показать.

Первый. Вот-вот, для безымянных только и нужны паспорта, чтобы было хоть подобие имени и личности...

Второй. Не оскорбляй меня. Я Коля Громов. Я сидел за твоей спиной в восьмом, девятом, десятом. А в пятом классе я тебя бил.

Первый. А не врешь ли ты, что ты меня бил?

Второй. Я тебя бил, это факт.

Первый. А за что ты меня бил, Коля Громов?

Второй. Просто так.

Первый. А тебе приятно было бить меня?

Второй. Приятно.

Первый. У тебя комплекс убийцы, Коля Громов. Сперва ты должен быть уверен, что ты сильнее. Потом ты должен создать ситуацию, чтобы будущая жертва тебя обидела. Тогда тебе становится жалко себя, и ты можешь убить. Наслаждаясь. И в полной моральной правоте.

Второй. Слушай, ты, гений! Я простой человек. Я откровенный человек. Я живу, как люди. Я знаю две крайности: умею терпеть и умею бить. Все остальное посередине. Такой я, человек, мужчина. А ты изворачиваешься всю жизнь, чтобы не быть, как люди...

Первый. Зачем ты пришел?

Второй. Дай мне интервью.

Первый. С удовольствием.

Второй. Только без выкрутасов. Говори, что все говорят. Ты знаешь, что надо говорить?

Первый. Знаю. А для кого говорить?

Второй. Для нормальных простых людей, которые сделали из тебя знаменитость и теперь требуют — веди

себя, как положено знаменитости. Поучай, задумчиво говори давно всем известное, тебя с удовольствием послушают. Ты можешь иметь грешки и можешь намекнуть на них — для слухов, это тоже нужно. Только не делай вид, что ты и в самом деле особенный и бескорыстный. Ну, так знаешь, что говорить?

Первый. Знаю.

Второй. Говори.

Первый. Включай. (*В микрофон.*) Я говорю для вас, простые люди. Для вас, всегда выступающих от имени многих и никогда — от своего имени. Потому что вам опасно иметь свое имя. Ваш паспорт, ваша фамилия — это только знак различия, кличка, которой вас вызывают из общего строя. Я говорю для вас, тех, кому скучно. ВЫ не знаете, зачем вы пришли на этот свет. Вы никогда не ощущаете гармонии целого, божественного соответствия времен и пространств. ВЫ, безмянные, не имеющие разума, чтобы понять, и не имеющие фантазии, чтобы создать свое. ВЫ, утверждающие свое существование количеством, плодящие не лучших, а себе подобных, всегда себе подобных, ВЫ, более всего почитающие акт, имитирующий размножение, ВЫ, умеющие терпеть и бить, по просьбе моего безмянного школьного товарища я говорю для ВАС.

Второй. Непоздоровится тебе, если люди это услышат...

Первый (*продолжая*). Сумею ли я вам угодить? Сумею. Вам нельзя не угодить, простые люди, потому что, если вы не захотите потреблять плоды моей фантазии, вы сожрете меня самого, и это тоже будет развлечением. Все, что вы не можете немедленно употребить для удовлетворения своей всеядной скуки, для вас сложно и ненавистно. Вы обладаете одним-единственным, но зато всепокоряющим талантом — умением опошлять. Любое прозрение, любое предвидение, любое вдохновение вы можете свести к бессмысленному полуфабрикату и поглотить. Вы называете себя создателями, вы предъявляете свои права на все. Ваше право — право большинства. Вы ничего не создали. Создают только одиночки. Творит только жизнь, которую я для пущей вашей злобы назову Богом.

Второй. Давай, давай, выбалтывай дальше. Вон ты какой! Искал одно, раскопал другое. Ты же челове-

коненавистник! Ты фашист! Тебя надо уничтожить, как бешеную собаку.

Первый (*после паузы*). Стоп! (*Выключает магнитофон.*) Я не фашист. Я ненавижу толпу. А ты толпа. Даже когда мы говорим с глазу на глаз,— ты толпа. Вот я сейчас один, а ты можешь в любой момент свистнуть своих, и они прибегут. И тебя могут свистнуть — и ты побежишь. Это вы называете дружбой. Я никогда не побегу на твой свист, я не хочу дружить с тобой. Я хочу порвать с тобой, безымянный, навсегда. Сейчас я тебя ударю, чтобы ответить на твои удары в пятом классе. Я забыл о них, но ты прожил памятью о них всю жизнь. Я хочу выбить из тебя эту память как последнее, что нас связывает.

Второй. Тебе лучше не делать этого. Ты не умеешь. А я обучен. Не подходи!

Первый. Подойди ко мне сам, безымянный!

Второй. Могу. Погоди, не бей. Ты смел от бесилия. Я для тебя слизь, а ты для меня — враг! Ты в моих руках, что хочу, то и сделаю. Или тебя заставлю делать то, что захочу, и ты забудешь про свои фантазии. Говорю это от имени всех людей, которых ты сейчас оскорбил, от всех, за чей счет ты жил. А если ты меня ударишь, я тебя просто убью. И не пожалею. Ты такой же человек, как я, только изворотливее. Я умру, и ты умрешь, я без имени, ты с именем. Только ты раньше.

Первый. Ты опять говоришь от имени?

Второй. Да, я говорю от имени.

Первый. Я рад, что я твой враг. (*Бьет.*)

Второй хватает его, душит, бросает в кресло. Первый падает головой на магнитофон, и слышна перемотка — визгливый голос, кричащий все задом наперед. Второй закуривает дрожащими руками.

К о н е ц

Кацивели,
1972 г.

РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНЕ

(Приключение)

Виктор Георгиевич шел в толпе по улице иностранного города. Виктора Георгиевича душило раздражение. Все оказалось серьезнее, чем он предполагал. Город и страна проявляли себя прямо враждебно к нему. Он не привык к этому. Он выучил на местном языке «добрый день!», «пожалуйста» и «спасибо». Он исправно громко произносил эти слова, а потом вежливо-медленно говорил по-русски, и даже, в угоду интернационализму, переставлял все ударения: «Прóшу, покáзать он ту юбóчку рáзмер пýтьдесять», — и более того, выставлял перед лицом продавщицы растопыренные пальцы — ПЯТЬ! Чтобы еще более объяснить — пýтьдесять! Его НЕ ХОТЕЛИ понимать. Очевидно — НЕ ХОТЕЛИ! Потому что... чего ж тут не понять?

Перед ним стояло человек шесть, все женщины, и подолгу болтали с продавщицей на своей тарабарщине. Продавщица носила туда-сюда юбки, кофты, разворачивала, рвала дорогие пакеты. Чего-то смотрели, цвет подбирали, мяли, опять заворачивали и все лопотали, лопотали... В магазине было жарко. Виктор Георгиевич не привык к очередям. То есть привык, но сам в них давно уже не стоял. Всегда был другой ход. Заграница столкнула его с очередями, с унижением, сразу обнажив свои языы. И главное — долго. Взял — уходи! Нет, они болтают. О чем? Товар есть — бери, вали. Нет, болтают. Виктор Георгиевич подумал, что эта баба знакомая продавщицы, подружка. Но когда та отошла, а продавщица стала и со второй

так болтать и опять таскать туда-обратно, Виктор Георгиевич решил: «Нет, не подружка». А Виктор Георгиевич был человек наблюдательный.

Виктор Георгиевич вежливо-терпеливо ждал. Но когда покупательница совсем зарывалась в кучу, а продавщица на секунду подымала свои красивые глаза от шмоток, Виктор Георгиевич и пользовался. «Добрый день, здравствуйте!— выкрикивал он по-иностранному, и дальше отдельно:— Прóшу показáть он ту юбóчку рáзмер пýтьдeсят!»— и выпучивал пальцы. Продавщица не могла не слышать (женщина впереди Виктора Георгиевича даже слегка шарахнулась от его вскрика), но продавщица ДЕЛАЛА ВИД, что не слышит. А на третий раз вдруг повернулась резко, прямо в глаза ему уставилась, что-то прошипела довольно громко и опять принялась таскать тюки передней бабе. Виктор Георгиевич понял, что его отшили, не так он был прост, чтобы не понять. Но почему? И главное — и это было особенно угнетающим, — он... ну совершенно ни одного слова не разобрал. Да ведь это сознательно, это нарочно делается!

С горечью и укоризной вспомнил он слова Сервантеса, написанные на стене гастронома в полуподвальчике на углу Невского и Литейного: «Ничто не дается нам так дешево и не ценится так дорого, как ВЕЖЛИВОСТЬ!» Но разве Им это объяснишь?! Потом подумалось, что, если бы эту большемерную, большеглазую... приглубить, она бы поняла, с кем имеет дело, и не так бы забегала перед ним. Но опять же и этого не объяснишь. «Неужели и ЭТО у них другим словом называется?»— изумился Виктор Георгиевич и самим фактом изумления впервые в жизни коснулся мысленно науки лингвистики... Тем не менее жарко было отчаянно. Абсолютно зря надел он кальсоны... Конечно, надо было идти с Николаем Ивановичем и уродкой переводчицей Евой, но его угораздило сегодня рвануть одному. Во-первых, всегда был уверен, что одолеет любую стенку, а во-вторых...

Во-вторых, деликатный момент... Николай Иванович в любом магазине, когда доходило до расплаты, умудрялся достать из кармана меньше денег, чем требовалось, бесконечно долго шарил, не находил, а потом небрежно и, вместе, категорично говорил Виктору Георгиевичу: «Ну-ка, Витек, подкинь покуда... сколь-

ко там?.. Одиннадцать этих ихних... трипперов...» И так порядком перебрал монет, а напомнить было неудобно.

Виктор Георгиевич шел в толпе по улице иностранного города с тоской в душе и с пустыми руками. Нет, он не спасовал, не такой он был человек — достоялся и сосредоточил наконец на себе внимание продавщицы и с помощью долгих тыканий пальцем заставил подать «ту самую юбóчку, размер пýтьдесят», но юбóчка-то оказалась не юбóчкой, а штанами непонятого назначения. Виктор Георгиевич, весь в поту, отступил. Проклиная продавщицу, город и страну, спустился ниже этажом в мужской отдел. Пот лил ручьем. Тут он сделал спасительный маневр. Из бесконечного ряда костюмов выбрал первый попавшийся и спокойно понес его в примерочную. Задернул занавеску, быстро разделся и снял наконец мучившие кальсоны, сунул в карман пальто. Через минуту он снова вышел из примерочной и повесил костюм на место. Стало легче, но тоска не проходила. Да еще карман пузырился от кальсон, раздражал.

Виктор Георгиевич шел в толпе. Толпа оскорбительно-непонятно журчала на своем муторном языке. Он сталкивался со встречными, чертыхался. И ему кидали в лицо короткие картавые словечки... Виктор Георгиевич отрулил с середины людской реки к берегу. Но и там течение несло. До Нового года было еще семь дней, но здесь, на чужбине, уже вроде гуляли, уже пахло легкомысленным праздником... Темнело. Гудящий поток раздвоился. Огни площади остались слева. Виктора Георгиевича отнесло направо, в узкую кривоватую, но тоже неплохо освещенную улицу. Вдруг посвободнело. Можно было идти сюда или туда...

«Зайду в универмаг, попробую еще раз», — подумал Виктор Георгиевич и отдался небурному ручейку. Вплыл в универмаг.

При входе брали плату («Западные штучки!»). Бросали мелочь в здоровую ржавую копилку. Виктор Георгиевич тоже бросил — чего позориться? Подавитесь! Потом почему-то мыли руки в каменной ванночке. Не стал Виктор Георгиевич. В первом этаже универмага стояло много скамей. Это было удобно. Но зато с това-

рами было слабовато. Практически вообще не было. Виктор Георгиевич стал искать лифт. Не нашел. Поднялся по каменной лестнице, глянул сверху. Оказалось, не универмаг, а церковь. И уже начинали. Виктор Георгиевич крепко протер глаза — наваждение не таяло: служили культу, и народу было много. Подумалось: «Боже мой, что за хреновина». Виктор Георгиевич за цыпочка спустился вниз, боком, боком, никем не замеченный, юркнул из каменного мешка на волю. Смачно плюнул на мостовую, растер. Закурил жадно.

Потом нашел наконец универмаг, уже пустеющий, даже страшноватый в своем невероятном количестве товаров при малом количестве людей. Вбежал в громадный зал женского готового платья. Совсем пусто. Вот момент! Здесь! Сейчас! Без юбки я отсюда не уйду! Неужели из этих тысяч нет хоть одной пятидесятого размера? Уже шла навстречу улыбающаяся в халатике. Уже близко!.. Сзади накрыл, как обухом, омерзительный визгливый надоевший голос Николая Ивановича: «Витек, а Витек! Подкинь до гостиницы семьдесят пять этих ихних... как их... шнацеров или люмпенов... отличный макинтош своей Нинке нашел, чек в руках, и не дотягиваю».

Конечно, дал! Не скажешь же — с собой не захватил! — чего, спрашивается, тогда тут ошиваешься? Дал. Заметил, что деньги тают, хотя все же пачка была еще приличная. Но вдруг расхотелось! Все расхотелось — юбки щупать, без конца говорить «добрый день» по-иностранному, тем более что уже наступил вечер, а как «добрый вечер», он не знал. На волю. На воздух!

Кинулся к лестнице. Николай Иванович что-то кричал — не слушал. Уродка переводчица вслед зазывно засюсюкала, — на хрен, на хрен, на волю!

Виктор Георгиевич выскочил на улицу. Три раза быстро свернул наобум в узкие улочки, вышел на какую-то площадь и уже спокойнее пошел вокруг старинного замшелого собора. Райончик был незнакомый и глуховатый. За маленькими раскрытыми дверцами в первых этажах ступеньки вели не вверх, а вниз, в подвальчики, полуподвальчики, и оттуда, из глубины, из-за бархатных шторочек, из-за склизлых стенок несло чем-то тревожным и запретным. Да и фотографии в маленьких витринках были ой-ой-ой!!! Были и надписи, но мало-

понятные. Слово «КЛУБ» Виктор Георгиевич разобрал, но остальные слова оказались недоступными, а в них-то и было все дело. Подумалось: «Какой там, твою мать, клуб!»

За спиной забренчало. Повернулся. Шел парень, весь увешанный цепочками,— на шее штук десять, на плечах... к брюкам тоже цепурки пришиты... и все позвякивают. Покачивая бедрами, парень проценькал последние шагов пять, вошел в круг света... Мамочки!— весь накрашенный, глаза подведены, блестят, губы красные — полуоткрыты... и в губах орешек... или пуговица... Вурдалак!

Парень вопросительно и, как показалось Виктору Георгиевичу, угрожающе уставился на него. Виктор Георгиевич не выдержал взгляда. Отвел глаза и напрягся. Пальцы левой руки в кармане пальто поплутали в месиве кальсон и нащупали тяжелый ключ от номера, который Виктор Георгиевич не сдавал никогда... Красный глядел не мигая.

— Что, сынок?— хрипловато спросил Виктор Георгиевич.

Парень по-сумасшедшему засмеялся и почапал, звякая своими медяшками, вниз по лесенке.

«Вот те и клуб. Вот те и Дом культуры. Вот те и место отдыха. Ай да райончик! Куда же это я попал?»

Виктор Георгиевич хитрил сам с собой. Он прекрасно понял уже, куда он попал, догадался, что за райончик. «Держись, Витек, ты здесь как в разведке!» — сказал сам себе и тронулся дальше по улице, сжимая кулак с ключом внутри шелковистой массы кальсон.

Пусто. Тихо. Звуки были... вроде голоса и вроде музыка... но ВРОДЕ не поймешь что и не поймешь откуда. И глухо. Звуки эти и создавали большую тишину, в которой часы на соборе с кастрюльным звуком пробили восемь.

Что-то кралось сзади. Слева. Большая машина бесшумно обогнала его и мягко остановилась впереди. Открылась дверца водителя, вынырнула женская фигурка и развернулась к нему. Женщина что-то говорила, но он не слышал. Он глядел на нее, освещенную красноватым светом соседней рекламы, и пропадавал. Это был его идеал. ТО САМОЕ. Недостижимое и, вместе, знако-

мое... По снам, что ли? Эти волосы... эти губы... глаза, одежда, шея... особенно шея... ШЕЯ! «Я ее видел...— мучительно крутилось в мозгу.— Видел в... видел на... видел около... где я ее видел?.. Да, кажется... Ой... на картинке три дома назад в маленькой фотовитринке видел я ее... голую... в шляпе... и в сапогах».

Он еще машинально двигался вперед, а она договорила, снова села в машину, и тогда распахнулась дверца, ближняя к нему... Он подошел... Она одна в машине... и смеется, и зовет... его... и мелет, мелет... и ручкой, все ручкой, садись, дескать!

То, что мелькнуло в голове Виктора Георгиевича, можно назвать одним словом — «разное». Мелькнул кусок то ли сна, то ли виденного когда-то в кино, — ослепительный, нарядный, с цветочками кафель, чистое, фигурно вырезанное зеркало, под ним широкий мраморный подзеркальник и баночки, флакончики, гнутые, тянутые, с цветными, большими в полбутылки пробками... шум душа и голый силуэт с распущенными волосами сквозь полупрозрачную пленку... и так четко виден каждый изгиб, потому что она руки подняла к волосам, и приподнимает их, и приподнимает... и все четко — одна колба на мраморе особенно здоровая, с синей, с кулак пробкой... и даже чужие буквы видятся, помнятся и сами складываются в неизвестное Виктору Георгиевичу слово «Desodorante».

Мелькнул короткий кошмар: вождевленное барахтанье в какой-то чистой темноте — и внезапно рубанувший луч из щели, дверь приоткрылась — и жуткая улыбочка Николая Ивановича из-за двери.

Мелькнул портрет жены — Веры Никитичны, в серо-стальных тонах, с жесткими металлическими складками возле рта и с грозно поднятой рукой, — выразительны были в общей серой гамме красноватые короткие растопыренные пальцы.

На мгновение — длинный низкий северный пейзаж с лесоповалом.

Потом — дача, приезд шурина на машине, богатый стол, батарея водочных бутылок, салат с крабами под майонезом, и домашние грибы в миске — гриб мелкий, ненабрякший, в меру скользкий, в меру плотный — хороший, не черный гриб, и хлеб черный — теплый... (Виктор Георгиевич не ел с самого завтрака, никуда

не звали. До этого вроде каждый день то прием, то банкет, то встреча, но и на встрече... все же... как-никак... худо-бедно, но... и бутерброды, и чаю-кофе, и хоть пару рюмок... а сегодня как отрубил.)

Мелькнули вперемежку какие-то отрывочные фразы, вроде: «НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ...», «ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!» — и одна подлиннее: «В ВАШЕМ, ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, ВОЗРАСТЕ ЭТО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕМ», — та самая фраза, которую он, как заместитель председателя комиссии народного контроля, недавно сам произносил, но только он говорил не «ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ», а «НУКЗАР ШАЛВОВИЧ», и обращался не к себе, а к проворовавшемуся развратнику Околошвили.

Время неслось. А может быть, стояло на месте. Не исключено даже, что время поехало назад. Во всяком случае, оно измерялось какими-то новыми, неизвестными Виктору Георгиевичу единицами. Пока «разное» мелькало в голове, перед глазами уже мелькали огни, подъезды, площади, жирные кругляши светофоров. Машина слаломными зигзагами ввинчивалась в узкие улицы. Из хаоса мыслей Виктор Георгиевич спустился в разноцветный космос чужого и чуждого города. А из космоса вдруг, в одно мгновение, еще ниже — на грешную землю. И все заслонил простой земной вопрос: «А сколько это может стоить?» Очень своевременный вопрос, потому что время совсем раздвоилось, и, пока сознание металось, тело жило своей жизнью, на совсем иных оборотах. Он уже подержал чуть излишне костлявую, но все же завлекательную коленку, прикрытую невесомой серебристой тканью длинного платья. Уже получил по лапе ручкой в перчатке — маленькой ручкой, на секунду оторвавшейся от руля. Получил порцию смеха (с обнажением ослепительных зубов). Он уже выслушал птичий концерт милейшего щебетания, из которого не понял ни хрена. (Ему даже показалось, что развратная водительша среди своей белиберды как-то ломано произнесла его имя и отчество, чего уж никак не могло быть.) Виктор Георгиевич и сам уже высказался — пропел по-иностранныму «добрый день», «здравствуйте» и сразу «до свидания», чем вызвал одобрителный хохот оторвы, а потом сказал на родном языке пару-тройку более раскованных слов. А чего стесняться? С одной стороны, не поймет, а с дру-

гой — да хоть бы и поняла! Он же не в обиду. Он от чистого сердца. Он и грудь ее опробовал рукой — маленькая, но плотная. Водительша ахнула, но руки от руля не оторвала — больно сложный поворот намечался, машин много.

Многое уже было, и вопрос «сколько стоит?» замаячил ко времени. А когда Виктор Георгиевич схватил веселую девицу второй раз за коленку и машина с мягким лязгом шмякнулась в зад другой, вопрос «сколько стоит?» встал ребром. Пока водительша выскочила и вступила в объяснения с шофером из передней — погнутой — машины, Виктор Георгиевич быстро и справедливо прикинул, что:

первое — за рулем она, и отвечать ей;

но:

второе — его вина есть: отвлек;

третье — даже если за погнутый бампер платить пополам, неизвестно, хватит ли всей пачки (на всякий случай он пощупал пачку в кармане — на месте).

Чужой мир показывал не только свои язвы, но и отдельные положительные стороны. Вместо того чтобы орать друг на друга, водители (шофер передней был невзрачный мужик, куртка на нем хорошая, а сам мужик — дерьмо), так вот, вместо того чтобы орать, оба поглядели на свои бамперы, побалакали минутку (не больше!), показали друг другу документы, чего-то записали и руки друг дружке пожали. Виктор Георгиевич даже крикнул. Подумалось: «Что значит на нетрудовые деньги живут!» Но все же это ему понравилось, смотреть приятно. Он было вспомнил, как однажды сам врезался в продуктовый «пикап» на углу Обводного и Боровой, но остановил себя — даже вспоминать не хотелось.

А потаскуха уже сидела рядом. Строго, но без злобы погрозила пальчиком и как ни в чем не бывало опять зарулила, заюлила по улицам. Оба молчали. И тут в мозгу Виктора Георгиевича всплыло откуда-то еще одно иностранное слово — «извините». Он произнес его. «ПАТРОН», — сказал он негромко. Водительша оторвала правую руку от руля и слегка коснулась его левой.

И от этого легкого касания, от этого явного прощения колыхнулось в косматой, забытой, брошенной

душе Виктора Георгиевича что-то такое, чему и название он уже давно забыл.

Осторожно втиснулись в узкую щель между двумя машинами. Остановились. Вышли. Свернули за угол. Шли рядом. Хотел взять под руку, но раздумал — может неверно понять. Шли так. Парадная с высокой дверью из цветных стеклышек. Поднялись по чистой деревянной лестнице без ковров. Большая пустая передняя. Вешалка, и штук тридцать пальто на ней. Мужских и женских. И никого! Ни души! И за стеной слышна музыка.

«Бардак», — понял Виктор Георгиевич. Обдало потом. Но не назад же идти. Здесь-то уж не бормотать «извините» на иностранном языке, тем более и слово опять куда-то провалилось и никак не вспомнить. Да и потом... когда сняли пальто и он увидел ее в серебристом... «Ой, да что ж, мы не люди, что ли? Камни мы, что ли?»

Виктор Георгиевич обхватил ее, тоненькую, и сказал сдавленным голосом: «ЛЮНЯ МОЯ!» Черт его знает, почему «ЛЮНЯ», но все равно — хорошо. Как-то ведь надо называть ее, что ж, мы не люди, что ли?

Люня хохотнула и вырвалась. Вошли в смежное помещение. Пустая зала с диванами и креслами. Лампы на стенах под горчичными абажурчиками. И опять никого. Но музыка ближе. И тут же из противоположной двери скользнул официант с подносом, а на подносе рюмочки, фужерчики... и все полные... ну не все, но больше половины полные... то есть полные в ИХ смысле — до половины налито. Официант к ним с улыбочкой и предлагает.

«Бардак!» — снова подумал Виктор Георгиевич, на этот раз с какой-то даже удачью.

— Добрый день, — сказал он официанту на родном языке служителя непристойного места и взял два фужера с красным. Один протянул Люне, с сильным звоном чокнулся и опрокинул залпом. Питье недурное, но слабоватое — градусов восемнадцать — двадцать, не больше. Поставил фужер, взял рюмку с белым, и оказалось... вот не ожидал... — нормальная «Столичная».

— Водка! — сказал он весело.

— Водка, — одобрительно захохотала оторва.

— Водка, — прошептал служитель бардака.

Потеплело внутри, и в душе, и в желудке, и как-то сразу «повело». Неудивительно — с утра ни крошки во рту. И такие переживания. А может, и к лучшему? «ПУСКАЙ ВЕДЕТ, СКАЖУ — ПЬЯН БЫЛ,— подумал Виктор Георгиевич, а потом с опозданием удивился: — КОМУ СКАЖУ?»

Уже шли дальше. Комнатки... тут уже и люди попадались, парочками... в уголках, рюмочки в руках... бала-а-а-кают! У-у-у-у! Развратники... а строят из себя... «Большой вальс!» И опять официант, другой... и опять фужерчик красненького и рюмочку беленькой... ан хрен! — на этот раз не водка, а что-то чудовищное — пламенем по кишкам. «ОДЕКОЛОН,— мутно сообразил Виктор Георгиевич.— ОПАИВАЮТ»... Еще одна комната. При входе сильно ляпнулся об косяк... «НЕ-ХОРОШО...» Люня пропала. Какая-то красная харя надвинулась с рюмкой и понесла околесицу. Розовые губы улыбаются, а глаза жуткие и вроде ненавидящие, и рукой куда-то показывает, вроде зовет или приглашает.

И тут колоколом в голове: «Шпионы... ловушка... Ай, Витька, куда ж тебя?!.. Ах ты сука, Люня! Ой!.. Ведь предупреждали же на собеседовании. Ни слова не скажу! Пусть консула вызывают, тогда скажу... НЕТ! И тогда ничего не скажу... Дочку жалко — вышибут ее из института, как пить дать вышибут... Ну, где эта харя красная, резидент? Где он? — А его нет... А Люня тут как тут... и тарелку несет с бутербродами...— Ах ты, милая... Ах ты, наводчица... Но запах от нее... запах — сон!.. или это от бутербродов? С утра ничего не жрал... А волосы, а кожа!.. А спина полуголая... Нет, Люня, я не такой, не думай... Я, может, пропал, но ты от меня сегодня не уйдешь».

Взял за руку. Сильно, но чтоб не больно. Повел. И опять комнаты, комнаты... Где тут поукромнее? По дороге еще рюмку хватанул с первого встречного подноса — что-то запредельно ледяное. И... и... прояснело в голове, дурман сошел. Огляделся. «Вот глупый! Сдрейфил! Померещилось тоже — шпионы! Да кому ты нужен? Смотри, Витя, растопырь зенки — люди пьют, гуляют, а ты... Э-э-э-х! Откуда в нас эта подозрительность? Уже и в бардаки не верим! Во всем политику ищем. Какая-то в нас бездуховность!..Люнечка моя!»

И тут вдруг опять накренилось в голове — мелькнул в дверях Николай Иванович, тоже с бабой и с уродкой переводчицей Евой. «Та-а-а-а-к!» — радостно хихикнул Виктор Георгиевич. Он почему-то нисколько не удивился и тут же сильно удивился тому, что не удивился. Пока все это путано колыхалось в мозгу, он уже тянул Люню влево за шторы. За шторой стоял бородатый в очках... улыбался, кланялся... Люня стала знакомить с сутенером... «После, после... Идем, идем... За мной, за мной... Куда тут, куда тут?» Обхватил, засунул руку крепко за пазуху... Она взвизгнула, отскочила. Скакнул за ней и влип в Афанасия Гавриловича.

«И ЭТОТ ТУТ???»

Афанасия Гавриловича им представили на собеседовании. Объяснили, что он хорошо знает что к чему за границей и будет не то чтобы руководителем, а как бы помогать будет руководить. Но подчеркивать этого не надо... хотя помнить надо... а о самом предупреждении забыть.

Афанасий Гаврилович приобнял крепкого Виктора Георгиевича и тряхнул так, что у того лязгнули зубы.

— Ты где был? — спросил Афанасий Гаврилович. Виктор Георгиевич стоял столбом.

— Пойдем домой, — сказал Афанасий Гаврилович.

В мозгу у Виктора Георгиевича навернулась мысль: «Вызовите нашего консула, без него я говорить не буду». Но он оттеснил эту мысль — она пришла не вовремя.

— Все нормально, — сказал Виктор Георгиевич для пробы.

Афанасий Гаврилович бросил его обнимать — видимо, надоело. Внимательно посмотрел, как стоит Виктор Георгиевич. Тот стоял твердо.

— Ну, погуляй. Через сорок минут все поедем, — сказал Афанасий Гаврилович. — Пойди поешь. Разговор потом будет.

Подбежала Люня, таща за собой одной рукой бородатого, а другой уродку Еву. Ева заверещала, запереводила:

— Госпожа Шпинделькранц хочет познакомить вас со своим мужем, господином Шпинделькранц...

Не Шпинделькранц, конечно, но разве запомнишь? Разве разберешь? Чего, чего? С МУЖЕМ? Ну люди! И

он ей позволяет? А на карточке у подвальчика? В сапогах и в шляпе? Голая?

Помутилось, помутнело опять. И пошло все с провалами.

Стою у стола. Ем горячее мясо с перцем. Перец жжет десны.

Провал.

Беру рюмку. Наливаю из графина сок. Вижу жуткие глаза Афанасия Гавриловича. Показываю ему графин — сок это, СОК!

Провал.

Лысый... тот, который встречал на вокзале неделю назад, говорит речь... Ева блекочет по-русски... «Укрепление дружеских связей»...

Провал.

— ...Очень важно понять друг друга...

Провал.

— ...Контакты, несомненно, были полезны для обеих сторон...

Провал, провал, провал.

Провал.

В углу, возле зеркала,— опять Люня. Опять Ева: — Госпожа Шпинделькранц в восторге от знакомства с вами. Она и ее муж надеются увидеть вас скоро, они собираются в вашу страну...

Полный провал.

И еще один.

Сидят с Николаем Ивановичем на диване. У каждого в руке горсть чищенных орехов. Грызут.

— Ты чего, Витек, кривишься? — спрашивает Николай Иванович.

— Живот болит,— врет Виктор Георгиевич.

Живот не болит. Он кривится от ломанувшего голову прозрения: не на голой карточке видел он Люню, не на карточке в витриночке. Видел он ее на вокзале... в день приезда... была она с тем лысым... и с цветами в руках... и им объясняли, что она что-то вроде секретаря в ихнем объединении профсоюзов... знакомили... Но действительно была в большой шляпе и в сапогах.

Провал.

— Где мы? — спросил Виктор Георгиевич у Николая Ивановича.

— Чего? — спросил Николай Иванович и сунул всю горсть орехов себе в пасть. Зажевал с треском. Не переставая жевать, хлопнул себя по лбу, полез в карман, достал конверт, протянул Виктору Георгиевичу. — Жабыл шовшем, — прошамкал сквозь орехи.

Виктор Георгиевич достал из незапечатанного конверта скользкую белую картонку, на которой типографски было отпечатано (читал через пятое на десятое):

«УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН В. Г.
. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФСОЮЗ
. имеет честь пригласить по случаю Рождества
. на коктейль
. состоится В ДОМЕ ПРИЕМОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
. к 8 часам вечера
(.)»

Провал.

Брно,
1979 г.

ИЗ РАССКАЗОВ ДЯДИ МИТИ

ФИЗИК И ВОЛОДЯ

Физик из 35-го дома совсем озверел. Он кричал из окна:

— Я ему все шины проколю, сволочи зеленой.

Он пошел в ЖЭК прямо к Прасковье Никифоровне. Но ее не было. Тогда он так рванул дверь к главному инженеру, что вылетели оба замка и один сильно ударил физика по ноге. А инженера и не было, он вторую неделю бюллетенил, потому и дверь была заперта. Тогда паспортистка высунулась из своего окошка и сказала:

— Это вы тут чего?

— Это я тут чего? — спросил физик таким страшным голосом, что паспортистка захлопнула окошко.

А физик стукнул по фанерной стенке кулаком и сказал:

— А ну высунься, прокукарекай мне еще что-нибудь! Где вся банда?

Тут открылась входная дверь и вошел Володя с куском трубы в руках. Он спросил:

— Что за шум?

Физик повернулся и хотел подбежать к нему, и схватить сильно за отвороты куртки, и тряхнуть как следует, и крикнуть: «А-а-а! Тебя-то мне и надо!» — но, во-первых, замок все-таки сильно врезал ему по ступне и физик не мог подбежать, а мог только хромать, а во-вторых, в руках у Володи был обрезок трубы, и это тоже наводило на мысли.

Поэтому физик немного успокоился и сказал, хромая:

— Я вас ищу, а вас нет.

— Как это меня нет, когда вот я,— удивился Володя.

— Да, но сперва вас не было. И инженера не было. Как можно такие замки не закреплять? Они же тяжелые. Они по ногам бьют. Неужели трудно пару шурупов привернуть?

Володя поднял замок с полу, и сообразил, как все было, и сказал:

— Это плотник. Он уволился. А шурупы были его собственные. У нас давно шурупов нет. Он их, наверное, вывернул, он квартиру получил от работы жены. Двухкомнатную. В Беляеве.

— Да ладно,— сказал физик.— Сейчас уже меньше болит. Это сперва только. Вон какая краснота.

У него сандалии были надеты на босу ногу, и поэтому красноту было хорошо видно.

Тут Володя спросил:

— Ну а пришли-то вы зачем?

Тогда физик опять начал кричать, и паспортистка, которая уже открыла окошко, снова испугалась и закрылась наглухо. А физик кричал:

— У меня дочь — молодожен, а на них с зятем подтекает около стояка. Полметра уже пятно на потолке. Я им говорил, пока пятно было с арбуз,— вызовите, заделайте.

Володя его остановил и сказал:

— Это в 35-м доме, что ли?

— Ну а где же? 56-я квартира. Моя 52, а у них 56. Так он все время уезжает. Причем машина зеленая стоит, а он уезжает и уезжает! Со всем своим кагалом. Все, говорит, заделали! А как уедет, опять подтекает. И машина стоит, зеленая. А у них заперто и капает.

Володя сказал:

— Ну пойдем сходим, я только инструмент возьму.

Они позвонили в 56-ю квартиру. Физик приложил ухо к двери и говорит:

— Слышите, никого.

Володя тоже приложил ухо.

— Да,— говорит,— не слышно.

Тут физик надавил кнопку со всех сил и надолго. Просто так, чтобы знали. А в это время открылась соседняя дверь и высунулась старуха с собакой на руках.

— Вы,— говорит,— к Фарадеям?

Физик как рявкнет:

— А вы думали, мы звоним к ним, а идем к вам? Собаку стричь? — и показал на большой водопроводный ключ у Володи в руках.

Тут и собака залаяла, и старуха заговорила, и дверцей лифта кто-то внизу грохнул — ничего не разобрать.

Потом прояснело.

Старуха говорит:

— Если вы по поводу протечки, то они мне ключ оставили от квартиры. Так что в моем присутствии можете войти.

Володя говорит:

— Ну вот, а вы волновались.

Физик не уступает.

— А я,— говорит,— и сейчас волнуюсь. С какой стати мне успокаиваться? Кто мне это пятно будет ликвидировать?

Ну, вошли в квартиру.

Физик говорит:

— Сюда, в этой комнате. Вот,— говорит,— видите, больше полметра пятно. Это же надо потолок перебеливать.

Володя разобрать не может.

— Подождите,— говорит,— это же не ваша квартира. Тут же внизу должно сыреть.

Физик тоже в тупик стал.

— А ведь правда,— говорит.— Это что ж такое?

Тут с площадки входит жена физика в халате и с сигаретой.

— Мишаня,— говорит,— там снизу пришли. Говорят, от нас к ним натекает. Сходи поговори.

Физик схватился за голову.

— Нет,— говорит,— так жить нельзя. Больше нельзя! Если так будем строить! Если это не жилые помещения, а сообщающиеся сосуды, то тут надо так прижать, так бить рублем за брак, за халтуру, за слабострой. Я уж не говорю про форточки, которые не по размеру. Ну давайте,— кричит,— чините. Что вы стоите? Прямо на глаз видно, как капает.

Но Володя стоит задумчиво и с места не двигается.

— Я,— говорит,— прямо даже не знаю. Это же вся система насквозь прогнила. Похоже, надо специалистов вызывать.

— Да каких специалистов! Стояк надо перекрывать.

Володя подсмотрел вверх, а потом вниз, где тоже сыро, и спрашивает:

— А как его перекрывать?

Физик отскочил в сторону и говорит старухе и своей жене:

— Вот такие мастера! Вот такие мастера! Смотрите на него! — и пальцем ткнул в сторону Володи.

А собака подумала, что это значит «взять!», кинулась и разом вырвала клоч из Володиной штанины.

Тут Володя закричал как подкошенный и замахнулся на всех водопроводным ключом. А вся компания отступила назад, сколько можно было, и при этом у собаки от злости и страха случился припадок. Она захрипела, закатила глаза и повалилась на спину в судорогах.

Это заставило всех немного опомниться и говорить тише, как при больном.

— Ну что мы в самом деле, — сказал физик. — С этой минуты надо попробовать крепче держать себя в руках. Нервы — прямо никуда. Я, Володя, не хотел на вас собаку натравливать, я только хотел, чтобы с потолка не капало.

А Володя говорит:

— Мне брюк не жалко. Сами видите, что это за брюки. Их можно не жалеть. Но она же меня до мяса достала.

Старуха тоже проявила понятливость.

— Я, — говорит, — тоже виновата, не надо было ее с рук спускать.

И жена физика сказала:

— Мишаня! Ты бы зашел к нижним, чтоб они не волновались, а то у меня дела.

А физик сказал:

— Вот только ты, Валентина, помолчи. Я сейчас успокоился, а от одного звука твоего голоса я опять могу психануть. И окуроч брось. Всю квартиру прокурила. Ты хоть Фарадеев пожалей.

Старуха сказала:

— Да вы не беспокойтесь, они сами курят.

— Вот и пусть, — сказал физик. — А мы будем свою квартиру коптить. Иди, Валюша.

В это время собака слегка оклемалась и выплюнула кусок Володиных штанов.

— Ну вот и умница,— сказала старуха. И сперва она, а потом другие немного погладили собаку.

— Ключ нужен от чердака,— сказал физик, накручивая на палец собачье ухо.— Там надо запорник стояка перекрыть. И обмотку новую сделать, чтобы зазоров не было. Я бы сам все сделал, так сегодня же четверг. А мне в пятницу минимум сдавать. Ввели, понимаешь, повышение квалификации, перевод с английского.

Володя похлопал собаку по животу и задумался. А потом сказал:

— Я вам достану ключ от чердака, и вы там сделаете все обмотки, а я вам пока английский перевожу.

Физик с корточек отвалился назад в сидячее на полу положение.

— Ну да? — сказал он.

— Да,— ответил Володя.— Я два года синхронистом работал. Я хорошо язык знаю. Только там платят восемьдесят четыре копейки в час.

Собака лежала на спине, закрыв глаза от удовольствия.

Старуха с умилением смотрела на эту картину.

Физик сказал:

— Так у меня техперевод.

А Володя говорит:

— Это ничего, я два года в лаборатории работал по информатике. Только там платят по рубль четырнадцать за лист сложного перевода.

Тогда физик сказал:

— А что это мы тут расселись, у Фарадеев? Даже как-то нетактично. И Валентина накурила. Пошли ко мне. И собачка вроде оклемалась. Счастливо оставаться.

Ну, пришли к физика, выпили кофе со шпротами. Володя посмотрел, чего переводить, и говорит:

— Это можно, это без проблем.

Достали ключ, тряпки. Физик переоделся во все Володино, чтобы не пачкаться, и поехал на чердак перекрывать наглухо. А Володя надел физиков халат и засел за стол — переводить.

Тут вернулись зять с дочкой. Они ездили в парк культуры на качелях кататься. У них у обоих были

отгулы. Дочка сразу легла спать, а зять посмотрел, как Володя работает, а потом принес споловиненную бутылку и огурцов.

— Не хотите ли,— говорит,— по маленькой?

Володя говорит:

— Чуть попозже.

А зять:

— Как хотите. А я сейчас, у меня отгулы.

В это время забежал физик, весь в сурике.

— Нормально,— говорит,— сейчас в котельной распределительное колено заменим и вентиль закрепим. И будет отлично. А у вас как?

Володя говорит:

— Движемся. У вас латинского словаря нет случаем?

— Латинского нет,— говорит физик,— а философский есть. У меня вон зять философ.

А зять-философ уже третью налил. Ногу за ногу заложил, откинул на диван и, хрустя огурцом, говорит:

— Я вот все не могу толком разобраться, где филогенез, а где онтогенез. То есть понимать, конечно, понимаю, но сути не чувствую. А мне работу сдавать надо.

Володя, не поднимая головы от стола, говорит:

— Это я вам завтра объясню. Я два года этим занимался. Только завтра мне в подсобке прибраться надо — моя очередь, и прокладки ставить на краны.

Зять хлопнул в ладоши три раза и крикнул, как в цирке:

— Оп-па! А я на что? У меня ж отгулы!

Физик говорит:

— Ладно, я пока в котельную. Вы работайте. А ты,— сказал он зятю,— чем сидеть и самому пить, сходил бы — время уж к двум¹. К полчетвертому вернешься. А то в доме гость, а у нас, кроме Валентины и ее сигарет, ничего и нет.

Зять опять хлопнул в ладоши и говорит:

— Заметано! Это,— говорит,— у нас прямо бригада коммунистического труда — каждый за другого работает.

¹ В 1986 году водка во всех магазинах Москвы продавалась с 2 часов дня.

Тут все засмеялись. А Володя постучал пальцем по бумагам и сказал:

— А занятная статья. Дайте мне ее с собой на вечерок.

Физик говорит:

— Да хоть насовсем.

А зять-философ уже в дверях с сумками:

— Ну, я пошел. Но завтра точно, да?

Володя говорит:

— Точно.

Зять говорит:

— Смотри, это не шутки, это кандидатский минимум. Часов в восемь, да?

— Ладно,— говорит Володя.

— Здесь или мне в подсобку прийти?

— Здесь, здесь. Я приду и ключ от подсобки дам.

— Значит, в восемь?

— В восемь, в восемь. Ну, самое позднее — половина девятого.

ПОСЛЕ ПОМИНОК

Поминки по Генрих Михайловичу устроили, правду сказать, хорошие. Их — одиннадцатая — квартира, все три комнаты, и соседи Климасовы свою однокомнатную отдали, олько сына диваном отгородили, у него на-завтра контрольная общегородская. И везде столы. Полтора автобуса народу с кладбища приехало. Да своим ходом сколько. Одних только иностранных машин — ДВЕ! Геннадий Степанович, народный артист, на «мерседесе», и сам Александр Борисович на своем «вольве».

И пили хорошо, и закуска первосортная, и помянули Генрих Михайловича, грешить нечего, тоже хорошо. Правда, и заслужил он. Душа человек был. Да и года-то еще позволяли пожить — чего там, чуть за шестьдесят. Колосов сказал, что потеря невосполнима и для публики, и для нас, что мы все учились у него, у Генрих Михайловича, и отношению к делу, и скромности, и остроумию, но что многие так и не научились, не успели, а теперь уж как бог даст!

Друкер вспомнил, как Генрих Михайлович умел

подшучивать, особенно в молодые годы. В последнее время, правда, пореже, но тоже метко. Говорили, как он семью любил, как с ним на пароходе до Астрахани ездили. Геннадий Степанович сказал, что Генрих Михайлович был очень нужен Александру Борисовичу, что под его, Александра Борисовича, руководством он строил то новое, что теперь надо продолжать строить уже без него. И сам Александр Борисович подтвердил, что ценил Генрих Михайловича, потому и пришел сюда, жаль, что по независящим обстоятельствам не мог быть на кладбище, но еще раньше, на панихиде, он все сказал, а сейчас хочет только добавить, что Генрих Михайлович если и шутил, то всегда добродушно, без камня за пазухой, и это стоит тоже отдельно вспомнить.

Немного подпортил дело Санин. Он сказал:

— Слезки наши отчасти крокодилом припахивают. Довели человека. Вытеснили. А теперь вот все вместе в его квартире сидим, а его там оставили.

Но тут и самого Санина вытеснили. Под руки, под руки — и на выход. Он еще по дороге за климасовским столом успел рюмку перехватить, а потом махнул рукой и говорит:

— Эх, сказал бы я вам, да вы сами все знаете.— И уехал на такси.

Потом Женик Лузин поднялся от молодежи.

— Я,— говорит,— по возрасту Генрих Михайловича близко не знал, и шутки его только понаслышке слышал, и в Астрахани с ним не был, но сказать могу одно: был он самым из всех нас талантливым. И на сцене, и на репетиции, и даже когда на собрании выступал. И всегда он был на десять голов выше всех.

Тут Александр Борисович сильно закашлялся рыбой. Ему и воды давали, и по спине несильно постукивали, но он все кашлял, и изо рта у него вылетало множество кусочков и косточек, и слезы лились от напряжения. Ну, потом общими усилиями вылетел основной кусок, и Александр Борисович остановился.

— Да! — говорит.— Ну что за день у меня такой сегодня, прямо что-то невозможное. Ночью зуб болел, потом Генрих Михайлович умер, теперь вот рыба поперек горла встала. Ладно,— говорит,— пора домой, а то как бы в общем потоке неприятностей еще машину бы не разбить. Поеду засветло.

Все закричали:

— Посидите еще! А машину до завтра оставьте, еще сладкое будет!

— Нет,— говорит Александр Борисович,— тронусь.— Подошел к хозяйке.— Я,— говорит,— вам очень сочувствую, и это искренне. Потерять Генрих Михайловича — это тяжело. Да еще народу вон сколько нашло, во всех дверях стоят и едят. И знали-то его многие только издали, а сюда заявились и еще разговаривают. Много у нас в театре швали. Требуются большие сокращения. А вам, Друкер,— сказал он Друкеру,— надо бы написать большую статью о Генрих Михайловиче и вообще о нашем старшем поколении, поставить его в пример молодежи.

Ну, отгуляли поминки, и пошла ежедневная жизнь. Александр Борисович стал делать давнюю свою мечту — его самого с Друкером инсценировку по знаменитой повести Федота Жилина «За семь верст». Вещь это такая, где сказана самая-рассамая последняя правда, а жизнь в ней выглядит поэтому такой жуткой, что каждый раз к концу репетиции прямо повеситься хочется. Этого именно и добивался Александр Борисович. Он сам говорил:

— Мы должны,— говорил,— разбудить в зрителе совесть, чтобы она сильно заболела.

У Женика не очень получалась роль Лехи Курдюмова. То есть получалась, но Александру Борисовичу хотелось большего.

— Леха — это открытый человек. Понимаешь, Жения? — говорил Александр Борисович.— Он один пошел против общего сговора. Это надо выявить. Это надо самому немножко таким быть. Это прожить надо. А у вас как будто камень за пазухой.

Женик очень старался, но камень частично за пазухой все-таки оставался. Меньше, но оставался. Женик стал надавать голосом, чтобы выкинуть камень. Но это не помогло.

— Что вы кричите? — кричал на него Александр Борисович.— Надо, чтобы душа кричала, а не горло.

Тут еще появилась сперва одна статья, а потом вторая, и обе неприятные. Первая, друкеровская, называлась «Ни Щепкина, ни Щукина!». Друкер был в отчаянии от молодежи. Друкер вглядывался в нее довольно пристально, особенно в Женика Лузина, и только

безнадежно махал рукой. Вторую статью написала Вероника Бобыш. Называлась она «Без позиции». Перед статьей был эпитафия — слова известной песни: «На позицию девушка провожала бойца». Бобыш сравнила современную молодежь, и конкретно Женика Лузина, с артистами фронтовых бригад. Получался перекося в пользу фронтовиков. А все оттого, что нет определенной позиции, с которой можно открыть огонь по врагу. Не умеют учиться у мастеров, не используют живые примеры — того же Александра Борисовича, и Геннадия Степановича, да и покойного Генриха Михайловича.

Статьи обсудили на собрании, и Геннадий Степанович сказал, что научиться у мастеров можно многому, но таланту научиться нельзя. А тут еще вышел по телевидению фильм с участием Женика, и зрители фильм одобрили. Александр Борисович сказал на репетиции, что очень рад выходу этого фильма. На этом примере можно рельефно показать, как тяга к дешевому успеху может загубить последние крупности способностей.

В это время выпустили наконец «За семь верст». Перед началом Александр Борисович напомнил актерам, что главная задача — разбудить совесть. А после спектакля Санин, игравший Курдюмова-старшего, довольно громко сказал:

— Совесть, может, и разбудили, но зрителей разбудить не удалось — народ как заснул в первом акте, так и проспал до самых аплодисментов.

— Лузин не потянул, — сказал на худсовете Александр Борисович. — Придется менять Лузина.

И тогда случилось непоправимое. Играли в двухсотый раз пьесу Бориса Клязина «Три сестры». Женик пришел на спектакль пьяный. И хотя роль у него была из одного слова — он вместе с другими курсантами парашютного училища кричал во втором акте «Пожар, пожар!», — происшествие не осталось незамеченным.

— Ну, мы уже дошли до Геркулесовых столпов! — говорили на собрании. — Мы уже дошли до Сциллы и до Харибды! Если артист на сцене лыка не вяжет, это уже ЧП. Ну а как на военном корабле, и в боевых условиях, и действительно пожар, и матрос вот так же бы в непотребном виде?! Долго мы любили Женю

Лузина, крепко мы любили его, но в три шеи гнать из сердца надо такую любовь вместе с артистом из театра к чертовой матери, как дурную траву, чтоб неповадно было, особенно в наши дни, когда хоть и медленно, но неуклонно сокращается число пьяных даже на производстве.

Вот тут только Женик засуетился. Забегал. Вступил в многочисленные, но совершенно безрезультатные переговоры.

— Неужели всё? Неужели насовсем?! — воскликнул он, разговаривая с признанным уже обломком театра — с Саниным.

— Ну почему же всё? — сказал Санин и дал ему совет. Один-единственный, но спасительный.

Женик пришел к Александру Борисовичу и сказал, что ни о чем он не жалеет, а жалеет только о том, что не бывать ему больше на Александроборисовичевых репетициях, не видеть тех изумительных поворотов и превращений, которые случаются на каждом шагу этих репетиций, не слышать ему, как громом проносится голос его, сея тревогу и пробуждая, непрерывно пробуждая совесть, не знать ему радости роста под могучим крылом, а знать ему только серую каменистую дорогу дешевого успеха прямо в тупик.

Александр Борисович окликнул Женика уже в дверях.

— Я к вам, Лузин, всегда хорошо относился. Тем более обидно было видеть вашу неблагодарность.

Лузин подбежал и крикнул:

— Нет! нет! Это недоразумение! Если что-нибудь когда-нибудь, то не то хотел сказать.

— Вам вообще над словом надо поработать, Женя. Слово — великая вещь. Вам надо осторожнее со словом обращаться, даже на похоронах.

Ну, Лузин в театре остался. И появилась на спектакль рецензия Вероники Бобыш — «Разворошенная совесть». Лузин упоминался в общем ряду, но положительно.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

*(Рассказ о брошенной резине,
Валентине Ивановиче Прухо
и о пользе для женщин занятий спортом —
история, которую можно выразить
только в стихах)*

ВАЛЕНТИН ИВАНЫЧ ПРУХО
ПОЛУЧИЛ ОДНАЖДЫ В УХО.

ДЕЛО БЫЛО ВОЗЛЕ ДОМА,
И КРУГОМ ПОЛНО ЗНАКОМЫХ,
И ПРИ ЭТОМ ВАЛЕ ПРУХО
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДАЛИ В УХО.

МЫ НЕ ВЫПИЛИ НИ КАПЛИ,
МЫ ЕЩЕ И НЕ РАЗЛИЛИ,
МЫ В ТОТ ДЕНЬ НА ПЬЯНКУ НАПЛЕ-
ВАЛИ И С УТРА НЕ ПИЛИ.

ЭТО ДЕНЬ ОТКРЫТЬЯ СЪЕЗДА
ПРОФСОЮЗА ТЯЖМАШСТРОЯ.
МЫ СТОЯЛИ У ПОДЪЕЗДА:
ПРУХО, БУРЦЕВ, Я — НАС ТРОЕ.

ПОДХОДИЛ БОБЦОВ С СОБАКОЙ,
ПОДХОДИЛ ПЕТРОВИЧ С ВНУКОМ,
ВНУК ПОТОМ ПОЧАПАЛ С БАБКОЙ,
А ПЕТРОВИЧ В ДОМ — ЗА ЛУКОМ.

БУРЦЕВ ОТКРЫВАЛ, А ПРУХО
РЕЗАЛ ПЛАВЛЕННЫЙ НА ДОЛКИ.
ВДРУГ ГЛЯДИМ — БЕЖИТ СТАРУХА,
ВРОДЕ МАТЬ ОРЛОВА КОЛЬКИ.

В НАПРАВЛЕНЬЕ ДОМА БЫТА
ЖМЕТ СТАРУХА С МАГАЗИНА.
А ДОРОГА ВСЯ РАЗРЫТА,
И ВАЛЯЕТСЯ РЕЗИНА.

БУРЦЕВ КРИКНУЛ: «СПОХВАТИЛАСЬ!
НЕ СПОТКНИСЬ, УЖЕ НАЛИТО!»
ТА ЗА ШИНУ ЗАЦЕПИЛАСЬ
И ОТКИНУЛА КОПЫТА.

НУ, МЫ, ЯСНО, ВСЕ ЗАРЖАЛИ
(НО ПО-ДОБРОМУ, БЕЗ ЗЛОБЫ).
ТУТ С ВЕДРОМ СТАРИК ГУЖАЛИН
ВЫШЕЛ, ВЫНЕСТЬ МУСОР ЧТОБЫ.

ПРЕТ ПО КОЧКАМ, РОТ РАЗИНЯ.
Я КРИЧУ: «ОЧКИ ПРОТРИ-ТО!»
ТОТ СПОТКНУЛСЯ ОБ РЕЗИНУ,
ШМЯК! — И В СТОРОНУ КОПЫТА.

ПРИПОДНЯЛСЯ КВЕРХУ ЗАДОМ,
ЗАД В ГРЯЗИ. И МАТЕРИТСЯ.
МЫ СМЕЯЛИСЬ ДО УПАДУ
(ВОДКА АЖ МОГЛА ПРОЛИТЬСЯ).

ТУТ ПЕТРОВИЧ ТАЩИТ ЛУК,
А В ДРУГОЙ РУКЕ КАСТРЮЛЯ.
СЗАДИ КАНДИДАТ НАУК —
ИХНЯЯ НЕВЕСТКА ЮЛЯ.

ЛУКОМ МАШЕТ, КАК КАДИЛОМ.
КАНДИДАТ ОРЕТ: «ПОДЛЕЦ!
НЕ ДЛЯ ВАС Я ХОЛОДИЛА
ДВОЕ СУТОК ХОЛОДЕЦ!»

ПРУХО КРИКНУЛ: «СТУДНЮ ХОЦЦА!
БЕЗ ЗАКУСКИ ПИТЬ НЕ БУДУ!»
А ПЕТРОВИЧ ВСЕ НЕСЕТСЯ,
РУКУ ВЫТЯНУВ С ПОСУДОЙ.

ПРУХО КРИКНУЛ: «ЖМИ ГАЛОПОМ!
ГЛЯ, ОНА ТЕБЯ ДОБУДЕТ!»
НУ А ТА, КАК АНТИЛОПА,
СКАЧЕТ, ТЯНЕТСЯ К ПОСУДЕ.

«Я, ПАПАША, СПАЛ С ЛИЦА!
БРЮХО СВОДИТ ГОЛОДУХА!
КИНЬ, ПЕТРОВИЧ, ХОЛОДЦА!
ПОМИРАЮ!» — ШУТИТ ПРУХО.

ПРУХО ШУТИТ: «ПРАВДА НАША!
ГЛЯНЬ, УЧЕНАЯ, ЗДЕСЬ ЛЮДИ!
ОН ЖЕ МУЖНИН ТВОЙ ПАПАША!»
ЮЛКА В РЕВ: «ОТДАЙТЕ СТУДЕНЬ!»

ПРУХО КРИКНУЛ: «ТЫ Б РАЗУЛСЯ!
КАНДИДАТ, ЛИШУ ВЕСНУШЕК!»

ТУТ ПЕТРОВИЧ ДОЛБАНУЛСЯ
ОБ РЕЗИНУ — И С КАТУШЕК.

КАНДИДАТ НАУК С НАЛЕТА
СПОТЫКАЕТСЯ ОБ БАТЮ,
ВВЕРХ ВЗЛЕТАЕТ САМОЛЕТОМ —
И... В КАНАВЕ, КАК В КРОВАТИ.

БУРЦЕВ ТАК ЗАРЖАЛ, ЧТО РУХНУЛ —
ЛБОМ ОБ СТОЛЬ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ.
ВАЛЕНТИН ИВАНЫЧ ПРУХО
УРОНИЛ БУТЫЛКУ С ВОДКОЙ.

НУ, ДОРЖАЛИСЬ! — ВОТ ОТМЕСТКА!
В ЭТО ВРЕМЯ ПОДХОДИЛА
КАНДИДАТ НАУК, НЕВЕСТКА,
ЗУБЫ, КАК У КРОКОДИЛА.

НЫНЧЕ ПРАЗДНИК, А НЕ БУДНИ —
В ЛОСК БЫЛА ОДЕТА ЮЛЬКА —
КОФТА НАСТЕЖЬ, МОРДА В СТУДНЕ,
А В РУКЕ БЛЕСТИТ КАСТРЮЛЬКА.

НО НЕ С ПРАВОЙ, ГДЕ ПОСУДА,
ВАЛЕ ПРУХО (С СИЛОЙ ПУШКИ!)
СО СЛОВАМИ: «НА, ПАСКУДА!» —
С ЛЕВОЙ — ЖАХ! — ПО ЧЕРЕПУШКЕ.

ЭТО БЫЛ ЭФФЕКТ ГРОМАДНЫЙ!
СМИРНО, ГВАРДИИ СТАРШИНЫ!
ПРУХО СТАРТОВАЛ С ПАРАДНОЙ,
ПРИЗЕМЛИЛСЯ ВОЗЛЕ ШИНЫ.

ЮЛЬКА — В ДОМ ПРЯМОЙ ПОХОДКОЙ,
КИНУВ ПРУХЕ: «НУ, ПОКЕДА!»
ВОТ СТОЮ Я В ЛУЖЕ ВОДКИ,
НАМОКАЮТ ПОЛУКЕДЫ.

«ШАЙБУ!» — КРИКНУЛИ С ОКОШКА.
ВЕЧЕРЕЛО ПОМАЛЕНЬКУ.
ИЗДАЛЯ НЕСЛАСЬ ГАРМОШКА,
ТАМ ИГРАЛИ ЛЕТКУ-ЕНЬКУ.

МЫ ПЕТРОВИЧА СОБРАЛИ.
НАСКРЕБЛИ — И ВЗЯЛИ ПИВА.
ПОБАЛДЕЛИ... ТРАЛИ-ВАЛИ...
В ОБЩЕМ, КОНЧИЛОСЬ КРАСИВО.

НУ, НА ПРУХЕ ЭТА МАЛОСТЬ
ЗАЖИЛА, КАК НА СКОТЕ,
А НЕВЕСТКА, ОКАЗАЛОСЬ...
ЗАНИМАЛАСЬ КАРАТЕ.

30 декабря 1982 г.

ПЕТРОВ ДЕНЬ

(Сказка)

Потерял старик юмор.

И за печкой искал, и в подклетье искал, и в подпITY искал — нет нигде. Загорюнился старик, занюнился.

Что ни оглянется — весь мир точно сажей выпачкан. В окно зыркнет — дождь идет. В будущее глянет — зима надвигается. Свет зажжет — мухи оживают, жужжат, роятся, в волосах путаются. Погасит свет — мыши бегают, ногами стучат.

Лег старик на кровать лицом кверху. Заскрипела кровать. Паук с потолка козявку спустил на паутине к самому стариковому носу. Закрыл старик глаза и возроптал своим стариковым голосом:

— За что мне такая обида? И обеда у меня нет. И обрыдло мне все на свете. И ободья на колесах поллопались, телега не на ходу, уехать нельзя. Вот сейчас плюну на все и отдам концы, узнаете тогда, как без меня!

Вдруг из темноты пискнул непонятный голос:

— А что с тобой, что без тебя, все равно материя одина!

Вскинулся старик, вздернулся, лицом в паутине попутался, вскочил с кровати. Тихо все, ничего не слышно, даже мыши замолкли. Только сердце в ребра стучит, как почтальон в дверь: туктук-тук, туктук-тук! Потоптался старик в темноте неслышно и шепнул:

— Померещилось!

А голос как ухнет нахально:

— Будто ба!

Гикнулся старик к дверям, да так тетехнулся лбом о притолку, что вспух на лбу небывалый синяк. Осветилась от него изба неземным утро-фиолетовым

светом. Насквозь все видно стало — что было, что будет, что за чем прячется.

Видит старик сундук в углу, да так ясно видит — каждую соскоблинку на дереве, каждую ржавчину на железе замечает. А сквозь сундук, сквозь стенки его, видит пустоту и пыль его нутра. А в пустоте и в пыли лежит мяч, который старик в детстве в воздух подбрасывал. Видит kota на печке, а внутри kota видит мурок — комочек кожаный скрипучий, которым кот мурлычит.

Видит старик желтую фотографию на стене — народу много на фотографии, лица махонькие — а старик, будто телескопы на глаза надел, всех узнает, родинку знакомую возле ушка замечает. А сквозь фотографию видит: идут к нему, кто по траве, кто по снегу, папочка и мамочка, и жена его, и детки — знакомые, милые, и незнакомые, те, что родиться собирались, да не родились.

На себя старик оборотился и разглядел душу свою — маленькую звездочку затухающую. Ежится, сама в себя прячется последними лучиками посверкивает.

А посреди избы — то ли стоит, то ли в воздухе плавает — ОНО — вроде плотное, а прозрачное, в пиджаке, с плечами и при галстуке, а на длинной голой шее птичья голова. Рукава на рубашке кружевные, из-под них перья. Порты в сапоги заправлены. Один сапог рваный, и из дыры коготь торчит. Когтем ОНО себя за щель в полу придерживает, чтоб к потолку не улететь — легкое! Покачивается. А голова птичья вся под абажур ушла, словно шапку надел. Глаз не видно, только клюв высовывается.

Страх Старика силит, а любопытство сильнее.

— Кто ты? — спросил старик стариковским голосом.

— То-то? — эхом ответило ОНО и клювом щелкнуло.

— Не пугай меня! — попросил старик.

— А чего еще с тобой делать? — скрипит чудище. — Я есть Птица-Джентльмен Феликс Мария Удаль-Ман. Материя первична, а сознание вторично.

— К чему ты это? — тоскует старик без юмора.

— К чему-у-у-у? — заверещала Птица Феликс. — А к тому, что все кончается и только энергия вечна —

один вид энергии в другой переходит. Вот тебе и весь сказ, старый козел. А куда, по-твоему, уходит энергия, которая впустую тратится? Куда ушла та, от которой никакого толку не было? Думаешь, идеалист недорезанный, исчезла она? Думаешь, кишка тонкая, все шито-крыто? Н-е-е-е-т! Она вся в меня ушла! Я весь из нее состою, из бестолковой энергии. И потому с каждой минутой моей вечной жизни сил во мне все прибывает и прибывает, ибо я весь с головы до ног научно обоснован. Я есть центральный парадокс, и ко мне идут линии питания от трех главнейших сил. От Бога — сила Творения неизвестно зачем, от природы — сила Воспроизведения неизвестно зачем, от разума человеческого — сила Постижения неизвестно зачем. И ты, калоша старая, видишь перед собой сосуд, в котором клокочет силою непостижимая пустопорожность жизни. Челюсть-то подбери да, чем рот разевать, призадумайся! Это я тебе говорю, Птица-Джентльмен Феликс Мария Удаль-Ман!

— Лоб болит,— говорит Старик.— Соображение угасает.

— Да,— подтвердила Птица-Джентльмен,— перпендикулярно ты в косяк втеснялся, долгая будет шишка. И пока она освещает мир утро-фиолетовым светом, успеешь понять, как ты в меня переливаешься, как всякое твоё движение бестолково и как бестолкова неподвижность твоя. И воспоминания, и слезы твои гроша ломаного не стоят. А ко лбу, шляпа ты мятая, пятак приложи, легче будет тяготу чувствовать. Будь здоров, мракобес!

И исчезла Мария Удаль-Ман, будто ее и не было.

Старик пошарил по карманам пятак, не нашел. Снял с гвоздика большой ключ от амбарного замка. Приложил ко лбу холодный ключ и... отключился.

А когда очнулся, светало за окнами. Старик зажег огонь, поставил воду кипеть. Радио в сеть втокнул. Запело радио странную песню:

Утро красит фиолетом
Место, где была земля.
Наши люди этим летом
Просыпаются, дремя.

Постучал Почтальон, как сердце давеча туктук-тук, туктук-тук!

— Пляши, радуйся! — говорит Почтальон.— Тридцать три письма я тебе принес! — все, которые ты за три года отправил. Все назад вернулись, все адресаты выбыли. Теперь можешь их в книгу издать. Переписка, том первый, в один конец. И делать ничего не надо. Пей чай да кофеем запивай!

— А ты, я смотрю, с юмором,— говорит Старик.

— Оставить не на кого,— смеется Почтальон,— везде его с собой таскаю. Мамка-то наша сбежала.

А юмор кудрявый прыгает вокруг Почтальона, щечочет. И Старика в покое не оставляет — то травинку в нос засунет, то лепешку коровью за шиворот ему пустит.

— А твой где? — спрашивает Почтальон.

— Потерял,— говорит Старик.— Может, в сене, а может, в прошлом году на ярмарке. По-твоему, небо на что похоже?

— На море,— сразу говорит Почтальон.

— А по-моему, на трубу печную, если изнутри смотреть.

— Ну! — засмеялся Почтальон с юмором.— Это ж надо! Да ты больной, к врачу сходи. Вон у тебя и голова тряпкой обвязана. Болит, что ли?

— Птица приходила,— говорит старик,— я испугался, что примета плохая, в дверь сунулся, да на косяк и попал.

Почтальон с юмором упали на землю со смеха и ну кататься.

Снял Старик тряпицу с головы, открыл шишку. Осветился день утро-фиолетовым светом. И видно стало сквозь Почтальона и сквозь юмор его, что вовсе они не смеются, а плачут и всё думают о сбежавшей своей мамке. И по земле всё катаются.

Снова повязал голову Старик. Поднялись Почтальон с юмором.

— Ну,— говорят,— умора! Прямо до слез!

— Ладно! — говорит Почтальон.— Пойдем дальше. Вот тебе газеты свежие, пахучие, вот тебе заграничный журнал «Тамс», а вот тебе наш местный журнал «Тутс». И везде все новое-переное. Читай да радуйся. То война, то авария, то разбойники свирепствуют, но все это где-то, не здесь, а словно в сказке. У нас солнце светит. Где-то, пишут, воздух совсем протух, жизнь вымерла. А у нас травой да грибами

пахнет. Хорошо! Сегодня Петров день — стемнеет, соловьи запоют. В последний уж раз. Соловьи только до Петрова дня. Но день-то ведь впереди. А за ним длинный вечер. Эхма, не горюй!

Пошел Почтальон с юмором по тропинке и запел на два голоса:

Без тебя мне не жить,
Без тебя мне не жить,
Я умел лишь однажды любить.

— Почтальон! — далеко крикнул Старик. — А Почтальон! Ты Феликса Удаль-Мана не знаешь?

— Зна-а-ю! — донеслось из-за холмика. — Он журнал «Вокруг круга» выписывает.

Много ли, мало ли прошло времени, а только десять утра по радио пропикало. Сообщило радио, что урожай сгнил, и перешло к симфонической музыке.

А Старик перешел дорогу и постучался к врачу.

Из верхнего окошка высунулась жена врача и сказала добрым голосом:

— Толкайте дверь, она и откроется. Толкайте, толкайте! Там еще одна дверь будет, ее тоже толкайте. Все двери толкайте. Потом одна не поддастся, сколько ни толкайте. А вы ее потяните. За ней будет темная комната. Там мой и сидит, опыты делает.

Пошел Старик двери толкать. Шесть толкнул, а седьмая не поддается. Вспомнил Старик, что добрая жена врача ему говорила, и потянул осторожно.

— Ну чего ты тянешь! — рыкнул доктор из-за двери. — Входи скорей, темноту мне не рассеивай!

Вошел Старик. Ни зги не видно.

Врач в темноте крякнул, плюнул, посуду какую-то разбил и рывкнул:

— Деньги вперед!

Старик выхватил из кармана деньги и протянул вперед себя.

Врач в темноте нащупал его руку, забрал деньги.

— Какие-то они у тебя, — говорит, — жухлые. Ну да ладно уж. Присаживайтесь! — и толкнул старика в грудь.

Старик попятился и свалился к кому-то на колени. Тот, другой, охнул, а потом говорит:

— Доктор! На меня сели. Это так надо?

— Надо! — крикнул доктор, как ножом отрезал.

И стало темно и тихо. Сидит Старик на коленках у другого и думает: когда же лечение начнется? Пощупал рукой слева — еще чьи-то коленки, пощупал справа — опять коленки.

— Э-э,— смекнул Старик,— да мы тут не одни! Тут доктор опять посуду разбил и крикнул:

— Чтобы раскрепоститься, надо закрепоститься! Ешьте горох!

Кто-то невидимый сунул Старику миску и ложку в руки. Понюхал Старик, и вправду горох. Стал жевать. И кругом, слышит, жуют, чавкают. А тот, другой, говорит тонким голосом:

— Доктор, мне гороху не досталось, а который на мне сидит, ест! Это так надо?

— Надо! — отрезал доктор и опять крикнул: — Чтобы объединиться, надо размежеваться! Ешьте горох! А которым не досталось, так сидите.

Доел Старик горох, ложку облизал и думает: куда бы миску девать? Поставил тихонько на левые коленки. А в это время невидимая рука на его коленки другую грязную миску поставила. Пристроил ее Старик на правые коленки, невидимая рука новую опускает. Схватил Старик невидимую руку. Задергалась рука и говорит человеческим голосом:

— Отпусти меня, сестра милосердная, пожалей меня, хилого.

Старик говорит:

— Не сестра я милосердная, а мешок с хворями. А у тебя, видать, совсем сознания нет, что ты пустоту гороха своего незнакомому человеку тычешь.

— Сознание вторично,— говорит рука.— А первичен Дух. Он соединяет, он и разделяет. Свой дух — благодать, чужой — мерзость. И потому — каждый отойди к своим! Чужого я по запаху знаю. Кто ты, а?

И уж не Старик руку держать стал, а рука в него впиалась.

Тут доктор новую посуду разбил и крикнул:

— Чтобы освободиться, надо подчиниться. Бейте друг друга, врага найдете!

Загремели миски, посыпался горох, заиграла гармошка. И началось в темноте великое побоище. Только и слышно: «Эх, эх!» Левые коленки Старику в живот молотят. Правые коленки кулаком пудовым в ухо

тычут. Другой, который под Стариком был, верещит металлическим голосом:

— Доктор! Мне гороху не досталось, а теперь мне грязную миску на морду надели. Это так надо?

— Надо! — крикнули хором.

Старик прыгает в темноте, отмахивается. То пусто-ту рубанет, то челюсть нащупает.

Доктор кричит:

— Играй, музыка! Оживай, игры заветные! Раззудись, плечо спондилезное! Кругом заговор! Бей их, врагов ненавистных! Вся беда от них. Расступись, толпа инородная, дай заикнуться добру молодцу!

Тут вцепилась невидимая рука Старiku в волосы. Рванула вправо, рванула влево, и слетела с головы Старика шадящая тряпица. Осветилась тьма утро-фиолетовым светом. Замерли все. Видно стало насквозь. И разглядел Старик, что стоит он в большой зале, и полна зала дураков. Которые бьющие, которые битые, которые хилые, которые плечистые, но все сплошь дураки. А самый большой дурак — сам доктор, с бородою большою и усами до ушей.

— Свет, свет! Что это, что это? — закричали дураки.

А доктор говорит громким голосом:

— Это есть инородное, научно доказанное явление, по-древнееврейскому называемое Рентген, а по-нашему светопреставление. А исходит оно из лба чужого человека. Во лбу том шишка, в шишке Рентген. Сейчас мы эту шишку вскроем.

— Доктор, доктор! — загоревал Старик, видя все как есть. — Да причина-то не тут.

— А мы и причину вскроем! — загремел доктор. Схватил он нож скальпельный, наостренный и ки-нул к Старiku.

Старик от него, а он за ним.

Потянул Старик дверь — не тянется. Толкнул тогда ее и выскочил. Помнит Старик слова жены докторовой и делает все, как прежде, только наоборот — другие двери не толкает, а тянет, тянет. Открываются двери. Бегут по комнатам. Медленно бежит доктор, потому толстый, а Старик еще медленнее, потому старый. Медленно бегут, ноги скользят и цепляются. А доктор все ближе, ближе. Уж седьмую, последнюю, дверь потянул Старик. Настиг его доктор, замахнулся.

Тут петушиный голос крикнул:

— Суп готов!

Застыл доктор. Жена его сверху из окошка высу- нулась и говорит ласково:

— Князюшко, щи простынут.

Доктор и говорит Старику:

— Ну, твое счастье! Приходи еще. У нас каждый четверг сеансы.— И побежал ко щам.

Старик поклонился во все стороны и спросил добрую женщину:

— А не бывал ли во многолюдстве вашем Птица- Джентльмен Феликс Удадь-Ман?

— Будь ты к дому поближе, а я этажом пониже, плюнула б я тебе в лицо за такие фамилии,— оскали- лась добрая женщина.— Иди отсюда, подозрительный человек, а то и впрямь прибьют тебя здесь, да и правиль- но сделают.

Надел Старик тряпицу на голову. Погас утро-фи- олетовый свет. Не видно стало злобы доброй женщины. Машет она ему из окна пухлой рукой: «До свидания! До свидания!» — говорит.

И пошел Старик прочь, а солнце уже за полдень.

Сам не заметил Старик, как пришел он в Центр. В Центре суета стоит, круговерть свистит, люди бега- ют. Все ворота на замки заперты; у каждого сторож стоит. Никому хода через ворота нет. А никто и не идет. Во всех стенах и заборах дыры огромные, и через них люди толпами целыми — взад-назад, взад-назад.

Вошел Старик в одну дыру. Видит — бочар стоит, бочки бочарит. Сделал три штуки и кричит:

— Кому бочки, кому новые?

А мимо него тощий человек бежит и шепчет:

— Где бы бочки достать? В доме бочки нужны.

А важный толстый на трибуне стоит, пот утирает и слезы утирает:

— Нет в Центре бочек, опять послов за бочками слать за семь рек!

И снова все вместе:

Б о ч а р. Кому бочки, кому новые?

Т о щ и й. Где бы бочки достать? В доме бочки нуж- ны.

А толстый с трибуны:

— Нет в Центре бочек, опять послов слать.

Пока они кричали, цыган бочки украл, на дощечки разобрал. Хватился бочар — нет бочек, и щепочки не осталось.

Цыган кричит:

— Кому доски, кому кривые?

Бочар кричит:

— Где бы кривых досок купить, доски кривые нужны!

А толстый с трибуны с рыданием:

— Нет в Центре кривых досок! Опять посольство за семь рек посылать.

Удивился Старик, на это гляючи. Почесал себе лоб, да тряпку со лба и сдвинул. Осветилось все утро-фиолетовым светом, и видно стало, что все в Центре слепые и глухие. Хотел Старик по молодой привычке посмеяться надо всем этим, да не может. Нет с ним юмора, а в одиночку как рассмеешься?

Не знает Старик, куда дальше идти, что делать, о чем думать. Стал на месте и принялся вывески читать.

На одной написано: «Будущее — за нами!»

— Как это? — сказал Старик самому себе. — Если будущее уже где-то там, за нами, то где же тогда мы?

На другой: «Страхуйте жизнь! Кому приятно Немедля умереть бесплатно?!»

Подумал Старик, да ничего не придумал, что на это сказать. Задрал Старик голову, а наверху большими буквами: «Раздувайте ветер перемен в соответствии с принятыми решениями!» Глянул вбок, а там маленькими: «Мудрые советы за полцены. Вход за углом».

Завернул Старик за угол и вошел к мудрецу.

На мудреце было гладкое еще лицо с очками и белый пробор в черных волосах. Мудрец сидел за большим столом. На столе стопкой лежали книги. На книгах лежала пыль. На пыли лежала многоцветная кошка.

— Давно дурью маемся? — спросил мудрец и сощурил под очками глаза.

— Да пожалуй что давно, — отвечал Старик. — Жить я разучился. Сомневаюсь, с какой ноги с кровати вставать. Юмор потерял. Ночью Птица Феликс явилась. Шишку набил. Все насквозь вижу. Радости нет. Смысла не ощущаю.

— А зубы не болят? — спросил мудрец.

— Да вроде один сверху начинает.

— Экая у вас куча всего. Надо вычленишь,— сказал мудрец и погладил кошку. Кошка зашипела и укусила его за палец. Мудрец достал из ящика пластырь и заклеил палец. Старик заметил, что у него много заклеек на руках.

— Терпеть умеете? — спросил мудрец.

— Пробую,— отвечал Старик.

Мудрец встал из-за стола, подошел к Старику и зажал ему нос двумя пальцами, а другой рукой ловко заклеил рот пластырем. Сидит Старик без дыхания. В висках стучит, в глазницах пот выступает, внутри жар клокочет. Мычит Старик, руками хватается. Разжал мудрец нос.

— Так лучше? — спрашивает.

— М-гу-у! — кивает Старик.

Содрал мудрец с его рта пластырь.

— А так еще лучше?

— Лучше,— выдохнул Старик.

— Ну вот,— сказал мудрец и опять сел за стол.—

Это вы немного наедине с самим собой побыли, без всякого сообщения с миром. А теперь садитесь вон в то железное кресло. Руки всуньте в лямочки, ноги в петельки. Всунули? Удобно? Ах, телу от железа холодно? Сейчас погорячает.

Нажал мудрец кнопку на столе, и задергался Старик в кресле. Бьет его током электрическим, и сжимает, и растягивает, и мелкой дрожью трясет. Хочет крикнуть Старик, да голос отнялся.

Отключил мудрец ток и спрашивает:

— Так лучше?

— Ой, лучше,— говорит Старик.

— Ну вот,— сказал мудрец.— Это вы сейчас в полном контакте с миром были, до абсолютного забвения себя. Что же это у нас получается? И с миром плохо, и без мира плохо.

Тут мудрец опять погладил кошку. Та зашипела и сызнава укусила его за палец. А мудрец палец пластырем заклеил и говорит:

— Ну вот! Мир живет среди человека. Человек живет среди мира. Потому всему нужна мера! Вот, скажем, этот кот по имени Панкрат — будь он в десять раз больше, он бы меня съел, потому что сильно меня

не любит. Но ему дана своя мера, и он только укусить за палец может. И отсюда возможность нашего сосуществования. Очень просто! Человек есть тип. Типов таких всего восемнадцать. Девять — мужских и девять — женских. Внутри типа все на одно лицо. И у каждого одинаковое количество жалости и подлости, глупости и хитрости, здорovia и болезней. У меня все эти типы записаны, и я ясно вижу, что вы есть тип номер шесть, только порченный тем, что своей меры не знаете. Хотите вы быть веселым, как тип номер восемь, и нечувствительным, как тип номер два. А еще хотите, чтобы вас любили, как женский тип номер семнадцать. И потому скособоилось ваше нутро, а вы думаете, что мир кривой стал.

— Что же мне делать? — прошептал Старик.

— Узнать себя и не колыхаться. Вы шестой, и шестым вам быть! И всегда ваше дело будет шестое. Платите все деньги, которые при вас, а я вам дам рубль сдачи. Это будет полцены, потому что совет мой — бесценный.

Отдал Старик деньги, взял рубль и пошел к дверям. А от дверей спросил:

— А Птица-Джентльмен Феликс Мария-Удаль-Манко всем шестым типам является или только мне?

— Знаю я ее, большой он дурак, — сказал мудрец и поднял кверху палец. — А относится он к типу номер двести пятьдесят один, но это уже типы не людские и не животные, а метафизические, и у них своя нумерация.

В этот миг Панкрат, еще и не будучи поглаженным хозяйской рукой, вцепился с визгом в мудрецов палец, крепко вцепился. Завизжал и мудрец, толкнул кота. Панкрат подскочил кверху, растопырив когти и глаза, завис в воздухе, а потом рухнул на стол, взметнув пыль и нажав лапой на кнопку в столе. Стул железный затрясся и зарычал. Панкрат прыгнул на стул, взболтался в нем и с диким взмахом перелетел через всю комнату прямо на Старикову голову. Слетела с головы повязка. Осветился кабинет мудрости утро-фиолетовым светом. И увидел Старик, что нет у мудреца сердца, а вместо него червовый туз. И еще увидел, что мозги мудрецовы точно на такой же прибор расчесаны, как и волосы на голове.

Повязал Старик тряпицу и вышел. А уж с улицы

заглянул в окно. Мудрец заклеивал палец пластырем, а Панкрат хлебал молоко в углу и поглядывал на мудреца желтым глазом.

Высоко ли, низко ли солнце стояло, а только не видно его было — заволокло небо тучами и пошел пузрящийся в лужах дождь.

У Старика ботинки промокли. Стал он искать, где бы укрыться, и зашел под большую вывеску

«КООПЕРАТИВНЫЙ ВОКЗАЛ»

Дело новое, привлекательное. Всюду краска свежая, дощечки с указателями, людей множество. На первой полосе в самолет грузятся, у второй платформы поезд стоит, к третьему причалу пароход привязан. Все гудки подают, но с места не трогаются. Горючего пока нет, рельсы еще не проложены, реку к пруду еще не подвели. Не совсем развернулся кооператив, пока только вокзал построили. Но вокзал хорош — и рестораны, и закусочные, и туалеты беломраморные, и кассы. Очереди всюду маленькие, уютные — потому что цены довольно высокие. Вдоль очередей пирожки на тележках возят. Радио объявляет, кому в какой транспорт заходить, а кому уже выходить пора. На большой доске в три колонки все города, какие есть на свете, записаны. Возле каждого зеленая лампочка мигает, а поверх доски надпись: «Покупайте билеты куда попало!»

Любит народ свой вокзал, тянется к новым формам обслуживания, не жалеет денег.

Без билета в вокзал ходу нет, а у Старика всего рубль остался. Но дождь не жалеет, пуще идет, вода уже внутри ботинок хлюпает. Купил Старик самый дешевый, какой был, билет за семьдесят копеек до станции Зарезово, посадка в 17. 45, высадка в 17. 50. «Ничего, — думает, — авось пока дождь пройдет». И вошел Старик с толпой под стеклянные своды. Мотается под высокой крышей по сухому полу, радуется.

И кругом все веселые. Один даму в Париж решил прокатить — к самолету бегут, другой с малыши детьми в Америку отплывает, третий вырвал немного времени на родину, в Улан-Удэ, съездить. Никому отказа нет, всем билеты достались. Да, правда, и дело недолгое —

вон тот с дамой уж из Парижа и возвращается, и прямо в закусочную. Хорошее время настало!

Вдруг хлопнул кто-то Старика сзади по спине. Обернулся Старик. Стоит перед ним хмельной веселый человек, полголовы лысая, вторая половина кучерявится.

— Это ты? — спрашивает полулысый.

— Я, — говорит Старик.

— Здорово, старик! — говорит полулысый. — Ты куда собрался?

— В Резово, — говорит Старик и замечать начинает знакомое что-то в полукучерявом.

— А я тут с компахой в Куалу-Лумпур смотался, — говорит тот. — Пошли с нами в ресторан. Мы перед отъездом обед заказали. Теперь уж, наверное, подали.

В ресторане веселый свет горит. За большим столом человек двадцать, а тарелок, рюмок, стульев — и того больше. И Старику место нашлось. Большой ресторан, цветной ресторан! Зелень зеленеет, серебро блестит. В полстола рыба заливная легла. Из дверей шашлыком пахнет — вот-вот заносить начнут. Девушки белыми зубами улыбаются. Из ушей, из груди камешки поскрипывают. Мужчины все седоватые, пузоватые, но веселые, крепкие. Официанты на стол икру мечут — каждому по вазочке. Музыка за стенкой крикает.

— Ха-ха-ха! — смеются все за столом. — За Анастаса!

Встал тут полулысый и говорит:

— Спасибо вам, но только за меня уже было поднято. А выпьем мы за моего старого друга — вон он сидит. Как живешь, старик?

Смотрит Старик во все глаза — неужто это Анастас, с которым вместе за одной партией сидели, вместе жить начинали, шутки шутили, бедовали? Вместе в гору житейскую взбирались, вместе с горы покатались, да там, под горой, и потеряли друг друга.

— Все я помню, — продолжал Анастас, — ничего не забыл. Вот только имя твое, хоть тресни, из головы вылетело. Как зовут тебя, старый друг?

— Петр... Я Петр, — сказал Старик с трудом, потому что отучился в одиночестве своем выговаривать собственное имя.

— Петр! Камень! — закричал Анастас. — Так выпьем за то, что не превратился этот камень в пыль! Ни крошки от него не откололось! Вот он с нами,

крепкий, как мы. Поцелуйте его, соседние девушки, и ты, Лиза, и ты, Манана!

Слева налетела на Старика белая волна волос и зеленые глаза, справа — черная челка над угольным взором. Два благодетных запаха: один — как травы скошенные, другой — как вода морская. Расцеловали его веселые девушки, и кругом пошла голова Петра-Камня.

Вечер наступил, и был он, словно пляска — и все вместе, и парами. То по четверо в машины садились и ехали куда-то. То змейкой по лестнице поднимались. Вдруг оказывались вдвоем, втроем на мягких ковровых диванах. И опять накатывали на Петра две волны: одна — травяная, другая — морская. Кого-то теряли, кого-то находили. Тепло и шумно текло время. И разобрал Петр сквозь шум, в разговорах и шепотах причину такого веселья.

Загадало государство шесть волшебных чисел, кинуло их в общую кучу — поди найди! Написали бумажки — на каждой по сто чисел. Люди купили бумажки и стали думать — какие цифры волшебные? Многие ломали головы, книги толстые листали — не знают, пальцем в небо тычут. Тут вышел Анастас со своим листком и сказал спокойным голосом:

— Цифр этих шесть, ни больше ни меньше, и почувствовал я их нутром моим, и вот они какие — один, два, три, четыре, пять, шесть! Ибо все на свете просто, и быть посему!

Ахнуло тут государство, подивилось Анастасову уму.

— Правильно, — говорит, — отгадал ты загадку. И вот тебе за это мильен!

Пляшет умный Анастас, остатки кудрей на голове подпрыгивают. Целует умный Анастас веселых девушек. Обнимает друга Петра и говорит ему:

— Все на свете просто, и ты будь простым. Бери, что хочешь, и пользуйся, мы ведь молоды!

— Где же мы молоды? — удивился Петр.

— Да здесь и молоды! Где мы есть, там и молоды. Все как было, так и будет, и ничего не уходит.

— Не уходит? — сомневается Петр. — А папы наши и мамы ушли, жены наши и дети ушли, день сегодняшней смутный ушел. Они-то все куда?

— Не трогай, не трогай, не трогай этого,— сказал Анастас и прижался лысиной к Петрову лбу, глаза к глазам приложил.— Видишь меня сейчас?

— Не вижу,— говорит Петр,— слишком близко.

— То-то! — хрипит Анастас.— Близких никогда не видно, а когда они вдаль уйдут, то их тоже не разглядеть. И потому ты один, а остальное — твой сон. И вот тебе моя тайна — я есть и буду всегда.

— Как пустопорожняя Птица Феликс? — мутно спросил Петр, но Анастас уже не слышал его. Он бежал по комнатам и окликал друзей:

— Надоело тут, надоело тут, к художникам, к художникам, в мастерские, в мастерские!

Взобрались в мастерские. Нанесли с собой бутылки, банок и кусков. Пошло мастерское веселье. Анастас каждому из гостей по тыще подарил, а художникам по две. Разговорились художники.

Художник Никанор сказал:

— Весь мир состоит из мелких частей. Я каждую эту мелкую часть рисую. Вот забор. У забора дерево. Под деревом трава. Все это находится у меня на даче, но еще находится вот на этой картине. Видите? Вот стол, на столе кружка. В кружке молоко. Оно скисло. Все это находится у моего деверя и еще вот на этой картине. Видите? Вот столб, на столбе фонарь...

— Видим, видим! — закричали гости, словно прозревшие.— Как интересно! Вот лодка. В лодке ведро. В ведре пусто. Как здорово! А только зачем это, Никанор?

— Я ждал этого вопроса, непонятливые вы люди! А это затем, что мир стареет. Части его портятся, и я каждой части готовлю замену. Чтоб всегда трава росла, чтоб всегда у треклятого деверя молоко скисало, чтоб всегда в лодке про запас ведро было. И потому я полезный экологический человек, а вы все — шваль.

Выпили за Никанора.

Художник Евсей сказал:

— Мир нужно понимать не по частям, а в целом, чтобы он не рассыпался. Потому я создаю всего одну картину, и она еще не закончена. Я ее от ваших равнодушных глаз простыней завесил.

— А что, а что под простыней? — замяукали Лиза и Манана.

— Прочь, развратные! — крикнул Евсей.— На этом

холсте я объединю все свои мысли. Я на нем напишу миллион раз слово «концепция». И, когда ниспадет простыня, преобразится мир оттого, что хоть один человек его целиком понял. Человек этот — я, а вы все — шваль.

Выпили за Евсея.

А третий художник так сказал:

— Зовут меня Бездыр Постылов. Имя мое известно только в заграничных странах, а здесь его никто и слыхом не слыхал. Родная мать и то меня не знает, потому что имя мое выдуманное, а на самом деле меня зовут Баздык Битонов. Но вы ведь и этого имени не знаете, ибо вы есть шваль. А вот я сейчас отдам мои две тысячи, полученные от Анастаса,— тому отдам, кто угадает, где у моей картины верх, а где низ.— И показал он что-то вовсе несусветное, холст, масло, аппликация, тридцать восемь сантиметров на пятьдесят два.

— Низ сверху! — закричали одни.

— Верх сверху! — закричали другие.

Засмеялся Бездыр Постылов горьким смехом и говорит:

— Вешается моя картина не на стену, а на потолок, четыре ниточки на четыре уголка, изнанкой книзу, и смотрится на просвет. И нету у нее ни верха, ни низа, ибо сама она есть сплошной верх, и шиш вам с маслом вместо двух тысяч, сколько же тупиц на этом свете!

Выпили за Бездыра.

И за Лизу с Мананюю. За Петра. Снова за Анастаса. За Лазаря, в углу уснувшего, за Прасковью, с Яковом уединившуюся, за самого Якова. За Христофора, по дороге потерявшегося, еще за Анастаса. И за Павла Аркадьевича Новожилова.

Очнулся Петр неведомо где. Голова на чьем-то животе лежит, руки подушку обнимают, под телом ковер шершавится. Свежим сеном пахнет. Хотел встать — ноги не сгибаются, не пускает что-то. Испугался Петр и открыл глаза. Живот оказался Лизочкин, ковер на полу лежит, а ноги Петровы под низкий диван засунуты.

Выполз кое-как, огляделся. Лампа одна в углу горит. Впустую шипит под лампой радиола. Дождь в

окошко бьет. А в мастерской словно после побоища — лежат кто где, кто с кем, храп стоит. Евсей голову на стол уронил. На столе Манана вокруг вазы с апельсинами обернулась. Умный Анастас на диване калачиком сложился, причмокивает — видно, сны хорошие снятся. Бездыр с Никанором, взявшись за руки, на кровати, а поперек них Лазарь. Прасковья с Яковом с кресел свесились. А Павел Аркадьевич Новожилов, толстым животом кверху, по стойке «смирно», прямо на полу лежит, головой во входную дверь упирается. И во всю стену надпись соусом Кетчуп: «Концепция!»

Голова у Петра раскалывается. Потрогал он ее — ан глядь, повязки нет. Потерял. Шишку нащупал — меньше. И вдруг как стукнуло в голове: а где же утрофиолетовый свет? Кончился, видать. Прозрачности не стало. Что лампой освещено, то и разглядеть можно, остальное в тумане. А что внутри, что под покровами спрятано — и вовсе черно. Глядит Петр — мутно на душе. И миллион Анастасов замутился — вроде не из волшебных он шести чисел возник, а вовсе из другого источника, какого — неведомо. И девушки Лиза и Манана, что спят с распахнутыми ртами, теперь показалось, какие-то тертые. И художники, что так ясно и мир и себя определяли, уткнулись друг в друга, как кутята бездомные.

— Сиротство! — прошептал Петр и, высоко подняв ногу, перешагнул через Павла Аркадьевича Новожилова.

Долго ли, коротко шел Петр под дождем, а только радио в чужом окошке гимн заиграло. Полночь. Ни души на улице, одни дома. А после и улица кончилась. Пошел пустырь. Слышит Старик — кто-то ящиками железными на пустыре гремит. Подошел поближе. Замолкли ящики. Голос спрашивает:

— Время знаешь?

— Знаю,— говорит Петр.

И помолчали.

— Ну и сколько? — спрашивает голос.

— Уж за полночь.

— Только-то! Тогда можно не спешить.

— А ты чего делаешь? — спросил Петр.

— Я мусорщик,— сказал человек.— Из малых ящи-

в него руку в грязной рукавице.— Миска вот с горохом недоеденным, новая, а уж мятая...

— Это у доктора, когда дрались...

— Обрезков пластырей вон целая пачка...

— Это мудрецов пластырь... Это Панкрат его...

— Билет до станции Зарезово. И ненадорванный. Кому надо было в Зарезово?! Да и не больно надо, раз не поехал...

— Он уж тут! — удивился Петр.— Это мой билет. Я им от дождя закрывался.

Рассмеялся мусорщик.

Петр сказал:

— И я бы с тобой посмеялся, да не выходит, юмор потерял.

— Это такой пушистенький, с острыми краешками? — захохотал мусорщик.— Вроде видал, где-то он тут. Хочешь пороемся?

Первый раз за много времени раздвинул Старик губы в улыбке.

— Знаешь что,— сказал он,— ты, когда утром баки привезешь, приходи ко мне кофе пить. У меня кофе есть.

— Может, приду,— сказал мусорщик.

Старик пошел и обернулся:

— Я вон там живу, напротив доктора, дом без номера, возле Управления жилищного хозяйства.

Небо очистилось, и дождь перестал идти. Показались звезды. Старик шел по пустырю и смотрел на маленькую, прячущуюся в самой себе звездочку. Он думал о том, что она похожа на его душу, которую он сегодня впервые разглядел при утро-фиолетовом свете. Все глуше вдали гроыхали баки. Вот и дом его.

Почудилось Старику, что в окошке слабый свет горит. Туктук-тук, туктук-тук — обнаружилось сердце. Неужели? — сказалось внутри. Подошел крадучись к окну — лампа не включена, а сияние есть. Приложил лоб с шишкой к стеклу: батюшки! Сидит за столом Птица-Джентльмен, на голову до клюва панаму насунул, под метровой шеей галстук-бабочка. Чайник на плитке закипает, а Феликс Мария Удадь-Ман перьями своими неловко банку с растворимым кофе открыть старается. Не получается у Феликса. Но он все равно

сам собой доволен — мурлыкает что-то, напевает, клювом шмыгает.

Постучал Старик пальцем в стекло: тук-тук-тук.

Повернулась голова гусиная, глазки-бусинки из-под панамы сверкнули. И сказала Птица-Джентльмен:

— Поздно шляешься. Заходи. Где у тебя сахар, найти не могу? Ну что? Понял суть вещей? Вошел в сознание? Всё барахло на свете? А? Что стоишь? Заходи да наливай! Видишь, мне не с руки.

Рассмеялся старик Петр от всей души, весело, насмешливо, долго, аж до слез. И сказал сквозь смех и сквозь слезы:

— Этого и быть-то не может.

И все исчезло.

Щельково,

21—31 августа 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

ЧЕРНОВ (<i>Повесть</i>)	4
НА ДАЧАХ (<i>Разорванная повесть</i>)	
I. Ничего и не было	98
II. Записки официантки	105
III. В безвременье	139

РАССКАЗЫ

БОЛЬНИЧНЫЕ ИСТОРИИ

первая	165
вторая	170
ИНТЕРВЬЮ (<i>Диалог</i>)	177
РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНЕ (<i>Приключение</i>) . .	191
ИЗ РАССКАЗОВ ДЯДИ МИТИ	
Физик и Володя	204
После поминок	210
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР (<i>Рассказ о брошенной резине, Валентине Ивановиче Прухо и о пользе для женщин занятий спортом — историю, которую можно выразить только в стихах</i>)	215
ПЕТРОВ ДЕНЬ (<i>Сказка</i>)	218

Сергей Юрьевич Юрский

В БЕЗВРЕМЯ

Редактор В. Г. Клименко
Художественный редактор М. К. Гуров
Технические редакторы Г. В. Климушкина,
Т. С. Казовская
Корректор Н. А. Кузьмичева

ИБ № 7479

Сдано в набор 10.05.89. Подписано к печати 20.09.89.
А 05544. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,60.
Уч.-изд. л. 12,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 249.
Цена 90 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по печати, г. Тула, 300600, проспект Ленина, 109

Юрский С. Ю.
Ю 81 В безвременье: Повести, рассказы.— М.,
Советский писатель, 1989.— 240 с.
ISBN 5—265—01222—2

Это первая книга прозы, написанная известным актером и режиссером Сергеем Юрским. Составившие ее повести и рассказы — результат многолетнего познания жизни художественной интеллигенции, артистов, литераторов, архитекторов. Надеемся, что ныне к читателям пришел не просто пишущий актер, а настоящий писатель-профессионал.

4702010201—364
Ю —————157—90
083(02)—89

ББК 84 Р7